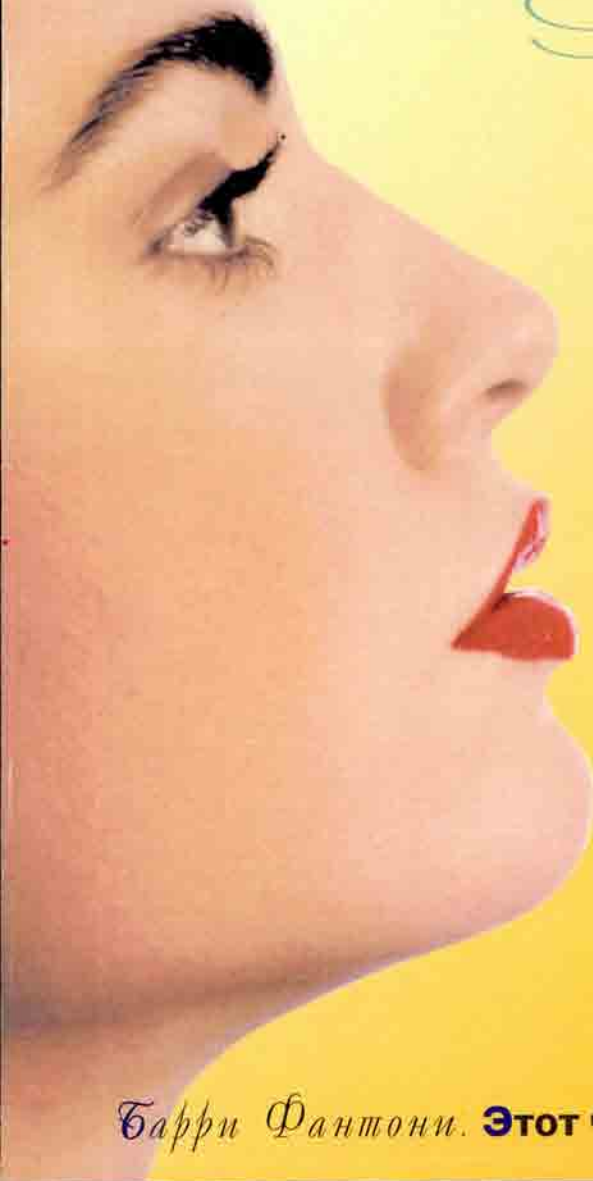


# СМЕНА

июль



Юрий Поляков. Небо падших

Барри Ваншони. Этот чертов Майк Дайм ■

# СОВРЕМЕННОМУ МОТОРУ



МАСЛО

ЛУКОЙЛ

Литературно-  
Художественный  
Иллюстрированный  
Журнал

Основан  
в январе  
1924 года.

**Главный редактор**

*Михаил Кизилов*

**Редколлегия:**

*Валерий Турпинов*

**зам. главного редактора**

*Борис Данишевский*

*Николай Левинев*

**зам. главного редактора**

*Сергей Попов*

**главный художник**

*Виталий Федоров*

*Тамара Чилина*



*ИЮЛЬ (1605)*

Сдано в набор 6.5.98

Подписано к печати 18.6.98

Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Тираж 55 000 экз.

Цена свободная

101457, ГСП, Москва,

Бумажный проезд, 14.

**212-15-07** — для справок.

**250-29-39** — отдел реализации.

**Факс (095) 250-59-28.**

Журнал зарегистрирован

в Комитете Российской

Федерации по печати.

Per. № 014832

**Учредитель —**

**ООО "Издательский дом  
журнала "Смена".**

Рукописи, фото и рисунки  
не возвращаются

Набор, верстка и цветоделение

Valid Design Alliance

Издательство "Открытые системы"

Отпечатано в типографии

"Koro Print" (Италия)

**Журнал выходит**

**12 раз в год.**

© "Смена", 1998.

62 Барри Фаптони

**ЭТОТ ЧЕРТОВ  
МАЙК ДАЙМ**  
Детектив

184 Юрий Поляков

**НЕБО ПАДШИХ**  
Криминал-откровение.

4 Борис Сопельняк

**ГРЯЗНЫЕ РУКИ**  
Беседа с генерал-лейтенантом  
Святославом Голицыным

14 Нина Росстарук

**"...И ТВОЮ ВИНУ  
НАЗОВУ БЕДОМ"**

26 Валентин Курбатов

**ДОМ У ДОРОГИ**

37 Татьяна Ростова

**ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТИ**

138 Светлана

Бестужева-Лада  
**ПРИВОРОТ**

155 Татьяна Козлова

**"МАМА, МНЕ  
СТРАШНО!.."**

164 Борис Сопельняк,

Анатолий Барсуков  
**УЗНИК № 7**

271 Владимир Давыдов

**ИГРЫ НАВЫЛЕТ**



стр. 37

На 1-ой обложке:  
фото "ФОТО банк"

стр. 184



- 46 *Любовь Русева*  
**ПРИВРАТНИК  
БЕССМЕРТИЯ**
- 102 *Лилия Байрамова*  
**КУРБЕ**
- 124 *Игорь Золотусский*  
**ГОРЬКИЙ ПРИВКУС  
СМЕХА**
- 144 *Иван Зюзюкин*  
**ПАРАДОКСЫ  
ПАСКАЛЯ**
- 258 *Ирина Алпашова*  
**МАСКЕ ВОПРОКИ**  
Беседа с актером Николаем Еременко
- 265 *Дарья Елистратова*  
**МАРИНА  
АНДРИЕВСКАЯ**
- 268 *Григорий Гольденцвайг*  
**"СПЛИН" —  
НЕ ХАНДРА**



стр. 102

- 12 *Анна Котова*
- 162 *Владимир Страшилюк*

*Игорь Гамаюнов.*

### **НАД ПРОПАСТЬЮ**

В системе МВД эти люди были и есть всегда и во все времена. Только называть их можно по-разному — лазутчиками, шпионами, разведчиками, агентами. Такая у них работа — выдавать себя не за того, кто они есть на самом деле. Известный журналист рассказывает три подлинные истории из их жизни...

*Грегори Макдональд*

### **ФЛЕТЧ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ**

Читатели "Смены" хорошо знакомы с неутомимым журналистом Ирвином Флетчем — главным героем многих произведений современного американского писателя. И вот — десятый, завершающий роман этой серии...

# ТВОРЧЕСТВО РУК



С начальником  
Управления собственной  
безопасности  
МВД России  
генерал-лейтенантом  
внутренней службы  
Святославом  
ГОЛИЦЫНЫМ  
беседует корреспондент  
"Смены"  
Борис СОПЕЛЬНЯК.

**Корр.** — Ни для кого не секрет, что доверие рядовых граждан к человеку в милицмейской форме упало ниже самой мыслимой отметки. Все чаще и чаще пострадавшие от кражи или разбоя обращаются не в органы внутренних дел, а к "братве". Все чаще и чаще достоянием гласности становятся факты самых невероятных преступлений, совершаемых не только милицмейскими сержантами, но даже полковниками и генералами.

Как это стало возможным? Что случилось? Почему на преступный путь становятся те, кто должен бороться с преступностью и защищать россиян от посягательств на их собственность и жизнь?

**С. Г.** — Явление, о котором вы говорите, не ново. В той или иной степени оно есть и было всегда и во всех странах. Случаи предательства и мздоимства фиксировались и в полиции царской России, и в годы "ежовщины" и "бериевщины", но это было исключением из правил, а не массовым явлением, как стало сейчас. Проблема, повторяю, существует не только у нас: все развитые страны тратят огромные деньги на обеспечение собственной безопасности органов правопорядка. А выявлением потенциальных и реальных преступников в полицейской форме занимается целая армия особо доверенных и проверенных детективов. В полиции Нью-Йорка штат такого рода детективов составляет более 500 человек, а к проверке сотрудников министерства юстиции США привлечено около 300 специально подготовленных чиновников.

Вплоть до третьего колена проверяются родственники, кандидаты тестируются на предмет неподкупности, проходят проверки на детекторе лжи, за ними устанавливается скрытое наблюдение, устраиваются экзамены со всевозможными подставками — и все равно прошедшие эти проверки на честность время от времени берут взятки, продают секретную информацию преступным группиров-

кам, торгуют наркотинами, а то и совершают убийства.

**Корр.** — Да как же такое возможно?

**С. Г.** — Думаю, что всему виной деньги. Как это ни печально, но приходится признать справедливой расхожую фразу о том, что каждый человек имеет свою цену. Одного можно купить за тысячу долларов, другого — за миллион, третьего — за миллиард, но... можно. И жизнь это подтверждает.

Взять хотя бы самую свежую сводку происшествий по России. В Воронежской области за вымогательство 500 долларов задержан старший сержант милиции Шаев. В Оренбургской области при получении взятки в размере 500 тысяч (неденонмированных) рублей арестован следователь Кульджанов. В Ярославской — опять же при получении взятки — задержаны сотрудники ГАИ Фролов и Воронцов.

**Корр.** — Это сержанты, люди малооплачиваемые. Но почему на преступление идут полковники и генералы? Ведь только за получение взяток в течение 1997 года из органов внутренних дел уволено 437 человек, в том числе несколько высокопоставленных руководителей МВД.

**С. Г.** — Да, в числе уволенных за различные прегрешения оказались руководители ГУВД Московской и Сахалинской областей генералы Валерий Ансанов и Борис Лобовский, а также Красноярского края — Юрий Рублев. Рыба, как известно, тухнет с головы. Если на путь совершения правонарушений стали генералы, то можно себе представить, что творится, как мы говорим, на земле. Назову несколько цифр: только за один год сотрудниками органов внутренних дел было совершено более 10 тысяч правонарушений, в том числе за кражи привлечено 250 человек, за вымогательство — 59, за грабежи — 86, за распространение наркотиков — 63, за изнасилования — 57, за убийства — 100. Но наиболее яр-

но эту неприглядную картину характеризует количество осужденных сотрудников органов внутренних дел: если в 1991 году за решетку попало 137 человек, то в 1995-м их стало 1277. Динамика, как видите, впечатляющая!

Говоря языком медиков, болезнь приняла слишком серьезные формы, метастазы поразили мозг министерства — его руководящий аппарат. Тем, кого эта болезнь еще не затронула, стало ясно, что надо принимать самые решительные меры. И они были приняты. В феврале 1996 года был подписан приказ № 129 "О мерах по обеспечению законности в органах внутренних дел Российской Федерации и укреплению собственной безопасности".

В преамбуле приказа говорится: "Анализ состояния законности и исполнительской дисциплины в органах внутренних дел свидетельствует о значительном росте правонарушений среди личного состава. Широкие масштабы приобрели злоупотребления служебным положением, взяточничество, вымогательство. Сложилась опасная тенденция покровительства со стороны сотрудников организованным преступным группам, оказания им помощи в реализации преступных замыслов и уклонения от ответственности, предательства интересов службы, неделового сотрудничества с коммерческими структурами... В последние годы возникла реальная опасность проникновения преступных групп в органы внутренних дел. Отмечаются факты утечки секретной и служебной информации".

Как видите, мы не стали прятать концы в воду и тем более зарывать голову в песок: фант серьезного заболевания был признан публично. Чтобы избавиться от этой проказы, был разработан ряд самых разнообразных мероприятий, и в частности, начата операция "Чистые руки". Но самое главное — в соответствии с этим приказом в самом МВД было создано Управление собственной безопасности.

Создание УСБ — принципиально важный шаг. Это означает, что борьба с преступностью в нашей среде не будет носить временный характер, что это не дань кампанейщине, что мы беремся за дело всерьез и надолго.

**Корр.** — *Если не секрет, какова структура Управления, как много у вас сотрудников и, самое главное, как вы их подбирали?*

**С. Г.** — Структура довольно простая. На территории России функционируют 13 управлений и 78 отделов, в которых работают 1500 наших сотрудников. Кроме того, подразделения УСБ созданы в транспортной милиции и при РУОПах. Что касается подбора сотрудников, то это было самым сложным и, я бы сказал, нервным делом. То, что на собеседования приглашались наиболее опытные и добропорядочные офицеры, это, надеюсь, ясно. Но дане те, кто нас устраивал по чисто человеческим и профессиональным качествам, если так можно выразиться, помались на весьма простом, чисто этическом нюансе: ведь работать-то надо против своих коллег, разоблачать, а то и сажать в тюрьму вчерашних сослуживцев, тех, кого знаешь не один десяток лет, а то и дружишь семьями.

Есть и другой нюанс: проблема отношения к нам наших же коллег из других управлений и подразделений. Что там греха таить: на нас косятся, нас не очень любят, а кое-кто, уже увязший в неблагоприятных делах, просто ненавидит. Выдержать такое давление дано не каждому, поэтому я не осуждал своих сотрудников, которые прямо и честно заявляли: "Не могу! Бандитов ловить буду, а людей в милицейской форме не могу".

**Корр.** — *А вы сами, Святослав Васильевич, чем занимались до назначения на этот высокий пост?*

**С. Г.** — Прошел путь от рядового до генерала, хотя в милицию попал случайно. Мой отец был флотским офицером, долгие годы служил в Таллинне, там я ро-



дился и вырос. Я довольно успешно занимался боксом, выполнил норму мастера спорта, был чемпионом Эстонии и призером Центрального совета "Динамо". И вот однажды начальник отдела задал мне весьма не простой, но прямой вопрос: "Ты так и будешь числиться в милиции и выступать на ринге или все-таки начнешь служить?" Я выбрал второе.

Начал постовым милиционером, потом стал участковым, оперуполномоченным и так дорос до начальника управления общественного порядка. Параллельно окончил истфак университета, а потом и Академию МВД. Все шло нормально, но в 1990 году в республике сложилась совершенно нетерпимая обстановка: в одночасье русские стали людьми второго сорта. И хотя моя мать эстонка, я всегда считал себя русским и не мог вынести унижений, выпавших на долю "второсортных". Руководство МВД России поняло мои проблемы и помогло перебраться в Москву.

**Корр.** — Не могли бы вы рассказать о наиболее громких расследованиях, проведенных вашими сотрудниками?

— Смотря что называть громкими расследованиями, или, как их иногда называют, делами. Для нас они все громкие — ведь речь идет о наших коллегах, о людях, не один год работавших честно, ловивших воров и бандитов, стоявших под пулями, а потом сломавшихся и ставших либо организаторами преступных группировок, либо самими настоящими киллерами.

Вот, скажем, в Воронеже арестован капитан милиции, который руководил преступной группой по сбыту опия и марихуаны. Группа была устойчивой и разветвленной, в ее состав входило двенадцать человек. Представляете, сколько молодых людей с их помощью "сели на иглу", сколько юношей и девушек на всю жизнь стали инвалидами! А каново было разоблачать этого капитана?! Ведь он профессионал и прекрасно знал методы слежки

и захвата с поличным торговцев наркотиками.

Громкое ли это дело? Скорее, тихое, зато результативное. Так же тихо и так же результативно сработали наши сотрудники в Уфе: они разоблачили и арестовали одного участкового, который в составе вооруженной банды совершил несколько тягчайших преступлений, а потом по заданию "братвы" стал милиционером. Представляете, сколько бед он мог причинить, действуя в милицмейской форме!

Наносить упреждающий удар удается не всегда — и тогда проливается кровь. Но от расплаты убийцам не уйти, мы их ловим и передаем в руки правосудия. Вот несколько примеров. В Орле за умышленное убийство, совершенное вместе с пятью соучастниками, задержан сержант Томилин. В Ростове-на-Дону арестован майор милиции Дрозд. Он подозревается в совершении убийства и ряда разбойных нападений. В Рязани удалось захватить капитана Зуева, который совершил заказное убийство старшего инспектора одного из банков. А сотрудник московского ОМОНа прапорщик Евстафьев убийство совершил в Тульской области, но его взяли. В Махачкале задержан рядовой милиции Загеев, совершивший убийство вместе с тремя соучастниками. Фамилии, как понимаете, в интересах следствия я несколько изменил.

А что творится на дорогах! Лихоимцев, взяточников, а то и откровенных уголовников среди сотрудников ГАИ расплодилось так много, что специально для борьбы с ними в рамках Главного управления ГАИ МВД России было создано контрольно-профилактическое подразделение. Результаты не замедлили сказаться: только за 1997 год к дисциплинарной ответственности привлечено 3200 сотрудников ГАИ, в том числе 425 уволены из органов внутренних дел. За взятки, другие преступления и нарушения закон-

ности привлечено 597 человек, а против 62 возбуждены уголовные дела.

**Корр.** — *Цифры, которые вы назвали, наверняка известны каждому гаишнику. Знают они и о том, что время от времени на дорогах появляются работники контрольно-профилактического подразделения, разумеется, под видом автолюбителей или водителей-дальнобойщиков. И все же они идут на риск. Почему? Неужели у владельцев все-таки сильного полосатого жезла так непомерно велика жажда "зелени"? Или потому, что риск сведен к минимуму?*

**С. Г.** — О жажде "зелени" говорить не буду — это не в моей компетенции. А вот слухи о минимальном риске подтвердились: наким-то неведомым путем хозяева дороги заранее узнавали о том, что на том или ином участке вот-вот появятся их переодетые в гражданское коллеги. И тогда в дело вступили сотрудники УСБ. Особенно много сигналов о рвачестве сотрудников ГАИ поступало с дорог южного направления, наиболее сильно от сверхнаглых поборов страдали водители-дальнобойщики. Именно поэтому южные дороги стали местом проведения многодневной и многоходовой операции, разработанной Управлением собственной безопасности.

Для начала организовали разведывательные выезды — все подтвердилось. И тогда мы приступили к делу. У наших сотрудников было несколько машин, начиненных самой разнообразной аппаратурой: направленными микрофонами, видеокамерами, фотоаппаратами с длиннофокусными объективами и многим другим. Это позволяло фиксировать передачу денег на расстоянии до полутора километров.

**Корр.** — *А как вымогается взятка? Ведь за допущенное нарушение водитель должен заплатить штраф и получить соответствующую квитанцию.*

**С. Г.** — О чем вы говорите?! Какая квитанция, какой штраф?! Ведь на трассе стоят "профессионалы"! Выезжает,

скажем, из Новороссийска или Краснодара большегрузный трейлер. У него должен быть строго определенный вес, который обязательно указывается в сопроводительных документах. Останавливает его на выезде из города сержант и, озабоченно щурясь, заявляет, что, на его взгляд, налицо явный перевес, а потому надо вернуться на базу, взвесить машину заново и переоформить документы. У водителя — график, груз скоропортящийся, его ждут на рынке Вологды... Что делать, достает бумажник и отстегивает требуемую сумму.

Но это довольно примитивный метод. В наш просвещенный век гаишники научились вымогать взятки с помощью... компьютера. Как? Да очень просто. Узнав от сообщника, что, скажем, из Сочи выходит машина с фруктами или "новый русский" перегоняет "Мерседес", наш просвещенный взяточник загоняет номера этих машин в компьютер. Дальше — дело техники. Взмах жезлом, машина останавливается, водителя приглашают в помещение, щелчок по клавише — и, о ужас! — на экране высвечивается номер двигателя, шасси и т.п. Оказывается, машина числится в угоне. Дальше, само собой, разговоры-уговоры, и — солидная сумма переночевывает в карман хозяина дороги.

**Корр.** — *Ну и что? Как вы докажете, что это не его личные деньги?*

**С. Г.** — А ничего доказывать не надо. Дело в том, что существует специальная инструкция, в соответствии с которой у несущего службу сотрудника ГАИ не должно быть более 50 рублей. А если есть больше, то они должны быть подтверждены корешками штрафных квитанций. Так что после проверки квитанций мы можем считать, что все деньги, находящиеся как в кармане инспектора, так и в его столе или мусорном ведре — взятка.

**Корр.** — *Ну, хорошо, уличили вы гаишника в получении взятки. А что даль-*

ше? Ведь чтобы возбудить уголовное дело и довести его до суда, нужно заявление пострадавшего, в данном случае взяточдателя. Охотно ли идут на это водители?

**С. Г.** — Вы наступили на самую большую мозоль. Убедить кого-либо написать заявление о том, что его вынудили дать взятку — это самая большая проблема. Как правило, водители, особенно профессионалы, говорят: "Я живу этой дорогой. Посадят одного сержанта, придет другой, и он будет знать, что его кореша посадили из-за меня. Тогда мне не жить. Или "замочат", или замучают.

**Корр.** — *Истории, которые вы рассказали, чудовищны. Милиционер-взяточник, милиционер-насильник, милиционер-наркоделец, милиционер-убийца — это же ни в какие ворота! Как жить дальше, если на дороге тебя останавливает гаишник-грабитель, а в квартиру звонит участковый-убийца?! Кому верить? Ведь если так пойдет и дальше, то пожарные начнут устраивать поджоги, а работники Гознака выпускать фальшивые банкноты... Что это за проклятие такое над всеми нами простерлось?*

**С. Г.** — На мой взгляд, это проклятие — деньги. Все хотят их иметь, причем сразу и много. Способ добычи зачастую не имеет значения. Одни подделывают авизо, другие хватаются за пистолет, третьи подкладывают взрывчатку... К сожалению, эта эпидемия не обошла и сотрудников органов внутренних дел. Не могу не упрекнуть и ваших коллег, журналистов. Это они запустили молву, что, мол, неважно, какой ценой и какой кровью создается первоначальный капитал: пусть отцы будут коррупционерами, зато дети станут благородными меценатами. Не сомневайтесь, благодатной почвы для этих зерен немало — вот они и проросли небывалой для России преступностью.

**Корр.** — *Кстати, о почве... Как известно, в операции "Чистые руки" не могли*

*не участвовать генералы Аксаков, Лобовский и другие высокопоставленные руководители МВД, на поверку оказавшиеся людьми двойных стандартов. Разве могут быть чистые руки у грязных людей? Или они всю жизнь удобряли в себе ту самую почву, ожидая, когда в нее попадет первая сотня долларов?*

**С. Г.** — И хотелось бы с вами не согласиться, но не могу — факты упрямая вещь, а они все множатся и множатся. Назалось бы, история с позором изгнанными из МВД генералами должна была чему-то научить возможных продолжателей их грязного дела, так нет же, неумная любовь к золотому тельцу заставляет их идти на риск оказаться за решеткой. Взять хотя бы недавно завершённое расследование сомнительной деятельности начальника Красноярского управления лесных исправительно-трудовых учреждений генерал-майора внутренней службы Юрия Рублева.

То он заключал договоры с чеченскими фирмами без гарантии оплаты — ущерб 1,5 миллиарда (неденоминированных) рублей, то подписывал контракт на поставку древесины Ирнгутскому АОЗТ, то вступал в сделку с закрытым акционерным обществом "Элкон" — древесины поставил на 32 миллиарда, а продукции в виде оплаты получил на сумму чуть больше одного миллиарда. Разница, как вы понимаете, не исчезала бесследно, а оседала либо в карманах, либо на соответствующих счетах.

Но этого генералу Рублеву было мало — и он занялся автомобильным бизнесом, хотя бизнесом это можно назвать с большой натяжкой. Он ставил на учет иномарки в колхозах и совхозах, в тот же день снимал с учета и перепродавал нужным людям, оформлял и переоформлял машины на жену, дочь и сына, а к квартирным махинациям подключил даже тестя.

Сотрудники УСБ пренратили бурную деятельность Рублева: из органов внут-

ренных дел он уволен, а все материалы, касающиеся его махинаций, переданы в Генеральную прокуратуру.

**Корр.** — *Рублев раскручивал свои дела далеко от Москвы и, быть может, рассчитывал на то, что отсюда до него не дотянутся. А о чем думал начальник Управления по экономическим преступлениям ГУВД Москвы полковник Солдатов? Недавно в одной из газет промелькнуло его имя в связи с фантазмагорическими квартирными махинациями. Не могли бы вы прокомментировать эти слухи?*

**С. Г.** — Как ни горько это признать, речь идет не о слухах, а о реальных фактах. Бывший начальник Управления по экономическим преступлениям ГУВД Москвы полковник Солдатов имеет ученую степень доктора юридических наук, довольно долго занимал должность проректора юридического института, а потом стал главным борцом с экономическими преступлениями, совершаемыми в Москве.

Назалось бы, живи и радуйся, тем более, что жил не в "хрущобе", а вместе с женой и младшим сыном занимал пятикомнатную квартиру общей площадью 129,8 квадратных метра. Но этой квартиры по 1-й Тверской-Ямской Солдатову показалось мало, и он присмотрел на Остоженке сразу четыре коммунальные квартиры, из которых решил сделать одну большую общей площадью 1003,6 квадратных метра. Чтобы расселить людей, он приобрел в разных районах Москвы шестнадцать отдельных квартир. Общие затраты, по объяснению старшего сына, составили около двух миллиардов (неденонмированных) рублей.

Где их взял полковник Солдатов? По его словам, у старшего сына, работающего нотариусом. Заработки у него, конечно, сумасшедшие: только в 1995 году он положил в нарман 14 миллиардов 714 миллионов рублей. Налоги,

правда, заплатил не полностью: около четырех с половиной миллиардов должны были взыскать по суду. И тут в одной из квартир случился пожар, в котором якобы сгорело 11 миллиардов рублей наличными, которые он приготовил для уплаты налога. Тщательно проведенное расследование показало, что никаких денег там не было, но Солдатовы уклонились от погашения долга государству.

**Корр.** — *А что с господином полковником? Почему вы его назвали бывшим начальником Управления по экономическим преступлениям?*

**С. Г.** — Он подал рапорт об увольнении в отставку, который тут же был удовлетворен. Так что в органах внутренних дел он уже не работает, и кто будет заниматься его квартирными махинациями, я не знаю. Но, как бы то ни было, всю эту историю раскрутили сотрудники Управления собственной безопасности.

**Корр.** — *Сравнительно недавно достоянием гласности стало еще одно громкое дело — увольнение начальника Главного управления исполнения наказаний генерал-лейтенанта Калинина. Представляю, как трудно было до него добраться, ведь в его распоряжении и свой спецназ, и свои агенты, и следователи, и даже охранники тюрем и колоний, готовые выполнить любой приказ генерала. Как вам удалось вывести его на чистую воду?*

**С. Г.** — Чего нам это стоило, знают только оперуполномоченные по особо важным делам, которые занимались проверкой злоупотреблений служебным положением, допущенных генералом Калининым и его ближайшим окружением. То, чем они занимались, можно называть по-разному: головотяпством, отсутствием контроля за исполнением заключенных договоров, личной заинтересованностью в том, чтобы эти договоры не выполнялись, но факт есть факт: МВД России нанесен ущерб на сумму

более шести миллиардов (неденоминированных) рублей, и виноват в этом генерал Калинин.

Даже не посвященному в наши дела человеку действия Калинина покажутся более чем странными. Снажем, он заключает договор с АОЗТ "Тандем" на поставку сахара. Фирма настаивает на стопроцентной предоплате — и Калинин перечисляет на их счет без малого полтора миллиарда рублей. Деньги ушли, а сахар не пришел. Спыхватился Калинин лишь через три месяца, уведолив "Тандем" о расторжении контракта. ГУИН имело право на штрафные санкции, и они были предъявлены на сумму около 800 миллионов рублей, но... Калинин решил от этих денег отказаться "с учетом сложившейся ситуации и доводов, изложенных в письме фирмы".

Что это за ситуация и что за доводы, нам так и не известно, но хорошо известно другое: более трех месяцев "Тандем" прокручивал полтора миллиарда подаренных Калинин рубль, "наварив" при этом немалые проценты. Бескорыстен ли при этом был генерал, мы не знаем, так как за руку его никто не схватил. Больше того, на людях он выдавал себя за одного из самых яростных борцов с коррупцией и активных участников операции "Чистые руки".

Предприятие с "Тандемом" так вдохновило Калинина, что он тут же затеял новое дело, на этот раз с ТОО "Содействие-Сервис". За полтора миллиарда рублей эта фирма должна была поставить 352 тонны растительного масла. Как вы догадываетесь, никакого масла поставлено не было, а ГУИНу "Содействие-Сервис" возвратил всего 407,6 миллиона рублей. Остальные Калинин им простил. Опять же мы не знаем, насколько бескорыстен был при этом генерал.

**Корр.** — *А не возникало у вас мысли, что, имея дело с профессионалом такого высокого уровня, вы никогда не*

*схватите его за руку? Уж кто-кто, а он умеет прятать концы в воду.*

**С. Г.** — В том-то и сложность нашей работы: мы ловим и разоблачаем не заурядных взяточников и тупых бандитов, а людей, окончивших училища и академии, где их и нас учили одни и те же профессора. Поэтому ставшие на преступный путь прекрасно знают, с чего мы начнем и как будем вести дело. Как вы понимаете, зная это, ничего не стоит спрятать концы в воду. Правда, Калинин так вошел в раж, что в какой-то момент потерял осторожность: провернув еще несколько многомиллиардных сделок с российскими и даже американскими фирмами, он купил, впрочем, скорее всего, не купил, а получил в подарок, причем, не себе, а жене, автомобиль "Субару".

Дальше — больше. Начались махинации с неучтенными пистолетами Стечкина: кто-то их получал по личному указанию Калинина, потом они исчезали, всплывали, а затем снова исчезали, чтобы, быть может, всплыть в качестве орудия убийства.

Нороче говоря, бунет нарушений (пока что будем говорить так), допущенных Калинин, настолько велик, что все материалы пришлось направить в Генеральную прокуратуру: уголовно-процессуальная оценка его деяний будет дана там. А из органов внутренних дел он изгнан.

Так что операция "Чистые руки" продолжается. Она идет утром и вечером, днем и ночью, в Москве и на Камчатке, в Мурманске и Новосибирске, в поездах и самолетах, на дорогах и в кабинетах. Мы должны очистить систему правоохранительных органов от прямых предателей, коррупционеров и их покровителей. Видит Бог, мы это сделаем обязательно и вернем доверие народа к человеку в милицейской форме.

**Корр.** — *Спасибо, товарищ генерал, за беседу.*

**Анна КОТОВА**

*Ты неприступен. Тем нежней  
Мои ночные откровенья,  
И голос вкрадчивых теней,  
И непослушные колени.*

*Я с придыханьем — на вопрос —  
И с удивленьем: ты не слышишь?  
Мои упреки — не всерьез,  
Твои шаги — все дальше, тише.*

*И от банальности стиха  
Я заболею и заплачу:  
Я в первый раз так мало значу...  
А ночь, как водится, тиха.*



“...и твоею виной





# назову бедой”

**Нина РОСТАРЧУК**

**Н**а входе в Хабаровский экспериментальный центр педагогической реабилитации детей — эмблема. Мальчика-сорванца бережно поддерживают руки взрослого человека. Если взглядеться, руки взрослого одновременно становятся крыльями у мальчика за спиной. И уже не сорванца видишь — ангела...

Эту эмблему, как, впрочем, и весь Центр, придумал его директор Александр Геннадьевич Петрынин. Учитывая, что сейчас ему тридцать шесть, можно сказать: полжизни отдано осуществлению этой мечты. Мечты о таком приюте, таком Доме, где ребенка примут, каким он есть. И помогут стать, каким он захочет стать...

## Два гладиолуса

Раз гладиолусы — значит, конец августа или ранний сентябрь. Двадцать лет назад ни в какое другое время года цветов было не достать.

Саша шел — нет, летел! — по теплой еще Москве с двумя гладиолусами в руке. Ему нужны были непременно эти цветы и без всяких суеверий именно два. Он летел не к девушке на свидание, а к своему кумиру — Агнии Барто, доброму поэту нашего детства.

Школьник из Хабаровска состоял с Агнией Львовной в переписке по поводу книголюбских дел; организовал в школе такое общество. Оказавшись в Москве, решил не упустить случая познакомиться с Барто лично.

Позвонил. "Приезжайте, Саша", — разрешила Агния Львовна. А поскольку

мальчику — тогда мальчику! — очень нравились ее строки: "Два цветка, два гладиолуса разговор ведут вполголоса", он и предстал на пороге ее квартиры с двумя "разговорчивыми" цветами.

Теперь Саша утверждает, что встреча с Агнией Львовной определила его судьбу. Что до этого он не думал о педагогине и тем более не представлял себя в роли современного Макаренно среди брошенных, голодных, бездомных, грязных и завшивленных пацанов. Он был благополучным мальчиком. Рос в тепле и уюте, среди умных книг и с мамой-учительницей. Но Барто сразу разглядела в Саше талант, о котором он сам еще не догадывался.

"Саша, вы нужны в детском доме", — сказала она юному другу.

Саша поверил в это безоговорочно.

Сразу после окончания школы он пошел работать в детский дом пионервожатым. Тогда мы с Сашей и познакомились. Рубашка безузорной белой, стрелки на темных брюках, словно только что из-под утюга, от начищенных ботинок, назалось, вот-вот разбегутся по стенам "зайчики".

А стены, как во всех тогдашних детских домах, мрачные. И веет от них тоской да сиротством. Неужели этот чистенький мальчик, думала я, с абсолютно книжными представлениями о жизни задержится здесь надолго?

Он задержался... Начал читать Макаренку. Потом — все, что удавалось достать, — о Макаренно. Потом стал разыскивать его бывших воспитанников, переписываться с ними и дотошно

постигать тонкости этой уникальной педагогической практики.

Увлёкся. Увлёкся так, что все остальное в жизни перестало интересоваться. Только детдомовские ребята. Только несчастные пацаны, увидевшие в нем старшего брата.

А сам почти пацан — девятнадцать лет. Након из него Манаренко? Саша работал на интуиции: он не боялся собственной доброты, не строил из себя взрослого, подчинялся своим наивным порывам, не просеивая их сквозь сито общепринятой педагогики.

В четырех часах езды от Хабаровска, в Бикине, была спецшкола для малолетних преступников. Увы, дети из детдома нередко переночевывали туда. Саша ездил, навещал их. И не мог избавиться от чувства вины перед всеми другими обитателями спецшколы. Я встречала его вечно спешащим. То он бежит на суд: "Лимон опять вляпался. Надо выручать парня". То спешит на вокзал: "Сын пропал, искать еду". То звонит: "Не могу забрать к тебе. Следователь по делу Малыша вызывает".

Сколько у него "лимонов" и "мальшей"? И сын, думаете, один? У него половина бикинской школы в сыновьях числится. Да столько же "братишек" в детдоме...

Загружает в "Икарус" ящик мороженого. Или ящик карамели. Или то и другое сразу. В Бикине его уже ждут. Все знают, что приедет с гостинцами. Взрослые ворчат: "Дед Мороз нашелся! Приехал, устроил праздник, и все его любят. А мы возимся день и ночь с этими головорезами... И ведь никакой благодарности".

"Саш, привези мне батарейку "крона", — заказывает мальчишка. "Саша, мне надо восемь рублей на пластинку с музыкой к кинофильму "Танцор "Диско", — просит другой. "Саш, захвати конвертов", — напутствует, расставаясь в ожидании новой встречи, третий...

Саша никого не забудет, все их просьбы выполнит. А ведь у него есть еще забота: собрать передачи тем, кто уже сидит, кто "вляпался". Сало, чай, сахар, мыло — все, согласно инструкции над тюремным оношечком. И при всей его занятости надо ухитриться попасть сюда в строго оговоренные часы.

"Здравствуйте, Александр Геннадьевич! Мне Серега сказал, что вы просили, чтобы я написал, когда меня приведут с побега. Взял нас в Уссурийске. Постригли. Теперь мы хорошо живем, и здоровье у нас хорошее."

"Саша, ты съезди к моим родителям. Снажи, пусть пишут. А то совсем меня позабыли. И девушка, про которую я вам рассказывал, тоже молчит, на письмо мне не ответила. К ней тоже зайдите. А то тут скучно. Вы же сами понимаете, ничего нового тут не происходит..."

"Если честно, мне перед вами стыдно. Вы в меня верили, а я вас подвел. А теперь вот еще обращаюсь с просьбой. Но больше некого попросить... Дело в том, что меня вчера вызвал следователь и спросил, есть ли у меня кто-нибудь из родных? Я сказал, что есть отчим. Но он не придет. Есть брат, который живет в Хабаровске. Вот его можно вызвать. Саша, вы уже поняли, что брат — это вы. Я дал следователю ваш адрес."

"Александр Геннадьевич, приходите ко мне на суд. Но меня не открывайте. Я действительно виноват. Посинку, раз такой дурак, может быть, поумнеею."

Это письма десятилетней давности. Саша позволил мне прочитать мальчишеские каракули и переписать "на память" то, что считаю нужным. Я переписала. Думала, придет время, спрошу Сашу — вытянул он этих ребят или нет. Сработала его доброта или все напрасно?

Спросила лишь прошлым летом.

Оказалось, да, вытянул. Почти всех проводил в армию, потом встретил, женил, то есть, они, конечно, сами жени-

пись, но Саша и их невест по-отцовски оценивал... Теперь у его "сынуль" — свои сыновья и дочери. "Можно сказать, я — дед", — разувбался Саша.

## Вот-вот придет Блок...

Я до сих пор не могу понять, почему Петрынин поступил не в педагогический, а в железнодорожный институт. Хотя он объясняет: "Надо было где-то учиться, а в педагогический поступать не хотел. Мне казалось, традиционная педагогика лишь собьет меня с толку. Мне не нравилось, как работают с такими детскими, как у меня, профессиональные воспитатели. Мне такая методика не подходила. И я не хотел становиться таким "профессионалом".

Он искал свой подход, творил собственную педагогическую поэму. Хотя... Есть у меня все-таки подозрение, что хотел обмануть судьбу. Или удостовериться, что ничем другим заниматься уже не сможет. Ведь если сможет, если увлечется техникой так же, как педагогической, — значит, действительно, не судьба. Значит, он себя плохо знал.

Через год после окончания института Петрынин уезжает из Хабаровска на забытую Богом станцию Известная — воспитателем в детскую исправительную колонию.

...Белая пустыня, мороз такой, что я едва не плачу. Тропка от станции в сторону вышек с прожекторами едва заметная, я все время проваливаюсь в снег. Ноги зачленели. Господи, что меня сюда занесло? А Сашу что занесло? Я-то приехала и уехала — командировка, а он здесь живет.

Но мне любопытно было, как он управляет с колонистами. Это все-таки не детдомовцы — те прежде всего дети и еще не переступили черту, за которой обрыв прежней жизни и — падение. А эти переступили. Эти уже не дети. Они преступники.

Забор. Бараки. Зона как зона. На Сашу с его методами работы коллеги смотрят, как на идиота: он не пользуется "шестернями", у него в группе нет "бугров" — верных помощников воспитателя. Он не допускает даже намека на уголовную иерархию.

У него и здесь все "братишки", "сынули", "лапоньки". "Давай-на, малыш, — говорит верзиле, — попробуем бросить курить." "Дети, — обращается к строю бритоголовых, — несите-на мне все ваши запасы водки. Кто ее носит вам, я не спрашиваю. Это я сам буду выяснять. Но хочу, чтобы сдали все! И пожалуйста, без обмана!"

Кто принес водку, выяснит у коллег. Значит, будет очередной, привычный уже конфликт. Сам не курит, не пьет — и от всех работников колонии того же требует. Ному это понравится? Ниному.

Но Саша — не пятак, чтобы всем нравиться. Ему другое важно... Спасти ребят!

Он уже понял, таких ребят можно вылечить лишь любовью. И дело не только в том, чтобы их любить. А в том, чтобы они научились любить. На эту наторжную работу — любить — способна только душа, если разглядеть ее в затравленном пацаненке. Разглядеть самому, показать ребенку — "достать" и заставить жить!

Представьте: зима, пурга, колючая проволока... А на казенных койках лежат его ребяташки. Саша читает им перед сном стихи.

*"Мне не хватает теплоты", — она сказала дочке.*

*Дочь удивилась: "Мерзнешь ты и в теплые денечки?"*

Саша читает медленно, держит паузы... Хочет, чтобы они думали над словами...

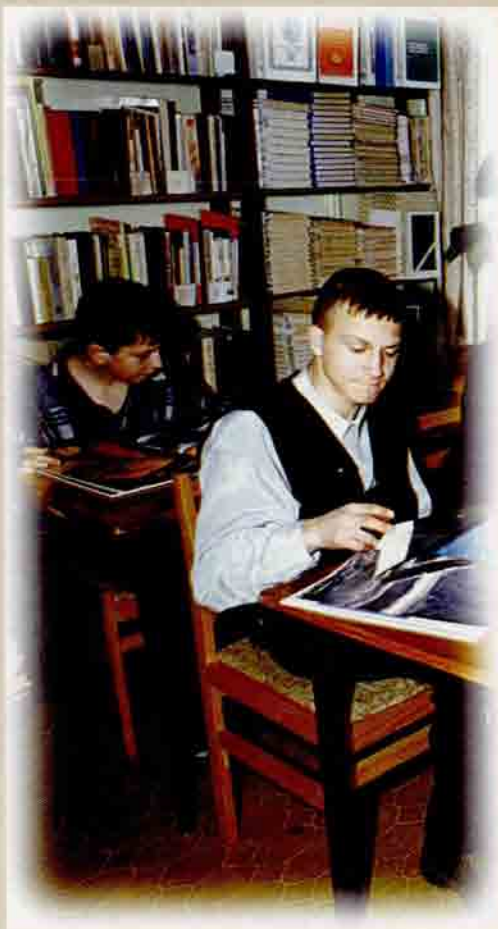
*"Ты не поймешь, еще мала", — сказала мать устало,*

*А дочь кричит: "Я поняла!"*

*И тащит одеяло."*



Это совсем детское стихотворение любимой им Агнии Барто. Наверное, с тем же успехом Петрынин мог читать: "Уронили мишку на пол". Его пацанам и "мишна" был бы в новинку, и они плакали бы над строчкой "Все равно его не брошу, потому что он хороший", — как скоро заплачут над блоковской "Незнакомкой".





Еще в детском доме он начал устраивать подобные вечерние чтения. Как-то заранее объявил: "Сегодня у нас будет вечер поэзии Александра Блока". Мальчишка к нему подходит: "Он к нам сам придет?"

"Придет". Придет и сюда, в барак. Потому что Петрынин хочет вернуть замороженным душам способность чувствовать! Пока только чувствовать. Простенькая задача. А потом поведет их дальше...



Он и сам уходил все дальше в своих педагогических изысканиях. "Я совершил преступление, — скажет мне однажды, — заставил ребенка плакать о маме." А через некоторое время: "Пусть плачет! Напомнить ребенку о его маме не преступление. Преступление — отозваться о ней плохо, пре-небрежительно".

"До сих пор я оставлял ребят на полпути к цели, — размышлял вслух в тот мой приезд в колонию. — Ставил пацана на дорогу, которая казалась мне правильной, и уходил к другим. Я разбрасывался, торопился. И потому проигрывал. И приходилось начинать заново. А здесь, в колонии, я с ними день и ночь. И не отпущу пацана, пока он действительно не окрепнет."

...Мы шагаем по заснеженному поселку. "Забеним в магазин погреться?" — "Давай." — "Знаешь, как мои дети поют "Туманы"? Это песня такая есть, жалостливая, из блатных. "Мне было три года, когда умерла ты..." Жаль, что блатная, но пока ничего другого ожидать от них не приходится..."

Сашин голос на ветру перехватывает...

"А пацаны поют — слушать невыносимо. Доходят до слов "Туманы, туманы, верните мне маму", — и я сам чуть не плачу."

"Самое незначительное проявление лживости, искусственности, зубосальства, легкомыслия делает воспитательную работу обреченной на неудачу", — прочтет мне однажды Саша из любимого им Макаренно. "А у тебя, — спрошу я, — удачи есть?"

В ответ он расскажет случай. Както заболел, положили его в больницу. Приходит мама, приносит ему записку: "Вы не вздумайте, Александр Геннадьевич, ластами хлопнуть. Вы нам еще нужны. А если вы умрете со своим сердцем, мы всю жизнь будем пла-

кать. И вообще не знаем, что с нами будет".

А через десять лет Саша расскажет мне, как у него в Хабаровском центре педагогической реабилитации проходил вечер русского романса. Уже не блатные "Туманы" пели его ребята, а прекрасные классические романсы.

Осуществил-таки Саша Петрынин свою мечту. Выстроил Дом.

## "Не могу украсть!"

— Я вор! Я колюсь! Не верите? Я сифилисом болел!

Мальчишка готов поклоняться, что он совсем пропащий — лишь бы директор Центра его оставил в Доме.

Александр Геннадьевич смотрит строго. Но мальчик все равно видит его улыбку. Раз пацаны сказали: "Директор — добрый", — значит, скалится и возьмет пацана к себе.

Сочувствующие — за дверью. Давно ли их самих привели сюда? Теперь они говорят: "Центр спас меня от смерти и от тюрьмы". И начинают спасать других — приводят таких же, какими были недавно сами, погибающих пацанов.

Александр Геннадьевич всех бы взял. Да в Хабаровском центре только 120 мест. Когда отрывали пять лет назад, этого казалось достаточно. Теперь — мало. Не потому, что в Хабаровске особо велика подростковая преступность — она велика, как везде... Просто Центр стал престижным — хотя и нелепо это звучит применительно к такому учреждению.

А впрочем, мы напрасно считаем, что ребенок не понимает, в какую пропасть летит. Есть, конечно, такие, кому криминальная среда — мать родная. Но их гораздо меньше, чем тех, кто себе не рад и готов бежать ото всей этой грязи, голода, страха, до дыр исколотых вен... А нуда? Не знает.

К кому? Не знает. Нет у него взрослого человека, которому все расскажет, кто не побрезгует снять коросту с рук и души...

— Еще работая в детском доме, — рассказывает Саша, — я начал понимать, что принятая у нас система перевоспитания малолетних преступников крутится вхолостую. Из закрытого режимного учреждения ребенка "выплескивают" в жизнь, как анвариумную рыбку в реку. Из колонии выход вообще один — в криминальный мир. Колония — это вуз, дающий уголовную квалификацию. Детей туда допускать нельзя. Значит, между ребенком, образом его жизни устремленным в колонию, и самой этой колонией надо ставить барьер.

К своим тридцати годам Саша оказался готовым выстроить такой барьер. Он назвал его Центром педагогической реабилитации детей. Время, к счастью, "подготовилось" тоже: детские приюты нового, неказарменного типа, входили в моду. Но главное, конечно, — в Хабаровске нашлись люди, столь же обеспокоенные подростковой преступностью. Петрынина поддержала городская администрация. Отдел народного образования записал в свой бюджет финансирование "проекта".

Будущему центру отдали здание на краю Хабаровска. Только начали ремонт, появился первый воспитанник — бродяжка, в канализационных колодцах жил... Его привели бабули из храма, что по счастливому стечению обстоятельств оказался неподалеку от будущего Центра.

"Сарафанное радио" моментально разнесло по Хабаровску весть о новом приюте, и на его директора обрушился шквал звонков "Возьмите нашего, — звонили учителя, — сил уже нет терпеть..." Многих ребят привозили в Центр прямо со скамьи подсудимых. Но сначала Петрынин должен был хло-

потать, чтобы суд согласился дать им условный срок.

Центр Петрынина, как коротко называют его в Хабаровске, — светское учреждение. Однако прежде чем объявить о его открытии, Александр Геннадьевич съездил в Оптину Пустынь и получил благословение старца Илия. "Летел в сомнениях, — признается, — а возвращался в твердой уверенности, что дело божеское. Я даже поверил в то, что когда-нибудь привезу в Оптину и своих ребят. И вообще когда-нибудь мы поедемся с ними вместе по всем святым местам..."

Это "когда-нибудь" уже случилось. Прошлым летом первая группа его воспитанников побывала в Оптиной Пустыни, Санкт-Петербурге, Сергиевом Посаде. Теперь Саша мечтает, чтобы подобные путешествия стали традицией. Хорошенькая мечта, когда один билет из Хабаровска до Москвы и обратно на четыре тысячи рублей вытягивает!

Уроки религиозной этики в Центре нет. Но есть — "Русская душа". Веры здесь никому не навязывают. Но если ребенок заглянет в храм — воспитатели тихо радуются. Многие из них стали крестными — если ребенок сам попросил об этом. И никого здесь не удивляет, что вчерашний "головорез" сегодня идет на исповедь...

— Стою в храме, — рассказывает Петрынин. — Подходят два моих шкетта. Их матери бросили. "Здравствуйте, — говорят, — а мы знаем, что вы сюда ходите." Я купил им по свечке, подвел к Богородице. "Поставьте, — говорю, — чтобы мамы к вам вернулись." Они поставили, помолились. А через некоторое время у нас в Центре — викторина. "Назовите героев "Красной шапочки". Дети кричат наперебой: "Волк! Дровосени! Бабушка!" А один из тех шкеттов, Вовка, руку выше всех тянет. "Мама! — произносит, едва дыша

от волнения. — Вы забыли, у нее же мама была!

— У большинства наших детей, — рассказывает Петрынин, — есть родители. Плохие или хорошие, но они есть. И если ребенок все время будет жить у нас, получится не Центр реабилитации, а обычный детдом. Я от этого уходил. Потому что знаю: у нас ребенок может быть идеальным, а вернется домой (рано или поздно это произойдет) и не сможет жить. Он увидит, что там ничегошеньки не изменилось. Там то же, от чего убежал. И ребенок срывается. Он начинает мстить. Получается еще хуже...

Что делаем мы? Педагогически реанимируем — живет у нас месяц, год. Сколько кому требуется... А потом отправляем его домой. Точнее, он начинает жить здесь и там. Утром приезжает, учится, занимается, в семь часов вечера к Центру поднимает автобус и развозит наших питомцев по семьям. Постоянно живут в Центре лишь бывшие детдомовцы и те, у кого дома совсем уж невыносимо.

В этом главная, пожалуй, особенность идеи Петрынина.

— На словах научить ребенка жить нельзя, — поясняет он. — Воспитание — в проживании трудностей, в конфликтах, из которых ребенок учится выходить с достоинством. Конечно, нам было бы куда проще забрать его насовсем — отмыть, очистить от грязи душу, дать ему модель правильной жизни. Но это бессмысленная работа. Она не даст результата.

Суть петрынинского опыта вот в чем... Ребенку предстоит сделать выбор между тем, как он жил, и как может жить. Вот тебе чистота — вот грязь. Но в этой грязи остались твои родные. Какими бы они ни были, но тебе с ними жить.

Страшно, когда ребенок мать ненавидит. Он тогда сам не сможет своих детей воспитать.

— У меня есть Костик, — рассказывает Петрынин. — Он из тех, кто ночует в Центре. Домой начинает отпрашиваться за три недели: подсознательно хочет, чтобы я его не отпустил. А я отпускаю. И вот приходит час, когда надо ехать. Он сидит. "Костя, — напоминаю, — тебя мама, наверное, ждалась." А он в слезы! И я понимаю, чего он боится. Боится, что приедет домой и увидит мать пьяную... Но я все равно считаю, что надо ехать.

— И любить маму, какая есть?

— Да. И вот это — "любить, несмотря ни на что" — в конце концов горе-родителей "пробирает". Одна из мам заметила: "Ваш Центр надо назвать Центром реабилитации детей и РОДИТЕЛЕЙ". На собрания в школу их было не затащить. А сюда приходят. С замазанными синяками, прооденколенные изнутри и снаружи... Они привыкли, что их детей можно только ругать. А здесь — хвалят.

Понимаешь, эти люди — родители наших ребят — все про себя знают, и потому давно махнули рукой на свою забубенную жизнь. Они сломались. Смирились, что другой жизни уже не будет. И в глубине души прекрасно понимали, что "продолжатся" в своих детях: та же забубенная жизнь ждет сыновей и дочерей — им не высочить из того адского круга, который они, их родители, сами и очертили. И вдруг... И вдруг у этих изнутри разрушенных людей появляется реальная надежда: у их девчонок и пацанов может быть другая судьба, другая жизнь, они — "выскачат"!

— У нас есть девочка, — чуть помолчав, продолжает Петрынин, — ну такая артистка! А дома ее били, и отца она ненавидела. Полгода жила у нас. Я к ее отцу ездил, убеждал его





— занятия в токарных, слесарных, швейных мастерских. Ребятам дают профессию. "Нельзя, чтобы дети жили на всем готовом. Надо, чтоб пахали, — говорит Саша. — Чем больше, тем лучше. Это тоже по Манаренно: ребенок должен создавать, творить — в этом творчестве он себя создает."

Первое время в Центре была надровая текучка. Многие не выдерживали. Как-то, к примеру, Петрынин сказал новенькому врачу: "Приглядитесь к этому мальчику повнимательнее. Он в таком состоянии, что, не дай Бог, что-нибудь с собой сделает". На следующее утро врач принесла заявление об уходе. "Всю ночь не могла уснуть. Не выдержу я, не могу взять на себя такую ответственность."

...Урок русского языка. Тема: словообразование, суффиксы: "чин", "щин". Учитель называет первую часть слова, ребята его заканчивают.

— Лет... — говорит учитель...

— ... чин, — продолжает класс.

— Часов... — говорит учитель.

— ... щин! — подхватывают ребята.

— Закрой...

Ожидается, конечно, "закрой-щин". А ребята вдруг дружно: "Рот!"

— "Закрой рот!" — так им всем говорили в школе.

"Андрюша у нас только матерился, — рассказывает Петрынин. — Он даже не понимал, что это нехорошо. А теперь слышу его басом: "У нас урок русской словесности", — и готов расцеловать его."

Петрынинский Центр абсолютно не похож на казенное учреждение. Здесь все отреставрировано в русском стиле. Кто в первый раз зайдет, непременно "подколет" директора: "Ну вы богатенькие! Конечно, вас деньгами завалили".

— Бог ты мой! Кому сейчас дают деньги! — возмущается Петрынин. —

Просто женщины-воспитатели так умеют повесить любую тряпочку, что она золотой покажется...

Нет у них столовой — есть трапезная. В ней большой резной стол и скамейки под старину. Нет комнаты психологической разгрузки — ужасное название. Есть самоварная... Есть в Центре горница, есть светлица, класс духовной культуры. Слово, уверен Саша, само по себе уже исцеляет.

"За словом, — считает Саша, — многовековая культура, а дети — часть этой культуры, часть народа. И они должны захотеть этому соответствовать. Мы как бы ставим планку, до которой у ребенка появляется желание doracти."

— ...Тетя Галя, у вас глаза та-а-ние синие, — говорит поварихе Костя.

— Ой, как это ты, мой золотой, заметил? — умиляется тетя Галя.

— Ну я же, когда говорю "спасибо", в глаза смотрю...

Помню, Саша работал еще в колонии... Мы говорили о Достоевском, и я сравнила его с Алешей Карамазовым.

Он запротестовал:

— Что ты! Я же бываю всяким. Я бываю и злым: вижу затылком, чувствую седьмым чувством, весь превращаюсь в нюх. С моей публикой всегда надо быть настороженным. Иначе нельзя. Эти ребятки должны усвоить: меня не обманешь, не проведешь. Они должны знать мою сверхчувствительность — и на хорошее, и на дурное. Тогда они будут думать, что я знаю о них все, и бесполезно что-либо от меня скрывать.

Прошлым летом я напомнила Александру Геннадьевичу это его признание. Он и сегодня, спросила, — "зверь"?

— Ну, в общем-то, — начал он обтекаемо, — Кто-то, скажем, принес в Центр "травну". Я это моментально

чувствую. Не по сладковатому запаху... Они еще и пакетик не развернули, а у меня на душе уже что-то не так. Вызываю ного-нибудь из "подозреваемых" и ставлю перед фантом: "Я это знаю". И что ты думаешь? Несут мне свою отраву, как миленькие! Сдают до грамма...

— Но знаешь, — продолжает, подумав, — я всегда надеюсь на то, что подчиняются они не из страха, а потому что видят: добра желаю... Что же касается Алеши Карамазова... Я бы очень хотел, чтобы так было: ребенок пришел ко мне, мы с ним поговорили, и он вышел с просветленной душой.

...Я поняла, кто такой Петрынин. Он — литературный герой. Спрыгнул с книжной полки, ударился оземь — стал живым человеком. И пошел по жизни, не обращая внимания, что никто уже не работает "за идею". Все крутятся, зарабатывают на хлеб, на машину, на дом, на дачу... А Саше этого не надо. Он ведь даже семьей так и не обзавелся. Ненюгда... Знает, чего хочет. Знает, куда идет.

И два цветка в руке — два разговорчивых гладиолуса...



## ПАМЯТИ ДРУГА

Умер Валерий Гуринович...

В опустевшем кабинете еще ощутим запах его сигарет, еще лениат на столе рукописи с его редакторскими пометками... Больно и горько, что так внезапно, так безвремено завершился круг жизни человека, который был для нас не только коллегой. Он умел дружить, умел помогать всем, кто в этом нуждался. Многие, особенно начинающие свой путь в журналистике, ощущали на себе заботу Валеры.

Его биография вместила многое: геологические партии, армию, литературный институт, редакцию центральной газеты, а затем редакцию газет и журналов уже столичных. Последние десять лет — в "Смене". Редактор отдела публикации, член редколлегии...

Жил Валерий трудно, а писал легко — как настоящий журналист он знал цену слову, был к нему придирчив и требователен. Но еще требовательнее и жестче относился к себе как к поэту. Подборки его стихов, публиковавшиеся в "Смене", лучше всего говорят об этом. Валерий был очень остроумен — мы часто смеялись над его каламбурами, блестящими эспронтами, но в редакционной среде мало задумывались, что именно поэзия и составляла истинное его призвание. В стихах своих Валерий честен и прост. Впрочем, как и в жизни.

"...Плывет себе кораблик буманный по волнам, /любви и надежды он возвращает нам, /Летит себе журавлин по светлым небесам, /прислушиваясь к нашим вчерашним голосам..."

Валерий, мы всегда будем помнить тебя. И твой голос...

"Сменовцы"

# ДОМ



## у дороги

### Валентин КУРБАТОВ

**Т**еперь этого рейса нет, а раньше несколько лет я пользовался только им. И дома успеешь чуть не целый день побыть, и в Выру приезжаешь еще не самым поздним вечером: как раз к поре, когда хозяин, наработавшись за день, успеваает отдохнуть и начинает обыкновенный "обряд" вечера с долгим чаепитием и разговорами (если гости), программой "Время" (если — нет) и неспешным комментированием увиденного...

Уже в Рождестве заторопишься взглянуть на набоковский дом на горе, на церковь Рождества Богородицы напротив — и так и стоишь у автобусной двери до самой Выры. Выйдешь перед Оредежем и уже на мосту оглядываешься, ища перемен: промоина точит насыпь все ближе к перилам, норовя стать оврагом, старица затягивается тиной и глядит брошенным деревенским прудом, Оредеж все так же прядет долую нуделю водорослей, провоцируя на

излишне картинное воспоминание о бедной утопленнице Офелии — не иначе давний здешний обитатель Набоков, посмеиваясь, шепчет из своей нембриджской юности простосердечной русской реке это неуместно-пышное сравнение.

К осени, когда темнеет рано, еще с моста ловишь сквозь прибрежные кусты свет в дорогах тебе окнах и прибавляешь шаг. Вечно беспородная собачонка (уже третья на моей памяти), вся в щенках, выкатится из-под крыльца с дежурным лаем, но нити на этот лай не выглянет. В прихожей — Господи, как всегда! — совершенный склад обуви и из кухни уже летит напористый голос хозяйина, рассекая чьи-то побочные, расступающиеся голоса. Мир непоколебим...

И для меня это уже четырнадцать лет! Они сошлись в долгий день редких общих работ, летних прогулок, кипения идей, полуночных бесед, ледяных предзимних купаний, покоев, церковных стояний и опять и опять бесед — о Пушкине, Набокове, Рылееве, Рерихе, Петрове-Водкине и Шишкине, Державине и Крамском — обо всем хороводе великих имен, которые населили воздух этих припетербургских мест. И обо всех бедах наших нечистоплотно завязанных дней, о русской переливающейся через край мысли, о церкви, о смерти, о поэзии и тоске, одиночестве и свободе — о Родине. Долгий счастливый день, где и тьма (а я видел тут и смерти, и холодное утро августовского путча, когда мимо дома в немой час "между волна и собаки" бесконечно шли на Петербург танки, бронемашины, полевые кухни, пушки, перемалывая утро грохотом закладывающего уши безмолвия) преобразилась в свет и любовь, как это всегда случается, когда делишь прошедшее с дорогими в людми.

А начало этого счастья — само знакомство с Александром Александровичем Семочкиным. Я бы, может, и позабыл теперь тот день, когда бы не привычка к дневнику, еще не пересохшая в те давние уже дни. Вот теперь и нашел старую тетрадь, а там под 14 ноября 1984 года весь тот день, уже и тогда, видно, сразу такой важный душе, что рука пыталась удержать его весь.

Сказал мне о Семочкине много снимавший Михайловское фотограф Евгений Кассин. И именно в связи с Михайловским и Семеном Степановичем Гейченко, о котором я писал тогда, и сказал — что-то ему увиделось в них общее. Мы списались и письма сразу были "с запасом", сразу через край. Я поехал...

Вышел у музея станционного смотрителя, который он тогда строил и где мы и условились встретиться. Пасмурный волгло-морозный, серо-заиндевелый денек оказался под стать казенно-желтой почтовой станции и какой-то тюремной, отсылающей воображение в Петропавловку, полосатости верстовых столбов. Спросил Семочкина. Говорят — обедает. И мужик, объяснявший, как найти его дом, даже что-то таное сделал руками над головой для наглядности. Жест вскоре объяснился. Дом был непростой, с гульбищем, вторым этажом, затейливым крыльцом, тенью модерна в окнах. Дом был с задором: а дай-на я!.. (Теперь у нас этого задору на каждом шагу, а тогда — в диво.) Сам, оказывается, придумал и сам от циклопического фундамента до конька и построил.

— Ну и хорошо что приехали. Давайте поедим и сходим на станцию поглядим. На Набокова не смотрите (а я уж, правда, выцелил голубой, сталисто отблескивающий переплет "Бледного огня", которого не читал, да, кажется, даже и не слышал). Этого сразу не одолеешь. Тут поэма в 999 строк и толпа комментариев к ней, которые автор советует читать вперемешку и назад, возвращаясь к поэме и предисловию и по возможности держа перед глазами весь текст сразу. Тут столь-

ко секретной перемигивающейся игры смыслов, что переводчик — жена Набокова Вера Слоним, бывавшая здесь у нас, — жаловалась, что, пожалуй, и она там не за все отвечает. Лучше вот пока "Другие берега" посмотрите. Это для него "другие", а для нас вот эти самые, лежащие за окном берега Оредежа.

Пообедали и на станцию.

— Давайте-ка заберемся на каланчу — оттуда весь двор на виду и все нагляднее. Тут ведь был свой пожарный выезд, своя кузница, своя шорная — маленький замкнутый мир. Почта вообще дело замкнутое и немного мистическое. Я когда дальше углубился, у меня дух захватило. Ведь почтовая система, которой мы живем сейчас, в сущности, рождена Тамерланом. Не европейскими турн-унд-таксисами, которые держали в руках весь почтовый оборот, не частными ловкачами, а государством. И именно тамерлановым государством. У него ведь империя-то была от Китая до Польши, от Сибири до Индонезии со столицами в Урге и Сарая — новой и старой, духовной и военной. И между ними 3000 верст. И из конца в конец империи летели с медной, всеразрезающей бляхой "пай-цза" на груди удалыцы, спортсмены, которые, пожалуй, только это и умели — сидеть на лошадях и не слезать с них по тысяче верст. Вы не поверите, но почта доставлялась со скоростью куерского поезда. Не зря этих молодцов безобразили, вырезали носы и уши, а то и коленные чашечки, чтобы человек не мог стоять, а только сидеть на коне. И кто-то шел на это сам, потому что это давало на короткое время опьяняющую власть. И шли молодые, крепкие. Это ведь не для красного словца сказано в нашей песне "Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку..." Силенка была нужна — служба была беспокойная, дерганая. У меня прадед держал здесь постоянный двор в нижнем конце Выры, где стоит сейчас мой дом, так что я чувствую эту связь кровью, и почта, видно, не зря так вошла в мою жизнь. И эта станция — тоже. Мне на роду было написано восстановить ее. Тем более, это не противоречило моим реставрационным принципам — тут нового делать надо было не много, основа была жива — аура стен дает острое чувство подлинности, которое уже проще дополнить после воскрешения интерьера этой поярковой треуголкой, этой пушкинской подорожной, подписанной Нессельроде, этими лубками, помянутыми в "Смотрителе", этим бальзамом — "ванькой мокрым" на окне, который охотно цветет зимой и летом, как живая строка...

Спустились с каланчи, и Александр продолжил:

— Будем и часовню восстанавливать. Наших Кузьму и Демьяна. Я подстелил причину, что, мол, тут Тургенев тело Пушкина положил, когда ямщики, зароптавшие от раннего выезда из Петербурга, попросили роздыху. Может, оно и правда, так было. Но и не было — не грех, если результатом такого предположения станет восстановление часовни. А срубить я ее срублю — слава Богу, изобразительного материала осталось достаточно.

День незаметно перетек в вечер, беседа обрывалась и вновь схватывалась — на станции, по дороге, дома за кухонным столом. И не терпелось выведать, нанова же была его дорога и нынешнему бригадирству и реставраторству в музее бедного пушкинского станционного смотрителя Самсона Вырина, который ведом теперь каждому проезжему в Петербург или из Петербурга, если он едет по Киевскому шоссе.

Родился Александр здесь же, в Рождествене. Детской легендой, дорогой памятью, лучшим воспитателем, отцом, матерью останется для него бабушка — потому что с началом войны отец, служивший в пограничных войсках НКВД,



вступит под Псковом в самые первые бои, мать уйдет в роту связи зенитного батальона и закончит войну в Будапеште.

Бабушка сбережет внука в долгой оккупации и сдаст с окончанием войны, слава Богу, живым в орденах родителям, боевым и здоровым. Но они ему — вот еще один неожиданно тяжелый оборот войны — уже были чужими. Он знал, что их надо любить и гордиться ими, и гордился, но по-настоящему близки они уже не были никогда. Может, и то еще причиной, что отец, как надровый военный, служил то на Урале, то в Средней Азии, то на Западной Украине, и в каникулы мальчик жил с родителями во всех этих местах, а к осени, к школе летел в Рождественно, к бабушке. А закончил школу уже в Ленинграде, где отец поселился в 55-м году после демобилизации, но тоже вместе пожить и привязаться друг к другу не успели. Осенью 1956-го Александр получил комсомольскую путевку на Алтай, в Бийск, на огромную стройку химического комбината с полувоенным профилем.

Ах, эти наши биографии! Как мы их сегодня бессовестно комкаем, опасаясь непонимания, иронической улыбки, брезгливого подозрения! Между тем там все было так светло и чисто, как дай Бог, чтобы было у наших "освобожденных" детей. Во всяком случае так было у него. И сейчас, только заглянув в те годы, он с восторгом и справедливой гордостью вспомнит, что в 18 лет уже был бригадиром комплексной бригады каменщиков, бетонщиков, плотников, умел все и знал высокую радость тяжелейшего напряжения, немислимого быта, морозных штурмов — всего, что освящало тогда молодые книги шестидесятников, выучившихся сегодня цинизму предательства своей юношеской памяти и, кривясь, старающихся забыть своих "Коллег", "Хронику Виктора Подгурского", "Продолжение легенды". Он и сейчас назовет в той бригаде всех и каждому найдет слово благодарности.

Впрочем, я же не биографию пишу и мне не терпится вернуться туда, в дни знакомства... Я тогда унес с собой набоковского "Соглядатая", успел много прочитать и, конечно, наутро сразу своротил разговор туда. Что он-то искал в Набокове? Почему именно он еще в середине 70-х годов при поселившемся в усадьбе совхозном краеведческом музее сумел выторговать уголок для этого слишком "тонкого" по меркам той здоровой эпохи эмигрантского гения, которого к тому же крыли тогда за эстетизм и "порнографию" "Лолиты" и "Литературу" и "Новый мир", не говоря уже о более "крепких" изданиях?

— Мне кажется, главное в нем, что моя жена чутьем ухватила, а я уж только в словах выражаю — от чтения Набокова остается непрерывное чувство счастья и необъяснимой светлой печали, о чем бы он ни писал. Это взгляд в ту Россию, которую мы не можем помнить по голосу крови, по родству, хотя для меня в чтении есть и интимный оттенок — мы в каком-то родстве, которое я не знаю, как определить: мой прапрадед и прадед Набокова были женаты на сестрах хорошей дворянской фамилии Шишковых и земли их соседствовали. Но это, конечно, сбоку. Главное — это свет речи, эта редчайшая чистота. Ведь вы замечали, наверно, что он всю жизнь стоял против пошлости и у него нет ни одной пошлой строки, мысли, слова. Вся его земля, даже если он пишет о Кембридже или Афинах, — это "наша Выра", как он ее называл, это наша Россия, как бы подсказка ей перед бедой. Ведь что такое "Приглашение на казнь", написанное в 34-м году, как не предостережение против союза жертвы с палачом, как не призыв "освободиться", убить раба в себе и сразу станешь неподвластен смерти. Но подсказка — мимо.



Что есть "Лолита", как не предостережение от подавляющего всеразрушающего сексуального ужаса в пользу старозаветной наивной преданной ясности. А "Ада" вообще заброшена в 21-й век. Написанная на трех языках, она еще ждет читателя, и именно русского читателя, который в рифмах этих трех языков увидит всеединяющую тайну.

Мы доехали до Рождествена и шли вдоль берега Оредежа в красных обрывах и соснах, и Набоков сбегался отовсюду.

— Вон за тем полем на откосе он встретился с Машенькой в "Машеньке" и с Тамарой в "Других берегах". А этот ольшаник — место, где был их дом, ведь в Рождествене-то, собственно, не набоковский, а рукавишниковский дом — дом матери. Этот же сгорел в войну. Тут стоял Паулкос со своим штабом и, может, дом за это и поплатился.

Через старый парн мы опять вышли к Оредежу. Мартовский, несмотря на ноябрь, июновский синий снежок свернал под солнцем, иней искрился, ели чернели по берегам и слева на холме высились кладбище.

— Здесь стоял монастырек и усадьба царевича Алексея Петровича, несчастного Петрова сына, надеявшегося оградить от отца церковь. Тут была поставлена и первая церковка Рождества Богородицы, давшая название месту. Это уж потом церковь переехала на правый берег по просьбе прихожан, а тут остался погост и тут лежат мой прадед и мой дед, тут под белым мраморным крестом лежит жена Ивана Ивановича Шишкина, жившего здесь 19 лет, и тут под берегом была маленькая пристань, куда ежегодно в июле причаливала лодка, и Шишкин нес на могилу охапку алых роз. Вы видели ее — Ольгу Лагоду: ее написал в "Курсистке" Ярошенко...

Ну да, Набоков, Ярошенко, царевич Алесей... Но как же они являются в судьбе комсомольских бригадиров? А так и являются, что он тогда прямо из Бийска попал по призыву на подшефный алтайскому комсомолу крейсер "Свердлов" в радиотелеграфисты, в которых тоже, конечно, по умению идти на пределе скоро уже получил первый класс и пошел на мастера, если бы не "кружок самообразования", затеянный им на корабле, вскоре выслеженный и разгромленный по подозрению в неблагонадежности.

Тут мне осталось только засмеяться и обнять его, как не терпелось уже и раньше, когда он поминал Урал, а там речку Вильву, в которой он купался в детстве. Ну, ладно, родились в один месяц одного года, ну, ладно, в детстве купались в одной речке, в юности работали бетонщиками. Но тут-то, тут! Я служил на соседнем со "Свердловым" крейсере "Александр Невский" в тех же радиотелеграфистах, разве классом был пониже, и так же был выслежен в библиотеке, когда мы собирались с ребятами после отбоя для чтения едва явившихся экзистенциалистов, и так же был препровожден в някту корабельного особиста. Вот что значит поколение! След в след. И уж, конечно, судьба не могла не позаботиться, чтобы однажды вот так свести нас.

Целый день мы опять ходили и ходили тогда по родным его окрестностям, ему не терпелось показать все, обрадовать меня своей землей, увлечь ею, заставить так же полюбить, как потом, я увижу, он будет делать со всеми приезжающими на Выру людьми. Любовь к земле, как всякая настоящая любовь, ищет быть объявленной всему свету, потому что одному ее слишком много.

— Здесь лежала дорога из шведов на Новгород. Вон этот мощный подъем. А тут, вот в этой красной воронке как будто погребен храм Велико-Николы, сто-

явший здесь на краю Новгородской пятины. Почему именно Велико-Николы, ведь такого извода нет? Меня вообще смущает новгородская вера и у меня есть несколько косвенных поводов думать, что в верхах Новгорода была "своя вера" сродни гностикам, неоплатоникам. В особенности этот культ Софии, столь свойственный гностикам и в их иерархии стоявшей выше Христа, отчего и на монетах новгородской антики София держит в руках маленький храм в одной и Христа в другой. Была, была какая-то элитная вера для "лучших людей". И не за это ли еретическое двоение так страшно был изведен Новгород Иваном? Не за то ли Бог попустил этот ужас наказания за внешне несоразмерные наказанию вины? И вот тут, в этой бездне скрылся Никола Великий? Почему? Благословенная земля. Подлинно под благословением Божиим. И не зря так населена красотой и преданием. Здесь ведь не только Шишкин и Набоков были счастливы. Тут любил писать Крамской, и старики еще помнят и "Полесовщика" по имени и "Мину Моисеева с уздечкой". Тут Аполлону Майкову было так светло, что он в благодарность построил в Сиверской нарядную церковь и она служит на радость окрестному народу. Тут в Батове, в трех верстах отсюда родился Рылеев и оттого писал про царевича Алексея как про соседа. Да ведь и Арина Родионовна наша, кобринская, и изба ее цела. И Пушкин ведь в Москву рождаться отсюда поехал (Надежда Осиповна была беременна), так что и он родом наш — с этой земли...

Нак много за один день! И я уже не буду приводить долгого разговора о Туринской плащанице, которую как раз тогда американцы торопились подвергнуть решительному анализу, о христианстве, о симметрии истории, даже о финском животноводстве, на которое мы своротили, когда закончили долгие дневные странствия на той же почтовой станции, и я спросил, чего уж он так сложно выводит кровлю въезда.

— Мог бы попроще, да тут я держусь правила, кажется, Туполева: если я сделаю быстро, но плохо, все быстро забудут, что я сделал скоро, но долго будут помнить, что сделал плохо, а если сделаю медленно, но хорошо, то скоро забудут, что сделал медленно, но будут помнить, что сделал хорошо. Да и бабушка у меня всегда говорила: "Быстро хорошо не бывает". Что проку, что мы быстро стали стряпать комплексы для животных, а надои за нашим числом не торопятся. Финны вон запретили стада более пятнадцати животных, потому что у быка, оказалось, как у турецкого султана — и любимая жена есть, и первая, и младшая. А как нарушишь эту картину, то тут все и пойдет вразнобой. Поставят на ферме двух "первых жен" рядом, так они не молоко, а кефир станут давать от досады. А все числом хочется, скоростью. Несчастные...

Тут я и пойму, почему он все время будет сетовать на нехватку образования, хотя закончил после флота не последний по рейтингу архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института с его прекрасной репутацией, ни минуты не останавливался в самообразовании, много строил в родном Рождестве, уклонившись от чести распределения в проектный институт, и еще больше реставрировал, возглавляя и реставрационную мастерскую, пока не понял, что сто умов не могут вести одно дело и что лучше самому взять в руки топор и делать это дело своими руками.

Вот дом станционного смотрителя и был этим первым, по-настоящему своим счастливым делом. Им начал заниматься до Семочкина прекрасный знаток Выры И.Д. Ларин, сумевший убедить в ценности этого погибающего под складом

ядохиминатов дома даже колхозного рождественского председателя, да так убедить, что тот вполне в стиле популярного ульяновского "Председателя" собрал правление и под ленинский юбилей попросил о субсидиях, сказав со всей прямотой: "Значит, так, мы зас... нам и восстанавливать. Только пикни кто против. Кто за? Единогласно! Ну и молодцы!"

Кто бы знал, что на этот дом идет восемнадцать лет труда! Зато теперь это лучший музей русской почты. И, конечно, легко догадаться, что лучший путеводитель по нему — это Семочкин. Кому выпадала радость пройти с ним от прихожей до конюшен, потом были уверены, что знают ямской быт до точки, будто не у него одного, а и у них у всех деда держали тут постоянные дворы.

И каждый год на Кузьму и Демьяна приезжает из Рождествена местный батюшка и слугит молебен в поставленной тогда Семочкиным часовне (он рубил ее тайком за конюшнями, зная, что ее час придет. Она совсем недолго постояла без креста с копеечной экспозицией, как время повернулось, воздвигая уже давно заготовленный крест, явился образ, и часовня взглянула на дорогу с сердечной простотой. Будто век тут была). Да и сама Рождественская церковь давно бережется его руками. Мне привелось раз помогать ему на храмовой кровле году в 85-м, и я легко увидел и его бийскую стройку, и гатчинскую реставрацию, и неизбежность его ухода в бригаду. Это была не работа, а непрерывный урон меры и радости, расчета и удовольствия, высокого ремесла и игры. У меня уж и сил нет, а он времени-то словно и не видит: "Как хорошо, что Господь снял проклятие с труда и труд из казни ("в поте лица твоего будешь есть хлеб твой") стал благословением и лучшей дорогой человека к душе, к духу и Богу".

И потом во все приезды — на сенокосах ли, в домашней работе, на строительстве церкви на Святой горе в Печорах — всегда я видел эту спокойную силу и неутомимость, уверенность и волю во всякую минуту полного человека. Мы ведь обычно все "в прорехах" — насилу к вечеру что-то сложишь из дня в заплатках и случайности, а тут ничего начерно не живет — все полной мерой, как перед Богом, с той же рассеивающей силой, как в кухонных беседах, как в его немногих статьях о давно занимающей его симметрии, о русской монархии, о национальном характере (не зря их в "Русской провинции" тотчас выцелил Солженицын, угадав родственную энергию и покойную твердость человека, живущего дома и не собирающегося уступать этого дома никаким соблазнам). Смее думать, что это слышно и в записи нашей первой встречи, которую я уже привел, но для верности еще выхвачу абзац-другой из его работ, чтобы читатель почувствовал эту напористую власть, это нетерпение жизни. Ну вот хоть окончание "Симметрии": "Мою страну бросает в крайности. Совсем недавно она исповедовала азиатский принцип "коллективного мышления", точнее "коллективного сознания", когда мнение и сама жизнь индивидуума считалась за ничто в сравнении с общностью даже такой малой как "трудовой коллектив", и мы все были участниками, даже заложниками, сложнейшей игры, где каждый день и час посредством жестов и мимики, паролей и кодов необходимо было сигнализировать: я свой, свой, я в Игре, я знаю правила, я лоялен... Теперь мою страну бросило в другую сторону, где правила другие, а пароль соответственно звучит "Это — ваши проблемы!" Количество Жизни в моей жизни, безусловно, возросло, а Игры стали иными и ослабили тиски обязательности. Жизнь частенько являет свое строгое лицо и ей бесполезно кричать про классовое единство. Временами меня охватывает грусть о прошлом, где я жил в клетке, но там не было хищников, иногда кормили и даже заходил врач..."

Я не спрашивал, сколько он построил. Довольно того, что я успевал увидеть в свои редкие приезды, заставая его то за выведением сложнейшей кровли дачи принца Ольденбургского, то на конюшнях "Дома Самсона Вырина", то на срубках храмов в Печорах и Суйде, то за бережным выкладыванием любимых им оконных арок в циклопических валунных фундаментах, то, наконец, в последнее время — на рождественской усадьбе Набокова, в доме, ставшем его судьбой, все время будто кружившем вокруг многие годы, чтобы теперь больше не отпустить. Он и сейчас с волнением вспоминает, как впервые прочитал "Дар", привезенный друзьями:

— Это был обвал. Не стыдно признаться — я плакал. Январь, зима, на улице минус семнадцать, и вдруг — бабочка: отогрелась под лампой и припала к странице. Это был знак. А уж потом шло стеной вплоть до набоковской посылки от ардисовского его издателя Карла Проффера году в 77-м, а там уж и первые наши закрытые набоковские чтения...

И теперь, когда бы я ни приезжал, — зимой, осенью, летом, мы находили случай оказаться у этого симметричнокрылого александровского чуда и так всегда были отрадны мимолетные, всегда при полной любви неуступчивые комментарии Семочнина: "Помнишь, он писал, что дом стоит на месте, где "изобретательная тирания определила место заточения царевича Алексея"? Это не так. Судя по трилогии Мережковского, по части ее, касающейся царевича, место это было на другом берегу Оредежа — где кладбище. И о заточении и тирании — громко. Это земли любимые. Они в округе все были розданы Петром самым близким — Апраксину, Кикину. Этот же Кикин, вися на дыбе, будет шептать заглядывающему ему в глаза Петру: "Душно у тебя, государь, хоть ты и велик, мертво и душно".

Он с этим набоковским домом шли друг к другу сужающимися кругами, пока, наконец, в 1994 году Семочнин не сдался на уговоры и стал директором Рождественской усадьбы. А менее чем через год, в самый день рождения Набокова, 10 апреля 1995 года дом вспыхнул и, высохший за два столетия до пороха, сгорел чуть не до основания под бессильный плач рождественцев, которым этот дом всем был домом. За его сложную жизнь и конторами он успел побыть, и школой, и музеем, для каждого приберегая воспоминания. Впрочем, никуда не делись и герои распутинского "Пожара" — под шумом и тут скоро потащили кто что унесет.

Семочнин в то воскресенье был в Сиверской. Когда прилетел, все шло к концу. Надо ли объяснять, как он жил после этого, особенно в самые первые дни, как вообще живут люди, у которых сгорит душа? Его письма стали просты и каменны ("Не есть ли случившееся знак того, что погибшее погибло навени?.." "Все хочу обдумать как следует, но нашим осмыслениям всегда не хватает малости — жизни..." "...не в пожаре дело — просто подведение итогов начинается и видишь, что сделано ничтожно мало, больше все разговоры, что вот, де, негде было размахнуться, а то бы я — старые все песни..." "...ощущение, что пульса нет — какой-то шум и только...")

Я испугался, пустился сочинять теории, подставлять символические сюжеты — отчего это было неизбежно именно с набоковским домом, странно уберегшемся посреди совсем не набоковской безжалостной и некрасивой истории. Надо было "заговорить" боль на первые часы до того, как душа разогнется.

Придя в себя, он решил на труднейшее — на восстановление дома с сохранением всего, что могло быть сохранено после пожара, хотя было бы в сто

раз легче снести остатки и построить все наново, не думать, как соединить двухсотлетний материал с нынешним, не вписываться в сложнейшие выгоревшие объемы, не решать неподъемных технических задач. Нет, ему было важно, чтобы душа была та, и пусть под новой обшивкой никто этого не увидит, но сам-то дом будет слышать себя и помнить свое прошедшее. В новоделе ему мерещилось что-то эмигрантское, вроде "псковских" церквей Бельгии или Франции. Он и до беды много думал об этом: *"Замечательно, как они там все скоро выдыхаются. Сколько их уехало, наших 'тениев' в последнее десятилетие. Бедняги думали, что положи талант в чемодан и там-то и развернешься. Нет, брат, это те в 'европейском доме' могут менять свои 'отчества' как хотят, а наше безнаказанно не оставишь. Тут тебе лоно и кормящая грудь, и почва, а без них ты — только талантливая пустота"*.

Кажется, ему и Набонова было страшно отпускать "совсем". Новодел был бы изгнанием, чистой литературой, лишавшей Набонова драгоценной ноты родного и навсегда русского /"Но где бы стезя ни бежала, нам русская снилась земля. /Изгнание, где твое жало, /чужбина, где сила твоя?"/.

И с той поры письма уже походили на служебные сводки: вычинили фундамент, подняли сруб, выставили стропила, установили колонны, покрыли крышу... Приезжал Д. В. Набонов, сын. Поглядел и — европеец уже! — не понял, как можно было вывести все это силою одних рук да детской лебедки "Пионер" — эти могучие цельные балки, эти стволы колонн! И уж тем более было бы ему не понять, когда б он знал, что бригада и сам директор не получают зарплаты по чetyре и более месяца и бригада не ропщет, потому что больше всех и именно самое сложное и тяжелое делает директор, не выпуская топор целыми днями. А он не устает благодарить их и всегда как новость говорит мне:

— *Они же могли заколачивать деньги на коттеджах для питерского буржуазства, которое жирует в окрестностях, но они что-то понимают лучше нас. Вообще молодые сегодня лучше нас. Не замороченные, как мы, не сбитые с толку ложью, почувствовавшие настоящую силу родного, без подпорок идеологии. И потом они уже узнали великую радость реставрации, когда ты приходишь на пепелище, а после тебя остается дворец. Кто это раз пережил, того ничем не сманишь. И они уже догадались, что это нам, кухаркиным детям, сегодня принимать и тянуть нашу великую культуру. Те, первые, сошли в могилы, в чужие земли, а нам, вот им, — жить и быть этой самой культурой, этим новым "дворянством", этой опорой России — прости за полет.*

Я уж помалкиваю и делаю вид, что не догадываюсь, что первый урок и первый пример тут его, прошедшего с родной историей все, разделившего все ее заблуждения, ничего не простившего в худшем и ничего не опорочившего в достойном (нан они схватывались с отцом — не подходи! Оба — огонь, и каждый за свое время и свою правду горой. Страшно расходились, но любили друг друга, гордились друг другом. Теперь вот и отец лежит на рождественском кладбище в соседстве с материнской ветвью семочинского рода, и он уже "почва" дома и духа).

Всякий, кто проезжает теперь по шоссе Петербург-Киев, видит сейчас эти два лучшие детища Семочкина — почтовую станцию с веселой часовой и возносящийся над Грязной и Ореджем, воскресающий из пепелища дом, еще не одетый, но уже живой, уже пошедший, нан после тяжелой болезни, на окончательную поправку, так что и село опять собралось вокруг него и надежнее глядит вперед. Есть, есть в этом что-то знаковое — в судьбе Семочкина, судьбе на-

---

боковского дома, какой-то вразумляющий поворот, что-то большее, чем страница частной биографии.

Я улыбнулся окончанию его недавнего письма: *"За все слава Богу. Уходит наш с тобой девятнадцатый век, кончается. За ним следует непосредственно двадцать первый. А двадцатый век мы с тобой как-то по касательной проехали — искр было много, но твердое тело века нас в себя не пустило"*.

Вот не знаю. Может быть, меня-то и правда не пустило, оттого, что я не особенно и толкался, а уж он-то оба века как раз собой нуда как крепко держит и если уже суждено девятнадцатому веку ухватиться за двадцать первый без чувства потери и разрыва, то именно благодаря таким сынам беспокойного, страшного, мучительного, великого для России, неизбежного в ее судьбе двадцатого века.

Не хочется нинаних "точек" в этих заметках. Будний рабочий день в середине недели из тех, о которых на вопрос "как жизнь?" отвечают — "нормально!" Да и не "заметки" это нинание, а только окливание сердца; друг мой бесценный, не уставай! Век-то к концу, да работа, как всегда на Руси, к началу... ■



# ЗВЕЗДНЫЕ ГЕНЫ

**Татьяна РОСТОВА**

**К**то-то сказал однажды, что гениальность — это всего лишь один процент таланта и 99 процентов трудолюбия.

А как же гены? Разве не бывает случаев, когда с пеленок ясно, что этот ребенок будет певцом, а этот — конструктором?

В свое время про Пушкина, например, говорили, что он прирожденный поэт: мол, из него, словно из погремушки, рифмы так и сыплются. А про Леме-

шева, что он прирожденный певец. Юрий Никулин сам рассказывал, что с детства любил, когда над ним смеялись. При этом не обижался, а только радовался, если другим весело.

Кто, как не мамы, лучше всех знают своих детей?

В чем же секрет успеха их дочерей и сыновей: в наследственности, трудолюбии, упорстве, случайности, красивой внешности?..

## Елизавета Захаровна Мантрова

### о дочери Инне Чуриковой

**К**онечно, всякий ребенок рондается на свет с какими-то задатками. Может, они у него от матери, может, от бабушки. Но беда в том, что зачастую родители не развивают этот талант, и он гибнет на корню.

Когда моей дочке было всего три года, я заметила, что в ней есть какой-то дар Божий, но считала, что артистка должна быть обязательно красивой,стройной, а дочка моя в детстве была толстушкой. И все-таки в ней что-то было!

Помню, жили мы за Химками, в деревне Чашниково, в насвозь продуваемой пристройке к барану. Зима, холод страшный! Инна все время простужалась. Однажды так разболелась, что и меня напугала, бегу за доктором, а сама все думаю: выживет ли? Привела в свою временку врача, а дочка нарядилась в тюлевые накидки с подушек и танцует, танцует босиком на ледяном полу. Врач и спрашивает: "Где же тут больная?" А она, кружась, отвечает: "Здесь нет больной. Здесь только великая артистка Инна Чурикова".

А когда ей исполнилось лет шесть, я купила билеты на оперу "Руслан и Людмила". Сидели во втором ряду. Инна так внимательно слушала, сидела тихо-тихо. И когда занавес закрылся, все зааплодировали, она как вихрь, совершенно не стесняясь, вырвалась к сцене, кричит певцу, исполнявшему роль Руслана: "Браво! Браво!"

Однажды пришла из детского сада и говорит: "Мама, нам предлагают заниматься музыкой. Нужно только каждый месяц платить по 50 рублей". А мне так хотелось, чтобы дочка моя и в театр хо-

дила, и музыкой занималась, и в компании интересной была. Только вот денег лишних у меня не было. Научные работы, они ведь фанаты: работать умеют, а деньги зарабатывать — нет. Но я дала себе слово, что скоплю денег и куплю ей пианино.

Что и говорить, трудно одной ребенка воспитывать. Пробовала я создать семью, да ничего из этого не получалось. Один — выпивоха, другой — по женской части охотник. Нет, думаю, при таких мужах не дам я ей хорошего воспитания. Хорошего мужа не нашла, а плохой не нужен. Хотя, честно признаться, страшно было в старости остаться одной...

Как-то отправила ее в пионерский лагерь. Театральный кружок там вели бывшие антеры, и Инна в нем занималась. Приезжаю в выходные, а она чем-то расстроена. Оказывается, один мальчишка сказал ей, десятилетней девчонке, что у нее ноги толстые.

— Мама, — говорит она, — вот я пойду, а ты посмотри вслед и скажи честно — толстые или нет.

И пошла. А я ей говорю:

— Да у тебя, дочка, ноги как у балерины, как у Майи Плисецкой. Никому не верь, если еще скажут.

А позже она унасно расстраивалась, что мальчишки всех приглашают танцевать, а ее нет. Писала мне из пионерского лагеря: "Наверное, я некрасивая..." Я ее успокаивала, что, мол, выглядишь ты моложе подружек, вот мальчишки на тебя и не обращают внимания. Постоянно внушала, что настанет день, когда парни будут гордиться, что танцевали с тобой. Так и написала: "Ты, дочка, запомни: настанет время, когда будут считать за честь танцевать с тобой".

Как же мне трудно было расставаться с ней, когда в ее жизни появился Глеб Панфилов! Но это уже другой разговор. Хотя для безумно любящей матери





так важно понять, что нужно немного поосторониться, если ко взрослому уже ребенку приходит любовь. Стали мы с дочкой нить отдельно... А мне еще долго мерещилось по ночам, как она рядом дышит. Ее дыхание я не спутаю ни с каким другим!

...Актрисой она, наверное, твердо решила стать в восьмом классе. Они тогда всем классом пришли поступать в школу-студию при театре Станиславского. Приняли ее одну. Два года она ходила заниматься, а в 10-м классе я ей запретила, сказала, что нужно готовиться к поступлению в Московский университет. Хотелось мне, чтобы дочка выбрала более основательную профессию. Я ведь уже полвек работаю в МГУ, докторскую здесь защитила, профессором биологии стала. Знала, что без дополнительных занятий к нам может поступить только очень одаренный ребенок. Поэтому репетиторов наняла по физике, химии, русскому языку, литературе. Мне это тоже немалых денег стоило. Но все напрасно. Видно, еще и от бабушки передалась ей страсть к актерству. Мама моя была первой плясуньей на деревне, петь любила. Стоит ей услышать, что где-то в округе праздник, она бегом туда. И мы с дочкой дома все время пели, стихи декламировали.

Когда вышел ее первый фильм "Начало", она сразу стала знаменита. За ней толпами ходили поклонники, некоторые помощи просили, квартиру, например, выхлопотать. Смешно!.. Сами-то мы жили в однокомнатной. Своей популярностью дочка никогда не пользовалась. Чего мне стоило заставить ее пойти в Моссовет похлопотать насчет квартиры! Продавцы в магазине во времена дефицита ей говорили: "Приходите, не стесняйтесь, если есть товар — обязательно дадим". Но она этим никогда не пользовалась...

Еще есть в ней качества, которые помогли достичь этой самой популярно-

сти: целеустремленность и упорство. Взять, к примеру, ее курс: Сколько там талантливых ребят было! Но не всем хватило сил. Актерство — это ведь адский труд. Свои спектакли Инна не играет, она живет ими. И ей нужно час-два, чтобы потом "выйти" из образа, возвратиться к обычной жизни. Я боялась, что первый успех сломает ее, поэтому все время внушала, что успех — это всего лишь один процент таланта, остальное — труд. И она уже после фильма "Начало" совершенно искренне спрашивала:

— Мама, а как ты думаешь, у меня есть этот один процент?

### **Надежда Ивановна Кулик**

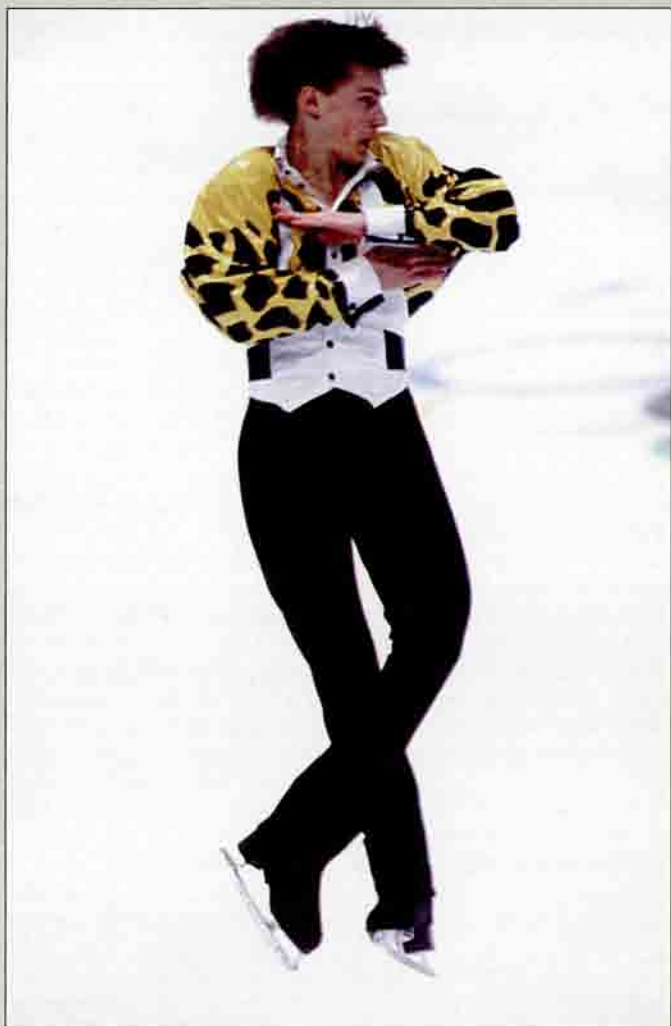
### *о сыне чемпионе Олимпийских игр в Нагано Илье Кулике*



**И**лья с детства был удивительно спортивным мальчишкой. Уже в год он лихо играл в футбол.

Впрочем, способный он не только в спорте. В шесть лет увлекся вышиванием. А когда пошел в школу, то ему одианово легко давались и математика, и литература.

В то время, когда сын был маленьким, мы не увлекались гороскопами,



астрологическими прогнозами. Но позже я в этих гороскопах вычитала, что Близнецы — знак воздуха — очень подвижны. Значит, не зря мы отвели четырехлетнего, рожденного под этим знаком Зодиака Илью на каток. Каток был рядом с домом, и там как раз набирали группу новичков. Тренер, Аида Васильевна Лисицкая оказалась удивительно чутким, душевным и мудрым

человеком. До сих пор мы ей очень признательны. Она поставила Илью на коньки и вывела на лед. Кататься он совсем не умел, падал и вставал, падал и вставал. За первое занятие упал раз двести, но не расстроился, а упорно вставал снова и снова. Над моим Чебурашкой смеялись и дети, и родители за бортиком. Его и это не смутило...

Аида Васильевна меня успокаивала, мол, через три-четыре занятия он догонит ребят. Так и получилось. Он ведь удивительно упорный. У него всегда была каная-то внутренняя установка: надо! В спорте это незаменимое качество. Если оно есть в спортсмене, то многого можно добиться. А еще Илья очень обязательный.

Помню, в первом классе учительница попросила детей, чтобы они к Новому году выпустили газету. (Писать ребята еще почти не умели, но могли хотя бы картинки наклеить...) Выбрал мой сынок новогоднюю сказку про зверят и захотел ее переписать. Но они же еще и половину букв прописных не изучили! И бедный Илюшка сидел, выписывал каждую букву сначала на черновике, а потом в газете. Мы с мужем только ходили вокруг него и вздыхали. Уже ночь на дворе, а он все газету делает. Кое-как его спать отправили, а он волнуется, что еще не все доделал, и просит пораньше его разбудить, чтобы до уроков остальное успеть написать... Потом учительница его газету всем учителям показывала, а они не могли поверить, что сделал это первоклашка.

Спортивная жизнь — суровая жизнь. Времени на учебу остается очень мало. К тому же часто менялись тренеры, а потому и школы. Но Илья везде хорошо учился, и его выручала прекрасная память.

Часто приходилось, впрочем, как и всем спортивным детям, заниматься самостоятельно, без помощи учителя, а потом сдавать пройденный материал экстерном. Илья за неделю с легкостью мог выучить курс, который его одноклассники в школе проходили за целую четверть или даже две. А когда приходил в школу и говорил, что готов отвечать, учителя знали: не стоит и спрашивать, тратить время — этот ребенок на редкость добросовестный. Абсолютно все школьные предметы ему давались

легко. Мы, например, не занимались с ним английским языком и непонятно, когда и как он его прекрасно выучил. В школе он бывал редко, но одноклассники его любили. Любят и ребята в команде, и тренеры.

С большим уважением и Илья, и вся наша семья относятся к Сергею Николаевичу Громову. Он дал сыну хорошую прыжковую базу, нацелил на победы. А настоящий успех пришел, когда Илья тренировался в группе высшего спортивного мастерства у Виктора Николаевича Худряцева. Тогда, в 17 лет, наш сын выиграл чемпионат мира среди юниоров. Потом был чемпионат Европы, и снова — победа. На чемпионате мира занял второе место, а в прошлом году на чемпионате России обошел Алексея Урманова.

Сейчас Илью тренирует Татьяна Анатольевна Тарасова, с ее именем связана олимпийская победа Ильи. Тарасова смогла создать прекрасную тренировочную базу. Но, к сожалению, не в России, а в Америке. И это еще одна проблема. Скорее даже не ее личная или ее учеников, а проблема всего нашего спорта. Когда-то ведь у нас был культ фигурного катания, вся страна знала поименно наших (и не только наших) фигуристов. Теперь все изменилось.

Если бы лет десять назад мне сказали, что сын должен уехать тренироваться за границу, это было бы шоком для меня. Но сейчас понимаю: человек должен жить там, где ценят его труд, где дорожат его именем. В Японии и Америке, например, 20-тысячные залы приветствуют чемпионов стоя. Представляете, каков это испытание для наших 18-20-летних фигуристов! Хотя все они патриоты, все гордятся, выступая за сборную России, и всегда рады встрече с домом, с родственниками, друзьями...

Я как мать была бы счастлива, если бы здесь им создали такие же условия. Пока этого нет. И меня это очень бес-

поноит. По крайней мере, куда больше, чем те солидные суммы, которые Илья зарабатывает. Он ведь еще совсем юн, к тому же деньгами наши дети никогда не были избалованы. Но, слава Богу, деньги его не очень интересуют. Да, они придают ему уверенности. Но он никогда не был жадным, никогда не стремился к накопительству. Он легко с ними расстанется, и не они играют в его жизни ведущую роль.

На первом месте у него только работа. Даже в свободное от тренировок время он думает над программой, слушает классическую музыку, ищет, анализирует. Любит театр... Зананичивает институт, есть у него и девушка. В общем, он, как всегда, везде и все успевает делать.

Беда только, что в последнее время Илью преследуют травмы. И мало кто знал, что перед Олимпиадой он повредил спину, пропустил несколько важных соревнований, а потом сразу поехал в Нагано и — победил. Он удивительно мужественный и терпеливый...

**Лидия Владимировна  
Вертинская**  
*о дочерях  
Марианне и Анастасии*



**-В** судьбе человека, конечно, может помочь имя. Оно возбуждает в людях любопытство, интерес.

Так было и в нашей семье. Но это не многим и обязывает. Люди не хотят прощать детям известных людей бездарности, лени. Потому судят их строго, порой предвзято.

Александр Николаевич очень не хотел, чтобы наши дочери стали актрисами. Он был категорически против — актерская судьба зависит ведь от многих факторов и многих людей; сам актер не принадлежит себе, даже если он талантлив. Александр Николаевич, любящий публики, не был признан сильными мира сего, поэтому знал, как сложен и тернист этот путь.

Девочки наши росли веселыми, жизнерадостными, шаловливыми. Александр Николаевич считал, что им нужно дать хорошее образование, обучить музыке, языкам. Но они были такими непоседами, что все наши старания заставить их прилежно заниматься оказывались напрасными. К тому же Александр Николаевич постоянно гастролировал, дома бывал редко, а я училась в институте имени Сурикова. Маша и Настенька были очень дружны, и когда Маша пошла в школу, Настя заскучала — пришлось и ее отправить в 1-й класс. В классе она оказалась самой маленькой и, как говорил учитель, на уроках спала. Учиться ей было скучно. В общем, наши дети росли, как и все остальные.

Мы не купались в роскоши, как считают многие. Ведь несмотря на свою популярность, мой муж не имел никаких званий, поэтому зарплата у него была очень скромная — 80 рублей. К тому же жили мы большей частью на две семьи: он — в Ленинграде, мы — в Москве. Когда он умер, девочкам было 12-13 лет. К тому времени я только закончила институт. Никакого состояния Александр Николаевич не оставил, и для нас наступило довольно трудное время.

На выбор девочек повлияло, наверное, то, что нас знали многие режиссеры, художники, операторы. Я в свое вре-

мя снималась у Птушко. И когда он задумал снять "Алые паруса", то позвонил мне, чтобы попробовать на роль Ассоль Настю. Ей тогда было 15 лет, учиться она не очень стремилась, поэтому, услышав о предложении, запрыгала от счастья.

Настя увлекалась спортом, играла в волейбол и была несколько угловатой девочкой, с длинными руками, с короткой мальчишеской стрижкой. Птушко ее увидел и сразу же отверг. Настенька так расстроилась, что не могла скрыть слез. Тогда оператор предложил сделать фотопробы. Надели на нее платье, паричон с кудряшками и она стала той Ассоль, которую так долго Птушко искал.

Я оставила дом, работу и уехала вместе с ней на съемки к Черному морю. Насте очень нравилось сниматься в кино. А по приезде в Москву она вдруг бросила прежнюю свою школу и пошла учиться в школу рабочей молодежи...

Вскоре ее пригласили на съемки фильма "Человек-амфибия". Машенька, глядя на успех младшей сестры, поступила в Щукинское училище. И ее, еще студентку, пригласил сниматься Марлен Хуциев в картине "Мне 20 лет". Фильм получился замечательным. Так что дебют моих дочек оказался удачным — это и решило их судьбу.

Думаю, что не последнюю роль сыграли внешние данные. Я считаю, что



актриса должна быть красивой, зрителям приятно видеть на экране красивое лицо. С красивой внешностью актрисе и театра, и, особенно, кино легче сделать имя. Но нужно еще иметь что-то в характере. Настя всегда была более целеустремленной, настойчивой. И по характеру она сильнее Маши, Маша более открытая, увлекающаяся, несколько легкомысленная. Так и получилось, что в сегодняшней непростой жизни Насте легче найти себя, чем Маше.

Я очень горжусь своими дочерьми. Меня радует и то, что внучка Сашенька пошла по моим стопам, и тоже закончила Суриновский. (В отличие от акте-

ра, художник ведь более самостоятелен и независим.) Ее выбор меня очень обрадовал.

Еще в детстве, наблюдая, как Саша рисует, раскрашивает картинки, я поняла, что есть в ней способность к рисованию, и настояла, чтобы Марианна отдала ее в художественную школу. Саша получила классическое образование, стажировалась в Париже у очень известного художника. Надеюсь, что она когда-нибудь станет признанной художницей.

Машенька и Настя тоже кое-что унаследовали от меня: в детстве они неплохо рисовали. Но это занятие их не увлекло...



фото Валерия Плотникова, агентства «Спорт-экспресс» и из семейных архивов

# ПРИВРАТНИК БЕССМЕРТИЯ



*"Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один ученый человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему дани уважения глубокого и благодарности".*

**А.С.Пушкин**

## **Любовь РУСЕВА**

**—** О пять насилу вытащил из архива, — сказал Александр Иванович Тургенев, входя в гостиную и указывая на Карамзина.

— И хорошо сделали, — ответил Сперанский.

— Но можете представить, чем я его выманил оттуда?

— Опять "слепым Якуном"?

— Нет. Сказал, что адмирал Мордвинов где-то нашел и подарил вам знаменитые сапоги Редеди, чуб Святослава и зубочистку Феодосия Печерского.





И Сперанский, и Карамзин засмеялись.

— А можете вообразить, что этот повеса наделал? — спросил Карамзин, указывая на Тургенева.

— Какой-нибудь манускрипт испортил? — улыбнулся Сперанский.

— Нет, нервы расстроил у моего архивного kota.

— Это у академика Василия Васильевича Миофагова, — пояснил Тургенев.

— Чем же это?

— Я ему за ученые заслуги повесил мышь на шею.

— В самом деле, — сказал Карамзин, — повесил ему мышонка на шею; мышонки из папье-маше, искусно сделанный — настоящая мышь, и мой Васька совсем потерял спокойствие: живых мышей не ловит, а все возится со своим орденом, хочет поймать его и не может.

— Однако, как двигается ваша история? — серьезно спросил Сперанский.

— Медленно... Так много архивной работы, так много неразборных, не очищенных критикой материалов, что голова идет кругом, — отвечал задумчиво Карамзин. — Кажется, я так и положу свою усталую голову над этой "Историей", а все-таки не кончу ее.

— Зачем же? Вы еще молоды.

— Да, но силы падают... По возвращении государя я читал Его Величеству одну главу из нового тома... Государь остался доволен, милостиво благодарил, но одно чтение так утомило меня, что я чуть было не лишился чувств.

— Да, государь говорил мне об этом, выражал сожаление...

— А прежде со мной ничего подобного не было, — продолжал Карамзин так же задумчиво, — я чувствую, что "История" будет мне гробом...

— И монументом бессмертия, — горячо добавил Сперанский.

— И бессмертия Василия Миофагова... На монументе надо будет изобразить и Ваську, оберегающего летописи, — прибавил неугомонный Тургенев.

Приступив к написанию бессмертного труда, Карамзин настолько увлекся работой и углубился в предмет своей страсти, что сделался несносным даже для друзей. Николай Михайлович ни о чем другом больше не мог думать. Во сне и наяву он видел события и героев.

Двадцать один год трудился Карамзин над "Историей государства Российского", которую ему так и не удалось закончить. Двенадцатый том обрывался фразой: "Орешек не сдавался...". Какая символическая фраза! Сам историограф, как и Орешек, не сдавался, несмотря на все сложности, на доносы, на грозящую слепоту, на нездоровье, на смерть детей, опалу у государя... — не сдавался и творил. Высшей наградой за это беспримерный подвиг можно считать восклициание Федора Толстого:

— Оказывается, у меня есть Отечество!

"... История государства Российского" есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека", — писал А.С. Пушкин.

Многие россияне после прочтения "Истории государства Российского" могли присоединиться к этим словам поэта. Император Николай I, придя к власти, написал Николаю Михайловичу Карамзину: "Русский

народ достоин знать свою историю. История, вами написанная, достойна Русского народа”.

Николай Михайлович родился 1 декабря 1766 года. Детство его прошло в Карамзинке — главном имении отца в нескольких верстах от Симбирска. Михаил Егорович Карамзин, по словам сына, был “самый добрый человек” “на русскую статью”, один из тех простых русских людей, которых было много в русской провинции. Прослужив честно и усердно Отечеству, он вышел в отставку в чине капитана и поселился навсегда в родовом имении.

Екатерина Петровна Карамзина (урожденная Пазухина) умерла, когда сыну было три года. Николай Михайлович свято хранил детские воспоминания о матери, которая отличалась меланхолическим характером, вызванным таинственной любовью, испытанной ею до замужества. Екатерина Петровна, “с приветливыми и милыми глазами”, то грустившая по целым дням, то вдруг в восторженной речи проявлявшая “ум и разительное красноречие”, представлялась сыну каким-то неземным, эфирным созданием, которое нечаянно залетело на землю и скрылось, дав ему жизнь. Влияние этой молодой романтической женщины было “основанием характера” Карамзина, “тихий нрав” ее остался ему в наследство.

Через год после смерти Екатерины Петровны М.Е.Карамзин женился вторично. Смерть матери, холодность мачехи и равнодушие отца заставили ребенка замкнуться. Безотчетная грусть стала обычным его настроением.

Первым учителем мальчика был сельский дьячок, который не мог хвалиться своим маленьким учеником, усвоившим за три дня все буквы, за неделю — все склады, а через несколько месяцев читавший “все церковные книги как Отче наш”. Басни Эзопа стали первой светской книгой Карамзина — они так ему понравились, что вскоре были выучены наизусть. Чтение сделалось его любимым времяпрепровождением. Мальчик получил ключ от “желтого шкапчика” покойной матери, где хранились ее любимые романы. Мечтательный и сосредоточенный не по летам ребенок с этого момента переносится в фантастический мир романтических героев. “Сие чтение, — писал позже Карамзин, — не только не повредило юной душе, но было еще весьма полезно для образования нравственного чувства: во всех прочтенных романах герои и героини, несмотря на многочисленные искушения рока, остаются добродетельными; все злодеи описываются самыми черными красками; первые, наконец, торжествуют; последние, наконец, как прах исчезают!”

Образование свое Карамзин продолжил у соседки по имени Пушкиной, которая учила его французскому языку, истории и географии. Атмосфера дома Пушкиной сыграла в его развитии большую роль, расширила его кругозор: деревенский мальчик попал в аристократический мир и узнал новую жизнь. В его распоряжении была и библиотека графа. Особое впечатление на него произвела “Римская история” Роллена. “Мне было 8 или 9 лет от роду, когда я в первый раз читал Римскую историю, и, воображая себя маленьким Сципионом, высоко поднимал голову. С того времени люблю его, как своего героя. Аннибала я ненавижу в счастливые времена славы его, но в решительный день, перед стенами Карфагена,

сердце мое едва ли не ему желало победы. Когда все лавры на голове его увяли и засохли, когда он, укрываясь от злобы мстительных римлян, скитался из земли в землю, — тогда я был нежным другом хотя несчастного, но великого Аннибала, и врагом жестоких республиканцев.”

Впечатлительный и восприимчивый Карамзин переживал всю историю вместе с ее героями и полюбил в ней то, что любил и в романах, т.е. “чрезвычайности, примеры геройства и великодушия”.

В детстве с Николаем Михайловичем произошло любопытное приключение, которое сильно укрепило в нем религиозное чувство. Раз во время прогулки с дядькой маленький Коля столкнулся с огромным медведем. Казалось, спасти мальчика ничто не могло. Коленка от страха не мог ни двинуться с места, ни произнести ни звука. Вдруг оглушительно ударил гром и яркий свет ослепил Николая. Когда он очнулся, то в двух шагах от себя увидел лежащего мертвого медведя — его убила молния. Вспоминая этот случай, Карамзин говорил:

— Сей удар был основанием моей религии.

Далее — кратковременная учеба в симбирском пансионе Фовеля, в пансионе одного из самых даровитых профессоров московского университета Шадена и военная служба в Петербурге, где он подружился со знаменитым Дмитриевым, оказавшим огромное на него влияние.

В связи со смертью отца Николай Михайлович в чине поручика выходит в отставку и уезжает на родину. Молодого земляка, любезного и начитанного, симбирское общество приняло с распростертыми объятиями. Карамзин вспоминал позже, что стал большим любителем светских развлечений и страстным картежником. Но “провидение” спасло его, послал ему И.П.Тургенева, благодаря которому Карамзин стал масоном. Новый друг уговорил симбирского льва уехать в Москву, прельстив его блестящей перспективой послужить русскому просвещению. В первопрестольной Карамзин полностью воспринял идеи московского масонства. Сентиментальному юноше с “пламенной любовью к человечеству”, мечтавшему “о всеобщей любви”, легко было поверить в “идеальную республику”. Слова “свобода, равенство и братство” стали его девизом. Молодой человек был замечен известным масоном Николаем Новиковым, который привлек Карамзина к переводу книг, а затем доверил ему редактирование первого русского журнала для детей “Детское чтение”.

Новиковское общество сыграло большую роль не только в политическом и идеологическом развитии Карамзина, но и в научном, и литературном. Путешествие по Европе, встречи и беседы со знаменитыми людьми эпохи довершили формирование личности этого одаренного человека.

Рига — Кенигсберг — Берлин — Дрезден — Веймар — Швейцария — Париж — Лондон — Петербург, — таков маршрут Карамзина по Европе. Молодой путешественник вернулся домой не только с богатой библиотекой, но и с твердым убеждением:

— Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль, провидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, дело делать единственно в России...

“Если нет гражданина — нет человека, — писал Карамзин Тургеневу, — есть только двуножные животные с брюхом”.

По возвращении в Россию Карамзин был с распростертыми объятиями принят в первопрестольной. Современник Д.П.Рунич вспоминал о нем: “Карамзин был красив собою и весьма любезен; по возвращении из чужих краев он напускал на себя немецкий педантизм, много курил, говорил обо всем, любил засиживаться далеко за полночь, беседовать, слушать рассказы, хорошо поест и попить чаю... занимал крошечную комнату во флигеле: там груды книг...”.

Результатом поездки по странам Западной Европы стали “Письма русского путешественника”, которые сразу же поставили его в ряд крупнейших русских писателей.

Карамзин блестяще начинает издательскую деятельность, полностью посвятив себя просветительству и писательскому труду. Его ежемесячный “Московский журнал” стал самым популярным изданием. Карамзин впервые ввел в российскую периодику постоянные отделы литературной и театральной критики, интересные “анекдоты”<sup>1</sup>, т.е. неизвестные до того факты “особливо из жизни славных новых писателей”, любопытную и разнообразную по содержанию “смесь”. Именно в этом журнале была опубликована его знаменитая “Бедная Лиза”. С выходом “Писем русского путешественника” и “Бедной Лизы” начинается слава Карамзина. Все были поражены литературным языком его “Писем”.

— Откуда вы взяли такой чудесный слог? — спросил как-то Карамзина Ф.Н.Глинка.

— Из камина, — ответил писатель.

— Как из камина?

— Вот так: я переводил одно и то же раза по три и по прочтении бросал в камин, пока, наконец, доходил до того, что оставался довольным и пускал в свет.

“Боги ничего не дают даром” — и платить за славу пришлось сразу же. С одной стороны — доносы, с другой — неприятие стиля и творчества. Старшее поколение, привыкшее к строгим правилам классицизма, не приняло новаторство сентиментального, разговорного стиля Карамзина, осуждая молодого писателя:

— Не мог дочитать... Дерзновенный дурак... Одержим горячкою... Быв еще почти ребенок, он дерзнул предложить свои сочинения публике...

— Он называет себя первым русским писателем, он хочет научить нас нашему родному языку, которого мы не слышали...

— Карамзину хочется непременно сделаться писателем, так же как князю Прозоровскому истребить мартинистов; но, думаю, оба равный будут иметь успех...

— Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русский язык груб и неприятен, — отвечал на нападки Карамзин. — Пишты же не имеют такого любезного права судить ложно. Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной

<sup>1</sup> Anecdoton — нежданное (греч.)

поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богаче гармонией, нежели французский..."

Только через несколько десятилетий был достойно оценен вклад Карамзина в историю развития русского языка. П.А.Вяземский запишет: "С "Московского журнала", не во гнев старозаконникам будь сказано, начинается новое летоисчисление в языке нашем... Эпоха преобразования сделана Ломоносовым в русском стихотворстве, эпоха преобразования в русской прозе сделана Карамзиным".

— Карамзин освободил язык от чужого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова, — оценит гениальный А.С.Пушкин его роль в создании современного русского языка.

Мысль о развитии литературы по пути народности сам писатель высказал в последней своей публичной речи в 1818 году на торжественном заседании в связи с принятием его в члены Российской академии.

— Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского: для того ли, что не хотел, или для того, что не мог, ибо и власть самодержцев имеет пределы...

Сходствуя с другими европейскими народами, мы разнствуем с ними в некоторых способностях, обычаях, навыках, так что хотя и не можно иногда отличить россиянина от британца, но всегда отличим россиян от британцев: во множестве открывается народное...

В 1801 году Николай Михайлович женился на Елизавете Протасовой, которую любил уже 13 лет и с которой прожил всего год. Он был очень счастлив, но его тревожило здоровье жены. Через месяц после рождения дочери Софьи (в апреле 1802 года) Карамзина умерла. "Я лишился милого ангела, — писал Николай Михайлович брату, — который составлял все счастье моей жизни. Судите, каково мне, любезнейший брат. Вы не знали ее; не могли знать и моей чрезмерной любви к ней; не могли видеть последних минут ее бесценной жизни, в которые она, забывая свои мучения, думала только о несчастном своем муже... Все для меня исчезло, любезный брат, и в предмете остается одна могила. Стану заниматься трудами, сколько могу: Лизанька того хотела. Простите, милый брат, я уверен в вашем сожалении."

В период болезни жены Карамзин издавал свой знаменитый "Вестник Европы", поэтому вынужден был напряженно работать и все время делил между своим кабинетом и комнатой больной. Карамзин совсем не дышал и однажды, измученный, заснул. Во сне он увидел себя у вырытой могилы, через которую ему подавала руку дочь князя Вяземского Екатерина Андреевна, о которой он никогда не думал. Сон оказался вещим: именно на Екатерине Андреевне Карамзин женился вторично в 1804 году. Он заметил, понял и оценил двадцатитрехлетнюю девушку, которая была на 14 лет младше его. Одобрив этот брак, знаменитый адмирал Н.С.Мордвинов писал: "Умный человек всегда будет хорошим мужем. Я не сомневаюсь, что г-н Карамзин сделает ее счастливою".

Новый союз был скреплен не только большой любовью, но и дружбой. "Жизнь мила, — писал Карамзин, — когда человек счастлив домашними и умеет работать без скуки." Екатерина Андреевна, по воспоминаниям всех современников, была идеальной женой, но из-за спокойной есте-

ственности, сдержанности, нелюбви к пустой светской болтовне образ ее остался загадочным.

В 1803 году тридцатисемилетний писатель и журналист, уже находясь на вершине славы, решает от всего отказаться (от лавров, светской жизни, общения с друзьями и т.д.) и посвятить себя исключительно русской истории.

— Я желал бы бросить все: литературу, журналистику — и заняться исключительно историей нашего Отечества, — сказал Карамзин Дмитриеву.

— Так приступай к делу, медлить нечего, — ответил Иван Иванович.

— Я человек честный, без содействия правительства не достигну желанной цели. Притом лишусь главных доходов моих: шести тысяч рублей, которые принесит "Вестник Европы".

— Ты ничего не потеряешь, трудясь для славы Отечества. Пиши только в Петербург — я уверен в успехе.

— Тебе все представляется в розовом свете, — ответил Николай Михайлович. Он долго еще спорил с другом, но, наконец, уступил его красноречию. — Пожалуй, я напишу, но берегись, если откажут.

Письмо было отправлено воспитателю Александра I М.Н.Муравьеву, товарищу министра народного просвещения и знаменитому покровителю просвещения. 31 октября состоялся высочайший указ: "Как известный писатель, Московского университета почетный член, Николай Карамзин изъявил Нам желание посвятить труды свои сочинению полной истории Отечества Нашего, то Мы, желая ободрить его в столь похвальном предприятии, Всемилостивейше повелеваем производить ему в качестве Историографа по 2000 рублей ежегодного пенсионна из Кабинета Нашего".

"Стану заниматься трудами, сколько могу: Лизанька того хотела..." Труд до изнеможения всегда был присущ этому человеку, что и дало возможность совершить поистине гражданский подвиг. "В труде моем бреду шаг за шагом, и теперь, описав ужасное нашествие татар, перешел в четвертый-на-десять век. Хотелось бы мне до возвращения в Москву добраться до времен Дмитрия, победителя Мамаева. Иду голою степью; но от времени до времени удается мне находить и места живописные. История не роман; ложь всегда может быть красива, а истина в простом своем одеянии нравится только некоторым умам открытым и зрелым. Если Бог даст, то добрые россияне скажут спасибо или мне, или моему праху."

Карамзину был открыт доступ в архивы и книгохранилища. Написание "Истории" действительно требовало титанического труда — одних летописей он использовал около 40.

Николай Михайлович писал Н.Н.Новосильцеву: "... начинаю историю государства Российского, описывая не только войны, но и все гражданские учреждения, законодательство, часто весьма мудрое, наших предков, нравы, обыкновения, кои образуют характер народов на целые века. Главный предмет мой есть строгая историческая истина, основательность, ясность, однако ж стараюсь также писать слогом не слабым.

Смею утвердительно сказать, что я мог объяснить, не прибегая к догадкам и вымыслам, многое темное и притом достойное любопытства в нашей истории".

Героем этого бессмертного труда Карамзина стало наше Отечество, нация, ее судьба, исполненная славы и великих испытаний. Воодушевленно прославляя русское, Карамзин "приучал россиян к уважению собственного". "Согласимся, — писал историограф, — что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливей; но почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостью."

В 1809 году на балу в Москве Карамзин познакомился с императором и его любимой сестрой — Великой Княгиней Екатериной Павловной. Между последней и историографом завязалась настоящая дружба. Екатерина Павловна своим влиянием на венценосного брата не раз оказывала услугу Карамзину. Во время их первой встречи сестра императора пригласила Николая Михайловича к себе в Тверь, где генерал-губернатором был ее супруг — принц Ольденбургский. Карамзин принял предложение и стал часто приезжать туда, всегда с женой. "Мы дали друг другу слово не расставаться, пока живы", — объяснил Николай Михайлович Екатерине Павловне.

Каждый приезд сопровождался чтением глав "Истории...". Бывали в Твери и Александр I с Великим Князем Константином. Историограф открывал тома о татарском нашествии и Дмитрии Донском, читал час, другой... — венценосные увлеченно слушали, просили еще... Одно из чтений затянулось далеко за полночь: императорская фамилия унеслась в седое средневековье...

— Из всей российской истории я теперь только и знаю услышанное от Карамзина, — признался Великий Князь Константин.

Александр был доволен трудом историка, почувствовав его стиль и тон, и 1 июля 1810 года награждает его за труды орденом Владимира 3-й степени. В связи с этим попечитель Московского учебного округа П.И.Голенищев-Кутузов написал новому министру народного просвещения А.К. Разумовскому: "... Государь не знает, какой губительный яд в сочинениях Карамзина кроется. Оные сделались классическими. Как могу то воспретить, когда оные рескриптом торжественно одобрены. Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие. Не орден ему надобно бы дать, а давно бы пора его запереть; не хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь..."

Попечитель пишет не раз, не два, не три... Диву даешься его неутомимости писать доносы. Николая Михайловича он называет не иначе как якобинцем, преступником и т.д. "Нужно, необходимо замаскировать (Карамзина — Л.Р.) как человека вредного обществу и коего писания тем опаснее, что под видом приятности преисполнены безбожия, материализма и самых пагубных и возмутительных правил; да беспрестанные его публичные толки везде обнаруживают его яко якобинца."

Он же доносит о том, что один дворянин забрал детей из Института, сказав:

— Там моровая язва... Там сочинения Карамзина более уважают, нежели Библию, и по оным учат детей грамоте.

Глубоко уважающий себя Карамзин не обращал внимания на доносы:



— Мщения не люблю, довольствуюсь презрением, и то невольным.

Сближение с царской фамилией дало возможность Карамзину оказать прямое воздействие на Александра. Неукоснительно следуя 138-му псалму: “Несть лъсти в языке моем”, он говорил императору то, что думал о его правлении, чаще всего критикуя политику. Россия обширная страна, “мира половина”, поэтому должна управляться монархом, который спасет народ от безначалия и анархии, обеспечит необходимые блага народу и нации и прежде всего “надежное пользование своею вольностию” каждым подданным. XIX век с точки зрения Карамзина “должен быть счастливее, уверив народы в необходимости законного повиновения, а государей в необходимости благодетельного, твердого, но отеческого правления”.

Историограф верил в то, что голос честного человека, говорящего императору истину, нужен России.

— Чего хочу? С добрым намерением испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет История.

Карамзин считал, что большие по территории государства должны быть монархическими: Франция, например, а Россия — и подавно, но это не означало, что они лишены свободы. “Свобода, — писал он, — состоит не в одной демократии; она согласна со всяким родом правления, имеет разные степени и хочет единственно защиты от злоупотреблений власти”. Естественной формой власти в России он считал просвещенное самодержавие. Отстаивая монархический строй для Франции и России, историограф с жаром отстаивал республиканский строй и республиканскую свободу для малых стран и народов.

Карамзин был за открытие школ, но не за освобождение крепостных: сначала просвещение, потом свобода.

— Государь, — говорил он, — Бонапарт у ворот, и нельзя при этих обстоятельствах менять систему. Не ослабляйте свою власть, не торопитесь с конституцией, широко развивайте просвещение, но в рамках господствующей естественной системы.

Это был основной довод против коренных реформ Сперанского. Существенные разногласия с реформатором в сущности были в сроках.

— Уже пора! — считал Сперанский.

— Еще рано, сначала просветимся! — возражал Карамзин и предостерегал императора.

По желанию Екатерины Павловны Карамзин написал “Записку о новой и древней России”. Этот политический документ — настоящий гражданский подвиг писателя, который, следя за внешней и внутренней политикой Александра I, все больше тревожился за судьбу России. Карамзин упрекал правительство в пренебрежении к интересам Отечества. Опираясь на факты, он показал, что благодаря бездарной дипломатии Россия находится в униженном положении. В своей “Записке” Карамзин резко выступил против тех преобразований Сперанского, “коих благотворность остается доселе сомнительною”. В деле школьного образования правительство ориентируется только на дворянство и не способствует образованию всех сословий.

Резко выступает Николай Михайлович и против реформы министерств, которые преобразовались по западному образцу и стали официальными покровителями взяточников, грабителей, воров и просто дураков, каковыми являлись российские чиновники, от капитан-исправников до губернаторов.

“Записка” была предназначена для одного читателя — императора Александра I и, попав к нему, вызвала гнев, опалу автора. Александр был крайне недоволен образом мыслей Карамзина.

Только после выхода в свет первых томов “Истории государства Российского” Александр I смиростивился и вернул писателю свое расположение. Карамзин воспользовался этим для того, чтобы вновь учить царствовать императора. В 1819 году он пишет статью “Мнение русского гражданина” и читает ее государю. В ней историограф обвиняет императора в самовластном произволе, в нарушении долга перед Отечеством и народом, осуждает вмешательство в польские дела.

Состоялся тяжелый разговор.

— Государь! — не сдерживая себя, гордо воскликнул Карамзин на одно из замечаний императора. — У вас много самолюбия. Я не боюсь ничего. Мы все равны перед Богом. Что говорю я вам, то сказал бы и вашему отцу, государь! Я презираю либералов нынешних, я люблю только ту свободу, которой никакой тиран не может у меня отнять... Я не прошу более вашего благоволения, я говорю с вами, может быть, в последний раз.

Вернувшись из дворца домой, историограф написал приписку к последнему политическому документу — “Для потомства”, в которой поведал об этом свидании с императором, а в дневнике записал: “Мы душою расстались, кажется, навеки”. Но он ошибся: уже после смерти Александра I появится другая запись в дневнике: “Я ошибся: благоволение Александра ко мне не изменилось, и в течение шести лет (от 1819 до 1825 года) мы имели с ним несколько подобных бесед о разных важных предметах. Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большей частью и не следовал, так что ныне, вместе с Россиею оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца: ибо эта милость и доверенность бесплодны для любезного Отечества”.

До конца жизни Карамзин давал советы и поучал императоров. После смерти Александра I он переключился на Николая I. В своих разговорах с молодым государем и его матерью Николай Михайлович вновь осудил некоторые действия только что усопшего императора.

— Пощадите сердце матери, Николай Михайлович! — воскликнула императрица Мария Федоровна.

— Ваше Величество, — ответил Карамзин, — я говорю не только матери Государя, который скончался, но и матери Государя, который готовится царствовать.

Он продолжает писать “Историю государства Российского”, работает до изнеможения, что вызывает иногда полное бессилие. Ему грозит слепота. Историк жил то в Москве, то в подмосковном имении. Периодиче-

ски читал друзьям главы из своего труда. В конце 1811 года — новый приступ болезни и усталости, растут долги, так как расходы превышают доходы. Можно было бы попросить у царя, но он был бы не Карамзиным, если бы попросил.

— Не хочу ни чинов, ни денег от государства. Молодость моя прошла, а с нею и любовь к мирской суетности.

Война 1812 года прерывает его работу. Наполеон подходил уже к Москве, но Николай Михайлович не желал покидать первопрестольную, намереваясь погибнуть вместе с ней. Он отправил семью и переселился в дом генерал-губернатора Ростовчина, куда поступали достоверные вести из армии. А.Я.Булгаков вспоминал о важном разговоре, который произошел в доме Ростовчина в Сокольниках после известия о печальном исходе Бородинского сражения. "Карамзин скорбел о Багратионе, Тучковых, Кутайсове, об ужасных наших потерях в Бородине и наконец прибавил:

— Ну, мы испили до дна горькую чашу... Но зато наступает начало его и конец наших бедствий. Поверьте, граф, обаян будучи всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет!"

Первопрестольную Николай Михайлович покинул за несколько часов до вступления в нее французов. Угнетенный бедствием России, историограф долго не мог продолжать работу. К "Истории государства Российского" он возвращается уже после изгнания Наполеона.

В декабре 1815 года Карамзин закончил первые восемь томов "Истории государства Российского", но официальное положение историографа обязывало представить труд императору, и он отправляется в Петербург, чтобы больше не вернуться в любимую им Москву. 2 февраля Карамзин прибыл в Петербург, но Александр I не принял его.

В северной столице Карамзина всюду приглашают, с ним носятся. Обеды, балы, чтение глав, в том числе у императрицы-матери Марии Федоровны.

— За что уж его так ласкают, этого человека? — спросила о Карамзине у Марии Федоровны одна из ее дочерей.

— Потому что он привратник бессмертия, — ответил Ростовчин.

Николай Михайлович ждет приглашения от императора, к которому не пускают из-за придворных церемоний в связи с бракосочетанием его младшей сестры. Кроме того, Александр I не забыл "Записки...". Чувство собственного достоинства не позволяет Карамзину самому напроситься на прием.

— Знаю, что могу съездить и возвратиться ни с чем, — говорил друзьям историограф. — Хочу единственно должного и справедливого, а не милостей и подарков... Сколько дней для меня потеряно...

Полтора месяца прожил в Петербурге Карамзин. От того, как примут во дворце первые восемь томов, зависело все: жизнь, благосостояние. Но гордый, ценящий превыше всего личную независимость, Карамзин и не думает просить. Если царь не одобрит тринадцатилетний труд, он намеревался продать часть имения и жить по-мещански.

Наконец, в середине марта историограф решает, что есть предел унижению, и собирается восвояси.

— В Петербурге одного человека называют вельможей: графа Аракчеева, — намекают ему умные люди.

Николай Михайлович вынужден был отправиться на аудиенцию к всеильному вельможе.

— Аракчеев улыбается не более двух раз в год, — говорили петербуржцы.

Одна из этих улыбок досталась Карамзину. Временщик милостиво беседует с историографом, присматривается к нему. Возможно, сыграли свою роль благоприятные отзывы императрицы-матери и министров. Аракчеев остался доволен, и на следующий день Карамзин получает аудиенцию у императора и позволение на печатание. Александр I дает на издание 60.000 рублей и разрешает без специальной цензуры печатать "Историю" в имперской военной типографии. Кроме того, историограф получил неслыханные царские милости: чин статского советника и орден Анны I степени. Равнодушный к внешним отличиям, Карамзин не сумел скрыть своего недоумения. Заметив это, Александр I сказал:

— Николай Михайлович, награда жалуетса вам не за "Историю...", а за старую записку "О древней и новой России".

— Не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив, — сказал друзьям Карамзин после аудиенции. — Не мое дело умножать число аннинских кавалеров при дворе и слушать фразы; надобно работать...

Карамзина ласкали при дворе. Императрицы — Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна — постоянно приглашали его к обеду. Все придворные замирали, видя, как, игнорируя придворный этикет, Николай Михайлович запросто и даже вольно беседует за столом с императрицей-матерью о нравственной философии, например. Жена Александра I сама читала ему свои дневники и только, когда доходила до мест "слишком интимного свойства", протягивала историку тетрадь, и он дочитывал молча. Отношения накоротке между Карамзиным и коронованными особами шокировали не только придворных, но и иноземных дипломатов.

— Почему же допускается столь вольный разговор, какой ведет при царицах Карамзин? — спросил изумленный западный дипломат.

— Карамзину можно! — услышал он в ответ.

Но наибольшую зависть у придворных вызывало отношение самого императора к историографу. Александр I был очень любезен с ним, на балах постоянно танцевал с Екатериной Андреевной Карамзиной. Царь убеждается вновь и вновь в искренности человека, которому он предлагал дружбу, и видит, что Карамзин ему нужен гораздо больше, чем он ему. В летнее время монарх и историограф по нескольку часов каждое утро гуляют вместе по парку Царского Села. Многие придворные чего только ни отдали бы, чтобы хоть на пять минут составить компанию императору во время прогулки.

— Николай Михайлович, отчего вы решительно ничего не просите?.. — спросил как-то Александр Карамзина. — "Друг человечества" теряет, таким образом, возможность помочь другим.

И Карамзин начинает просить за других, и просит чисто по-карамзински.

— Ваше Величество, на днях был отставлен из-за каких-то денежных дел действительный статский советник Рябинин. Сути дела я не представляю, с Рябининым не знаком, но Катерина Андреевна знает этого человека очень давно и утверждает, что он благороден.

Александр I простил Рябинина. Вскоре от ходатаев не стало отбоя, и Карамзин почувствовал себя нужным. Он устроил Жуковского педагогом при царской семье, помог получить место и выхлопотать средства нуждавшимся Вяземскому, Никите Муравьеву, Александру Тургеневу, молодому историку Погодину. Не раз приходилось ему хлопотать о Пушкине.

28 августа 1825 года, накануне отъезда государя в Таганрог, где он и скончался, состоялась одна из последних бесед историографа и Александра I, которая длилась три с половиной часа. Карамзин в очередной раз выступил пророком:

— Государь, Ваши дни сочтены, Вы не можете более ничего откладывать и должны еще столько сделать, чтобы конец Вашего царствования был достоин его прекрасного начала...

Александр обещает... 1 сентября они простились. С 1816 по 1825 годы Николай Михайлович был постоянным собеседником царя во время утренних прогулок, т.е. в его "зеленом кабинете".

8 томов "Истории государства Российского" увидели свет в 1818 году. Успех превзошел все ожидания, и в конце этого же года началось переиздание всех томов.

"... Появление сей книги, — писал Пушкин, — наделало много шума и произвело сильное впечатление, 3.000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего Отечества, дотле им не известную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили."

"... Карамзин не одного Пушкина — несколько поколений увлек окончательно своею "Историю государства Российского", которая имела на них сильное влияние не одним своим слогом, как думают, но гораздо больше своим духом, направлением, принципами. Пушкин до того вошел в ее дух, до того проникнулся им, что сделался решительным рыцарем "Истории" Карамзина..." — писал Белинский.

Николай Михайлович продолжал самозабвенно работать над 9 и 10 томами, посвященными царствованию Грозного и Годунова — в центре внимания стали самодержцы. Если в первых томах Карамзин старался следовать летописцам и не судить, а только описывать события, то в этих томах он пошел вслед за римским историком Тацитом и беспощадно осудил тиранов.

На заседании Академии Наук он читает главы из 9 тома. Через день после чтения император встретил на Фонтанке Екатерину Андреевну и поздравил ее с успехом мужа. А по Петербургу ходили упорные слухи, что 9 том запрещен.

— Здесь многие находят, что рано печатать историю ужасов Ивана-царя, — иронически заметил Николай Тургенев.

Царь как личный цензор действительно сделал несколько замечаний на полях.

— Следует ли здесь видеть приказ, Ваше Величество? — спросил Карамзин, увидев пометки царя.

— Нет, Николай Михайлович, я предпочитаю печатать, как есть в рукописи, — ответил Александр I, боясь задеть своего историографа.

Вышедший в 1821 году девятый том произвел еще большее впечатление, чем первые восемь. Никогда русская книга не читалась с таким энтузиазмом. "В Петербурге оттого такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного", — писал декабрист Н. Лорер.

Особенно пришли в восторг от этого тома "Истории государства Российского" декабристы, так как в нем красноречиво были показаны все ужасы неограниченного самодержавия.

— Ну, Грозный, ну, Карамзин! — восклицал Рылеев. — Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна, или дарованию нашего Тацита.

Авторитет Николая Михайловича Карамзина был настолько высок, что молодой император Николай I не раз предлагал ему государственные должности, от чего историограф отказывался, ссылаясь на нездоровье и работу над очередным томом. Зато сановники, которые заняли свои должности благодаря рекомендации Карамзина, постоянно напоминали об этом, что вызывало к ним особое доверие царя.

Николай Михайлович простудился и тяжело заболел. Воспаление легких, кашель с кровью, врачи не надеются на выздоровление, и единственный зыбкий шанс — Италия, но у него нет денег, есть только долги. Если Карамзин у Александра I ничего для себя не просил, то у нового императора — и подавно не попросит. Но друзья и родные настаивают, и 22 марта 1826 года он обращается к царю в ответ на вопрос Николая I о нуждах:

— Государь, имея понятие о политических отношениях России к державам европейским, прошу Вашей милости назначить меня на должность русского резидента во Флоренции: Италия нужна для здоровья, должность — для обеспечения заграничного житья...

— Место во Флоренции еще не вакантно, — ответил монарх, — но российскому историографу не нужно подобного предложения, дабы иметь способ там жить свободно и заниматься своим делом, которое, без лести, кажется, стоит дипломатической корреспонденции, особливо флорентийской.

— Благодарю Вас, Ваше Величество, надеюсь в чужой земле беспрепятственно заниматься Россией.

Николай I обещает дать специальный фрегат для Карамзина. Тем временем состояние Николая Михайловича ухудшается. Его посещают друзья, императорская фамилия и политические противники.

— Вся Россия принимает участие в болезни Карамзина, — сказал Сперанский, посетив своего оппонента.

13 мая Николай I издает указ министру финансов об особой пенсии, которая будет выплачиваться историографу, жене и детям — причем сумма не зависела от того, сколько Карамзиных останется на свете: до

выхода всех дочерей замуж, до получения всеми сыновьями офицерского чина. Сумма же была огромной — 50.000 рублей.

Николай Михайлович вежливо поблагодарил императора за "благодарение сверх меры", но видевший его в тот день А.Тургенев был поражен гневом историографа, вызванным незаслуженно завышенной, с его точки зрения, пенсией.

22 мая 1826 года Карамзина не стало. Узнав о его смерти, Жуковский написал его вдове из Дрездена: "Тот, кто был на свете Карамзиным, о том воспоминание не может иметь ничего обыкновенного. Все уроки земной мудрости, все, что на земле есть прекрасного, соединяется в горестно-возвышенном чувстве: он был. Видишь пред собою прекрасную чистую жизнь и утешаешься, возвышаешь себя мыслью, что такая жизнь на земле возможна. Вспомнить об ней — значит поверить сердцем всему тому, что так слабо сберегает в будущем рассудок... Не иметь его свидетелем жизни своей, одобрителем своих дел есть великая потеря; но тем дороже должно быть воспоминание об нем; с этим воспоминанием не уснет в душе ничего его достойное... Моя истинно деятельная жизнь, можно сказать, теперь только начинается; тут-то и нужен бы был такой Судья, которого присутствие давало бы силу одобрения, награду..."

"Первым русским историком и последним летописцем" назвал Николая Михайловича Карамзина А.С.Пушкин. Позже историк В.О.Ключевский заключит свой очерк "Н.М.Карамзин" словами: "Он не объяснил и не обобщил, а живописал, морализировал и любовался, хотел сделать из истории России не похвальное слово русскому народу, как Ломоносов, а героическую эпопею русской доблести и славы. Конечно, он много помог русским людям лучше понимать свое прошлое; но еще больше он заставил их любить его. В этом главная заслуга его труда перед русским обществом..." ■



## Барри ФАНТОНИ

1

С ночного неба лился бесконечный ледяной дождь. Вода хлестала по стенам домов, по мостовой, по кустам и деревьям и с противным хлопанием стекала в канализационные люки. Я сидел в своем кабинете с потушенным светом до тех пор, пока не закончилось виски и не пришлось бросить пустую бутылку в корзину для бумаг. Молния разорвала небо пополам,

Барри Фантони — современный английский писатель. У себя на родине популярен и как художник, музыкант, сценарист, автор телепрограмм об искусстве. В литературе дебютировал в 80-х годах с повестями, стилизованными под американские детективы.





**ЭТОТ ЧЕРТОВ**

**МАЙК  
ДАЙМ**

пророкотал глухой гром. Пора отправляться в какой-нибудь бар за новой порцией выпивки, вряд ли гроза могла быть мне помехой.

Я уже надел плащ и шляпу, когда случилось неожиданное: зазвонил телефон. Сняв трубку и услышав запинаящийся женский голос: “Этo Майкл Дайм, частный детектив?”, я ответил утвердительно, ища глазами сигареты — такие клиентки случались и раньше, разговор обещал быть долгим и нудным. “У меня срочное дело, — продолжала лепетать она. — Боже, мне так нужна помощь!” Голос был низкий и неуверенный,

она с трудом строила фразу, точно маленький ребенок, собирающий домик из кубиков.

— Слушаю, — сказал я решительно. — Мое рабочее время уже закончилось. Когда случаются достаточно большие неприятности, чтобы обратиться к частному детективу, то обычно начинают с рассказа о том, что случилось. Как вас зовут?

— Можете звать меня Нормой. Что-то случилось с Френком. Френк Саммерс — мой муж. Он сделал ужасное. Мне так страшно! — Она всхлинула и икнула.

Да, такими темпами мы не скоро доберемся до сути дела. Я решил быть более грубым:

— Слушайте, леди! Я частный детектив с лицензией, не очень дорогой, но и не из самых дешевых. Если вы чего-то боитесь, позвоните в полицию. Они к вам приедут бесплатно, симпатичные добродушные парни выслушают вас и помогут. Со мной — другое дело. Манеры у меня не такие хорошие, и вообще я крутой парень, кроме того, мои услуги стоят денег. Однако, если у Френка такие серьезные проблемы, что он не хочет обсуждать их с полицией, я могу ему помочь, разумеется, в рамках закона. Вот и все, остальное обсудим при встрече.

Мой маневр увенчался успехом — дамочка успокоилась настолько, что в бурном потоке невразумительных благодарностей я смог вытянуть из нее адрес. Заверив ее, что скоро прибуду, я с облегчением повесил трубку.

## 2

Дом был новехонький, и апартаменты в нем — шикарные. Я припарковал свой паккард у дома на противоположной стороне улицы и вошел в вестибюль, уставленный какими-то гигантскими растениями, испускавшими странный, экзотический аромат. Если тут и был какой-нибудь привратник, то мне не удалось рассмотреть его за всеми этими листьями, поэтому я направился прямо к лифту и нажал на кнопку вызова.

Через несколько мгновений я стоял у дверей квартиры 1067. Капли дождя стекали мне за шиворот плаща, и вокруг моих ног быстро образовалась лужица. Я звонил и звонил в дверь из красного дерева, но никто не торопился открывать мне. Наконец послышался слабый голос — тот же самый, что по телефону:

— Кто там? Муж велел никому не открывать.

— Вы меня не узнаете? Я могу просунуть под дверь свою визитную карточку.

Она изучала мою визитку так долго, что я почти потерял терпение, но потом послышался ляг тяжелой дверной цепочки, и мне открыли.

Жене Френка Саммерса было за сорок, и выглядела она немного болезненно. Легкое домашнее одеяние густого зеленого цвета шло к ее рыжим волосам, которые когда-то, наверное, составляли предмет ее особой женской гордости, но сейчас поблекли и тускло мерцали сединой. Белое, смертельно бледное лицо хранило следы былой красоты, глаза окружали такие черные тени, что я не мог рассмотреть их цвет. Если бы она провела пару минут перед зеркалом, ей удалось бы скрыть разрушительные следы воз-

действия времени — и тонкие морщинки возле узких губ, и бледность скул, но только не страх, который она источала буквально каждой порой.

— Проходите, — произнесла она глухим голосом. — Устраивайтесь поудобнее. Снимайте плащ, я сейчас дам вам что-нибудь согреться.

Гостиная Нормы, казалось, сошла со страниц модного журнала “Красивый дом”, точно предназначалась для проведения великосветских коктейлей, и выглядела так, будто гости покинули ее за пять минут до моего прихода — повсюду пепельницы, наполненные окурками, пустые бутылки, грязные стаканы и жирные пятна. В центре стоял огромный диван с обивкой из серого бархата, покрытый пятнами пролитого джина. Я снял с его спинки чей-то забытый чулок и сел. Миссис Саммерс пересекла комнату не очень уверенной походкой и остановилась у бара.

— Надо же, — слышалось ее горестное бормотание. — Только что тут стоял бокал с виски. Я специально оставила его для вас. Куда же он подевался?

Я ничего не ответил, только достал сигареты и закурил. Она пригладила рукой свои растрепанные волосы и заговорила.

— Нам было хорошо вдвоем, мне и Френку. Мы чудесно ладили. Сначала был такой успех, что голова шла кругом, — мои фотографии печатал “Вог” и другие модные журналы. С утра у моих дверей толпились фотографы, занимали очередь, чтобы снять меня хотя бы случайно... — Ее голос звучал глухо, но в нем не слышалось горечи или обиды. — Сегодня — помада для “Ревлона”, завтра — туфельки модного дизайнера, послезавтра — еще что-нибудь. Я старалась, и у меня хорошо получалось. Мне было все равно, что моей красотой пользуются ради наживы. — Казалось, эту историю она рассказывала уже не раз за все годы медленного упадка ее славы. Возможно, чаще всего рассказывала ее себе самой, сидя, как сегодня, с зажженной сигаретой в одной руке и полупустым стаканом в другой, устремив пустой взгляд в пространство. — Потом все пошло не так, — монотонно продолжала миссис Саммерс. — Алкоголь, свобода... Я не понимала, кто виноват... Одним словом, вдруг мы с Френки оказались за бортом. Прекрасные времена закончились. А деньги... все стоит денег, вы об этом знаете? Но Френк оказался молодцом. Когда мое время закончилось, он взялся за дело сам. Нашел работу, потом дополнительную работу, чего только не делал, чтобы обеспечить мне тот уровень, к которому я привыкла... Бедняга! Ему приходилось много ездить... По пятницам он брал выходные, проводил его с друзьями в баре. Домой приходил навеселе, но я не сердилась, ведь он так уставал, да и что он видел, целыми днями носясь по городу в поисках приработка... Он ходил в “Три Сайкс” — эlegantный бар, где отдыхает публика с деньгами. Домой возвращался в одно и то же время, если что-то его задерживало, обычно звонил. Вообще, ему не нравилось оставлять меня одну на всю ночь. — Она замолкла, потом вдруг выпалила: — Но эта сумка была не его!

И тут ее словно прорвало: слова мешались со стенами и всхлипываниями, невозможно было ничего понять. Похоже, она оплакивала и себя, и Френка, а я сидел и спрашивал себя, какого черта тут делаю. Конечно, сумка казалась многообещающей, если Норме Саммерс удастся рассказать мне всю историю более-менее связно. Наконец рыдания утихли, она высморкалась в платок и продолжила:

— В тот вечер Френк позвонил мне около восьми. Велел ни с кем не разговаривать по телефону и не подходить к двери. Потом я должна была записать адрес, взять такси и немедленно приехать к нему. Еще он сказал, что все наши беды позади, но мне стало страшно. Я взяла телефон и позвонила первому же частному детективу, которого нашла в справочнике.

— А что было в сумке? — спросил я.

— Доллары. Банкноты. Сто тысяч. Я прошу, мистер Как-вас-там, поезжайте в эту гостиницу и найдите Френка. Он не должен был красть эти деньги. Даже для меня, не должен был!

Проговорив это, миссис Саммерс сползла с дивана на ковер. Я встал, чтобы помочь ей, однако она уже храпела.

Я отправился осматривать квартиру и возле одного из телефонных аппаратов в спальне нашел клочок бумаги с адресом гостиницы. Стены комнаты украшали фотографии Нормы в качестве модели: она действительно рекламировала все — от норковых шуб до нижнего белья. Была и одна фотография с мистером Саммерсом — Френк обнимал Норму за плечи и улыбался широкой улыбкой честного человека. Значит, ради этой самой Нормы Френк где-то позаимствовал сумку со ста тысячами долларов. Чьи это были деньги? Я полагал, что об этом мне скажет сам Френк, и от души надеялся, что он еще не потерял способности улыбаться.

### 3

Записанный Нормой адрес принадлежал гостинице “Маагз”. Что ж, у меня опять появилась работа, и это прибавило мне оптимизма.

Я проезжал по мосту Бенджамина Франклина, когда часы на Индепенденс Холл пробили два раза. На улицах еще мелькали прохожие, не так много, как в Нью-Йорке или Лас-Вегасе, но достаточно для такого старого консервативного города, как наша Филадельфия. Гостиницу я нашел неподалеку от пристани Кемден. Над входом красовалась надпись, извещавшая, что комнаты сдаются на ночь за доллар с оплатой вперед. Я проехал еще немного и припарковался у какого-то неопрятного дома, потом, зевая, вылез из машины и тщательно запер дверцы. Огромный одноглазый кот на мгновение оторвался от исследования помойки и поглядел на меня с такой ненавистью, что я испугался, как бы он не загрыз меня, и поторопился к “Маагз”.

Пройдя мимо колоссальных размеров негра в тельняшке, который в дверях гостиницы обнимался с молодой толстушкой в рыжем парике, я устремился по грязному узкому коридору к стойке портье. За ней никого не было, и мне пришлось довольно долго звонить, пока откуда-то сбоку не послышался медленный хриплый старческий голос: “Напрасно вы так стараетесь. Звонок не работает и никогда не работал”. Я оглянулся и в старом продавленном кресле без спинки увидел ворох старых тряпок, из которых сверкали два живых хитрых серых глаза, достал фотографию Френка и протянул старику:

— Ищу этого парня. Уверен, что он здесь останавливался. Скажите мне две вещи: в какой он комнате и один ли там.

Старик молчал, глаза его по-прежнему не отрывались от моего лица. Что ж, за информацию надо платить!

— Слушай, папаша! — продолжил я, доставая мелкую банкноту. — Можешь мне не верить, но когда я сержусь, то делаюсь хуже мангусты. Если ничего не скажешь, деньги тебе не дам.

Худая желтая рука с проворством высунулась из тряпья и уцепилась за бумажку.

— Комната 205. Второй этаж, налево по коридору. Он там один, насколько мне известно.

Я заторопился на второй этаж и осторожно приблизился к комнате номер 205. В коридоре было тихо и темно, мое появление вроде осталось никем не замеченным. На всякий случай я засунул руку в карман и нащупал рукоятку пистолета, потом большим пальцем снял его с предохранителя. Теперь можно стучаться к Френку.

— Френк, дружище, — произнес я тихо, но внушительно. — Не надо бояться. Я частный детектив, Майк Дайм, и меня прислала ваша жена.

Никто не отозвался, и я попробовал легонько постучать по двери пальцем. В этом не было никакой необходимости — дверь заскрипела на прожавленных петлях и лениво растворилась, впуская узкий конус тусклого света из коридора в дешевый неопрятный номер ценой доллар за ночь. В номере горела настенная лампа с разбитым плафоном и пахло плесенью; на столбике спинки деревянной кровати висела мужская шляпа, а на гвозде, вбитом в стену, — модный двубортный коричневый пиджак. Короче, ничего интересного, исключая самого Френка Саммерса, который совершенно неподвижно стоял на полу, прислонившись к стене. Я достал из кармана фотографию. Никаких сомнений — лысая голова, торчащие уши, длинный нос, усы. Обычное лицо. Такие сотнями встречаешь каждый день, увидишь и забудешь. Только теперь вряд ли будет легко забыть лицо Френка Саммерса: кто-то использовал его в качестве пепельницы — повсюду виднелись мелкие черные кружочки ожогов. И, конечно, Френк больше не улыбался. Рот разинут и обезображен криком боли. Из угла губ стекала почерневшая струйка крови. На шее, прямо над узлом галстука, торчал нож — какой-то мясник пригвоздил его к стене и сделал это очень умело и аккуратно. Нож не повредил ни одной крупной артерии или вены, прошел точно сквозь позвонок, так что Френк умер в одну секунду. Я потрогал его руку — она оказалась ледяной.

Прежде чем уйти, я проверил содержимое карманов Френка. Казалось, все на месте — бумажник, кредитные карточки, деньги. На пальце по-прежнему оставалось обручальное кольцо, на запястье — золотые часы, продолжавшие тикать после смерти владельца. Убийц Саммерса мелочи, как видно, не интересовали, и мне не стоило терять время на поиски сумки.

Внизу я спросил у портье, не видел ли он, чтобы кто-то выходил из 205 номера.

— Только вы, — ответил он, хитро сощурившись.

Да, дурацкий вопрос я задал.

#### 4

Утреннее солнышко вставало на влажном небе. Дорожное движение было более интенсивным, чем обычно, владельцы магазинов открывали железные жалюзи витрин. Я ехал и раздумывал об этом деле. Френк Саммерс

прихватил сумку с чужими деньгами. Ничего странного — каждый вечер масса народу теряет сумки, как и прочие вещи: ручки, зажигалки, своих жен и даже свои сбережения. Найденная же Френком сумка оказалась для него суцим ящиком Пандоры — владельцы нашли его и пригвоздили ножом к стене. Это означало, что содержимое сумки приобреталось не законным путем, и о деньгах Френку знать не следовало. Это также значило, что миссис Саммерс в опасности, и что я ввязался в довольно неприятную историю. Вероятно, Френк не рассказал жене всей правды, возможно, и она не сказала всего, что знала. Как бы то ни было, мне следовало сматываться побыстрее — предупредить Норму Саммерс о грозящей ей опасности и исчезнуть, пока делом не заинтересовалась полиция.

## 5

Раскаленный от жары вестибюль дома Нормы Саммерс не изменился с тех пор, как я посетил его последний раз, однако теперь тут обнаружился толстенный привратник с веселыми лазурно-голубыми глазами. Я протянул ему свою визитную карточку, которую он принялся рассматривать на свет, как банкноту.

— Послушайте, дружище, можете мне помочь немного?

— Ну, я не знаю, — нерешительно ответил он неожиданно высоким и тонким, как у женщины, голосом. — С вами, детективами, потом хлопот не оберешься. Не успеешь заметить, как навредишь кому-нибудь, и вот ты уже по уши в проблемах.

— Да нет, — успокоил я его. — Я только хочу знать, не видели ли вы тут посторонних. Любопытных. Станных типов и так далее.

Он наморщился от усилий и наконец ответил:

— Никого такого не было. Правда, я только час как пришел. Спросите лучше у ночного привратника Такера.

Через несколько секунд я был возле двери Нормы Саммерс. В коридоре царил тяжелая тишина, как видно, все местные толстосумы еще спали. Когда я позвонил, послышался вялый голос Нормы: "Входите, открыто". Я вошел и остановился в изумлении. Гостиная Нормы выглядела, как после стихийного бедствия, — мебель перевернута, все ящики выпотрошены и их содержимое вывалено на пол, ковер порезан, стекла в элегантном серванте разбиты.

Худой молодой коротышка в дорогом голубом костюме приглашающе позвал:

— Заходите, мон ами. Мы вас как раз дождаемся.

Тут я совершил ошибку, потянувшись за пистолетом, лежавшим в наплечной кобуре, и сразу же получил сзади чем-то тяжелым по затылку. Я уткнулся носом в ковер и почувствовал, как чьи-то грубые ручки ощупывают меня и вытаскивают пистолет.

— Только пистолет, Француз, — проревел голос, напоминавший корабельную сирену.

— Хорошо, подними его, — ответил молодой франт.

Меня подняли и, точно тряпичную куклу, швырнули в разбитое кресло, как раз в то самое, где я сидел накануне вечером.

— Перед тобой стоит Хог, — послышался участливый голос Француза. — Этот тип — псих, каких мало. Настоящий ублюдок. Если б я ему разрешил, он оторвал бы тебе руки и ноги. Компрене?

Да, я понял. Машина для убийств под названием Хог более или менее приспосовывалась перед моим взором. Он был без пиджака — таких размеров просто не бывает в природе, к тому же шерсть, которая покрывала его тело, вполне могла согреть и без пальто. Длинные руки свисали вдоль коротких ног, низкий лоб порос рыжеватым пухом, под низкими надбровьями, там, где у homo sapiensa обычно располагаются глаза, сверкали две темные дырки, плоский нос терялся среди высоких скул, изборожденных шрамами. В мощной ладони лежал пистолет 45 калибра, но для такого типа он смотрелся как ненужная игрушка, — казалось, стоит Хогу чихнуть, и тебя разнесет вдребезги. Потом я заметил миссис Саммерс. Она лежала на диване и была по-прежнему в пеньюаре, но выглядела постаревшей лет на сто. Наверное, уже знает про Френка, подумал я.

— Тре бон, — продолжал Француз, усевшись в кресло напротив меня, и аккуратно развернул пластинку жвачки. — Теперь, когда мы поняли друг друга, давай поболтаем.

Моя голова все еще болела после удара, но я решил быть благоразумным и не нервировать Хога.

— Мы нашли старину Саммерса, — сказал Француз, ритмично двигая челюстями. — Симпатичный такой парень, но память у него оказалась ни к черту. — Он положил ногу на ногу и обхватил коленку тонкими женственными пальцами. Пальцами шулера. — Мы знаем, что и ты ходил навещать его.

— И что?

— Слушай, у нас мало времени, мон ами. И не забывай, что случилось с мистером Саммерсом, когда он не захотел нам помочь.

Норма Саммерс вдруг застонала. Это был слабый, едва слышный стон, но я понял, что она по-настоящему раздавлена.

— Вчера мы с Хогом проделали работенку для одного очень важного человека, — продолжал Француз. — Кто он, тебя не касается. Потом Хогу захотелось промочить горло, и мы отправились в “Три Сайкс”, где всегда есть холодное пиво.

— Слушай, я сейчас засну, — прервал я его. — Почему бы тебе не перейти прямо к делу?

— Не умничай, мон ами. Короче, Хог был в сортире, когда случилась неприятность. Ты не поверишь, но у бедняги Саммерса сумка оказалась точь-в-точь, как наша. Катастрофа! Как только мы заметили, что произошло, то обратились к нужным ребятам и быстро нашли нашу сумочку в гостинице “Маагз”.

Миссис Саммерс снова застонала, но Француз даже не взглянул в ее сторону. Конечно, с этим красавчиком я справился бы быстрее, чем с воробьем, но Хог представлял собой серьезную проблему, поэтому я сидел и слушал.

— Мы нашли мистера Саммерса в его номере и объяснили нашу проблему, — рассказывал Француз. — Его сумку вернуть ему не могли, потому что Хог разорвал ее на части, когда обнаружил подмену. Он псих, я тебе го-

ворил. Но нашу сумку мы хотели забрать немедленно. Бедняга Френк! Он, дескать, не слышал ни о какой сумке и понять не мог, о чем вообще речь. Мы постарались помочь ему вспомнить, поискали сумку в номере, но ее там не было.

Тут проблема, мон ами. Здесь мы тоже все обыскали и теперь знаем, что у миссис Саммерс сумки нет. Но тот факт, что и ты навестил Френки, говорит о том, что ты можешь знать кое-что, чего не знаем мы. Давай, рассказывай. И не забудь интересные подробности. — Француз встал и аккуратно надел шляпу, после чего кивнул Хогу. Тот пристально уставился на меня, словно стараясь понять, как мои руки-ноги крепятся к телу.

— Я видел Френка Саммерса первый и последний раз в гостинице, когда он был уже мертв, — сказал я. — Поэтому ничего не знаю. Возможно, он пожертвовал ее в Общество защиты животных. Во всяком случае, если бы сумка была у меня, я бы вам ее с радостью отдал.

Я не понял реакции Француза на мое заявление — раздался шум. Это миссис Саммерс внезапно вскочила с дивана, вереща во весь голос. Ее пеньюар раздувался, как паруса каперского судна, и так, на полных парях, она подлетела к окну и ринулась в него головой вперед. Оконное стекло лопнуло на миллион осколков, пропуская вдову Френка Саммерса. Когда она пролетела все тридцать два этажа до мостовой, крик ее замер. В течение нескольких секунд, показавшихся часом, мы трое сидели, разинув рот и остолбенело разглядывая разбитое окно, на котором ярко блестели капли крови. Наконец Француз с шумом проглотил слюну:

— Мон дье! Вот это да! Хог, ублюдок, быстренько выруби этого придурка! И Хог, конечно, поступил, как ему было сказано.

## 6

Сознание медленно возвращалось ко мне, как постепенно выступающий при отливе берег. Я чувствовал запах бензина и кожи, слышал проворный шелест шин по мокрому асфальту. Инстинкт подсказывал оставаться неподвижным и держать глаза закрытыми. Мои руки были связаны за спиной, ноги — нет, поэтому я начал осторожно двигать ими и прислушивался. Работали “дворники”, а рядом справа ощущалось присутствие чьего-то тела. Пахло лавандой и лимоном, значит, за рулем сидел Хог.

Теперь я уже полностью пришел в себя. В бок мне упиралось твердое дуло. Время шло. Машина не тормозила и не ускоряла ход, по всей видимости, мы ехали по большой автостраде. Затем послышался голос Француза:

— Включи радио. Ненавижу ехать за город. Эти деревья сводят меня с ума.

Раздался щелчок, и послышался голос комментатора, рассказывавшего о выборах в штате Огайо.

Так прошел, наверное, почти час. Я не торопился и знал, что не могу ошибиться с выбором момента для начала действий. Сигналом послужил голос Француза:

— Вот черт! Я оставил сигареты у этой Саммерс. Дай мне твои.

Упиравшееся мне в ребра дуло пистолета слегка отодвинулось, пока Француз наклонился вперед, к водителскому сиденью, чтобы взять сига-



рету. Я быстро открыл глаза, сконцентрировал всю тяжесть своих 76 килограммов в затылке и устремил голову прямо в изумленное лицо Француза. Прицелился я не очень точно, однако ударил его в нос, и он заскулил, как раненый щенок, выронив пистолет на сидение. Правда, Француз оказался крепче, чем я думал, и не отключился совсем, напротив, приготовился к атаке. Хог не мог поучаствовать в сражении, так как вел машину на довольно большой скорости по трехполосной автостраде, зажатый другими машинами. Ему не оставалось ничего другого, как мчаться дальше вперед.

На заднем сиденье я остервенело боролся с Французом за пистолет и в конце концов победил. Француз оказался на сиденье подо мной, в луже собственной крови, а я упирался в него пистолетом. Времени на раздумья у меня не было, так как силы таяли, а Хог уже вырулил из автомобильной пробки. Пошел сильный дождь, многие водители предпочитали не рисковать, и дорога на глазах становилась пустой. Мы ехали на бьюике, а бензобак у него, как я хорошо помнил, был где-то как раз на линии моего прицела.

Я повернул руку и выстрелил четыре раза. Глухие выстрелы из оружия большого калибра заставили машину задрожать и наполнили салон едким дымом. Француз вопил прямо мне в ухо. Две пули застряли у него в ноге, одна ушла в неизвестном направлении, но четвертая достигла цели. Пробив Бог знает сколько сантиметров обивки, кожи и черного лака, она прошла сквозь заднюю шину, превратив ее в обрывки резины. Бьюик потерял управление. На переднем сиденье Хог отчаянно жал на педаль тормоза и дергал руль, но напрасно — две тонны металла теперь жили собственной жизнью. Несколько раз вильнув из стороны в сторону, бьюик резко пошел по диагонали. Мы пересекли автостраду, вылетели с асфальтированной полосы, унося с собой десяток дорожных знаков и вздымая тучу из гравия, и покатались под откос сквозь невысокие кусты. Я свалился на пол под сиденье и прижал колени к подбородку. Наконец, пролетев метров четыреста, мы остановились, окутанные клубами дыма и пыли. Я услышал какое-то странное тиканье и щелканье, затем наступила долгая тишина.

## 7

Я лежал на спине, разглядывая небо в дырку, образовавшуюся на месте крыши бьюика. Легкий дождик окроплял мой лоб и стекал по щекам. Я попробовал пошевелиться, но ощутил страшную боль. То немного, что не болело, оказалось или парализовано, или окровавлено, руки были по-прежнему связаны. Я пополз к свисавшей на одной петле дверце, продираясь сквозь острые осколки стекол, и в конце этого мучительного пути сумел сесть. Только теперь я увидел Хога. Его огромная голова лежала на сиденье рядом с туловищем, ручищи по-прежнему сжимали руль. Меня затошнило, и я поспешил выползти из машины на влажную холодную землю. Когда бьюик вылетел с автострады, стальная оградительная полоса разрежала машину пополам, снесла крышу и заодно голову Хога, как гильотина. Француза вообще нигде не было видно. Я медленно встал на ноги и огляделся в поисках чего-нибудь острого, чтобы разрезать собственный галстук, которым мне связали руки. Кое-как нагнувшись, подобрал с земли кусок бампера и принялся пилить им свой лучший и единственный галстук.

Когда удалось перерезать волокна и освободиться, я подумал, что было бы неплохо покурить, но сигареты в моем кармане промокли. Пришлось отправиться к приборной доске бьюика. Потом я вспомнил, что мой пистолет исчез. Хорошая пушка, 38 калибра, пристрелянная, которую я очень любил и которая меня не раз выручала. Я попробовал включить фары, и в их ярком свете увидел очертания тела. Маленький человечек, с головой, повернутой под странным углом, напоминал нелепого спящего паяца. Но Француз больше никогда не проснется. Я нашел свой 38 калибр у него под мышкой, в кобуре, предназначенной для пистолета более мелкого калибра, и не устоял перед искушением проверить карманы Француза.

В его сафьяновом бумажнике я обнаружил кучу денег, квитанции из гостиниц, счета и фотографию, на обороте которой карандашом был записан номер телефона. На ней, на фоне пальм и бассейна, сидел крупный мужчина лет пятидесяти пяти в плавках, с полотенцем, переброшенным через плечо. Его черные гладкие волосы влажно блестели, как если бы он только что вышел из воды; он не успел принять подобающую позу для съемки, потому что лицо было наполовину прикрыто полотенцем, однако глаза видны хорошо — темные, жестокие глаза, вряд ли изменившие бы свое выражение, как бы ни улыбался рот. Рядом на шезлонге возлежала красивая блондинка в бикини со стаканом в правой руке. Она не смотрела в объектив, а мрачно улыбалась мужчине. Наверное, именно такая убийственная улыбка и нравилась в ней этому типу больше всего. Я положил фотографию себе в карман, взял доллар в счет оплаты моего погибшего галстука и выкинул бумажник Француза. «О ревуар, мон ами», — попрощался я с ним. Как ни паршиво все складывалось, кому-то всегда достается больше, чем тебе.

## 8

Слегка покачиваясь на дрожащих ногах, я выбрался на автостраду и поднял руку. Два светящихся огонька стремительно приближались ко мне, неся спасение. Это был антрацитовый кадиллак, за рулем сидела женщина. «Вам куда?» — спросила она. Голос был теплым и одновременно решительным, как мед с ложкой лимонного сока. Она включила свет в салоне, и я с изумлением увидел потрясающую красотку: еще никогда в жизни не встречал таких огромных миндалевидных глаз, такой белой бархатистой кожи. Полные губы немного опущены вниз, что придавало им угрожающий вид, но их выражение смягчала очаровательная ямочка на подбородке. Одним словом, олицетворение красоты, заставляющей мужчин плясать под свою дудку и делать кучу глупостей.

Так я стоял и смотрел на нее с разинутым ртом, пока она вопросительно не приподняла безукоризненные полукружия бровей над яркими глазами: — Так что же? Вас подвезти или нет? Я еду в Филадельфию. В район Фейермонт-парк.

Я пытался вспомнить какие-нибудь слова, которые знал раньше, но не преуспел в этом и просто кивнул.

— Ну так садитесь. А то я уже замерзаю. — Она наклонилась открыть дверцу и одарила меня улыбкой, сверкнув крупными белыми зубами.

В машине, пахнувшей, как парижская весна, я почувствовал себя вполне сносно — согрелся и успокоился.

— Давайте познакомимся, — произнесла женщина. — Меня зовут Элейн Дамоне.

Наступила пауза. Я должен был заполнить ее, назвав себя, — с Элейн Дамоне вся жизнь становилась практичной и определенной.

— Майк Дайм.

— Так что же с вами случилось, мистер Дайм? — Ее акцент был неуловимым, смесь среднего Запада, Нью-Йорка и Чикаго.

Я рассказал ей все, опуская кое-какие детали.

— Да, вам надо подкрепиться после такого, — сказала она и наманикюренным ногтем нажала кнопку на передней панели, под ней открылась дверца крохотного шкафчика, заставленного дорогими ликерами и хрустальными бокалами.

— Вы производите впечатление человека, который умеет открывать бутылки. Налейте себе. Мне не хочется.

Я налил себе коньяка Мартель Кордон Бле, того самого, который Наполеон предпочитал Жозефине.

— Мне кажется, что вы немножечко жулик, мистер Дайм. Не знаю, правду вы мне рассказали или нет, во всяком случае, не всю правду.

Я ничего не ответил. Меня охватывала сонливая истома, было все равно, с какой стати это дело интересует Элейн Дамоне. В любом случае, ей не удалось заставить меня разговориться, но и мне не удалось смутить ее уверенную безмятежность. Последние ночные часы мы проехали в абсолютном молчании, в котором, однако, отсутствовала враждебность. Просто я забылся на мягких, приглашающе-удобных подушках ее кадиллака.

## 10

Проснулся я с ощущением, что что-то не в порядке. В самом деле, когда последний раз спал на розовых шелковых простынях? Я сел на постели, вдыхая аромат туалетной воды Шанель. Все тело болело и ломило, голова кружилась. Новую попытку встать я предпринял не скоро, но на сей раз с большим успехом, и смог как следует осмотреть комнату. Позолоченная мебель в стиле какого-то из Людовиков, декадентски-изящные картины, живые цветы в бледно-розовых полупрозрачных вазах. Все обставлено со вкусом и роскошью. Потом я увидел напечатанную на машинку записку:

“Уверена, что вы хорошо выспались. Мне не оставалось ничего другого, кроме как уложить вас в постель. Ваша одежда в стирке, по крайней мере, та одежда, которая еще не превратилась в тряпки. У прислуги сегодня выходной до полудня, а у меня дела. Ценные вещи из ваших карманов в надежном месте, в верхнем ящике комода. На кухне найдете кофе и графин с водой. Будьте как у себя дома.”

Вот так. Ни тебе поцелуя на прощание, ни подписи. Я надел махровый халат и подошел к окну. Впечатление потрясающее! Квартира находилась в мансарде многоэтажки на окраине Фейермонт-парка. Вся Филадельфия

простиралась передо мной, сверкая на солнце фиолетовыми и серыми крышами домов. Налюбовавшись этим грандиозным видом, я отправился на кухню, включил плиту и зажарил поджюжины яиц. После завтрака вернулся в спальню и в изнеможении рухнул в кресло. В этот момент зазвонил телефон.

Поскольку было еще далеко до полудня, на звонок пришлось ответить мне. На другом конце провода мягкий голос с калифорнийским акцентом спросил: “Элли?” Я отчетливо представил себе этого типа: с фальшивой и жестокой улыбкой, фальшивой бриллиантовой заколкой на галстук, загорелым лицом человека, проводящего большую часть суток на яхте. “Элли? — снова позвал он. — Это ты?” Я уже собирался ответить, что дома никого, кроме меня, нет, но связь неожиданно прервалась. Почти в тот же момент негромко хлопнула дверь. Я положил трубку на место и повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как дьявольски элегантная Элейн Дамоне входит в комнату с кучей свертков в руках.

— Вот, — сказала она радостно. — Рубашка, галстук, носки и костюм.

— Весьма признателен. Хотел бы еще узнать, кто раздел меня накануне.

Ее голос стал ледяным:

— Для этого существует прислуга. Вас пытались отмыть целый час. И если бы не традиции нашей семьи, в которой принято оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, я выкинула бы вас из машины. Может, лучшего вы и не заслуживаете.

— Спокойно. Вы бледнеете от гнева, и ваш красивый загар теряет свою прелесть.

— Переодевайтесь, — приказала она, сверкнув своими убийственными глазами восточной принцессы. — Мне надо поговорить с вами о важном личном деле. Я жду в гостиной.

Я оделся, разложив по карманам свои вещи, включая пистолет, и отправился в гостиную.

## 11

В гостиной целую стену занимали книжные шкафы с прекрасно подобранной библиотекой. Удобные кресла стратегически расставлены для проведения интеллектуальных бесед, а в центре располагался гигантский круглый стол со стеклянной столешницей.

Элейн сидела на диване у окна и читала газету. Увидев меня, она подняла голову и скрестила ноги, приготовившись к небольшой беседе.

— Итак, вы частный детектив. Знаете, я не привыкла говорить о своих проблемах с посторонними, и менее всего с кем-нибудь вроде вас. — Она помолчала, потом спросила: — Вы сейчас заняты каким-нибудь расследованием?

Я отрицательно покачал головой.

— Один член моей семьи попал в скверную историю и не может из нее выбраться, — продолжила Элейн. — Думаю, мне нужен совет и помощь квалифицированного специалиста, у меня нет никакого опыта по этой части. Полагаюсь на свой инстинкт, ведь то, что я выбрала вас, не имеет ника-

кого логического объяснения. Но сразу же хочу предупредить, что дело очень деликатное. Понимаете?

— Пойму не раньше, чем расскажете, в чем суть. И не раньше, чем перестанете относиться ко мне, как к вызванному из-за аварии слесарю. Конечно, вы очень гостеприимны, но я об этом не просил. Если у вас есть для меня работа — прекрасно. Первый день работаю в счет оплаты прачечной и нового костюма.

Сначала она немного растерялась, и ее глазки округлились от изумления, потом поднялась и налила мне виски.

— Как вы могли заметить, я не стеснена в средствах. Моя семья разбогатела много лет назад на сахаре и золотых приисках. Потом Дамоне переселились на север. Повторяю, мы люди богатые и очень гордые. — Она тряхнула копной блестящих волос. — Член семьи Дамоне наследует от предков не только деньги, но и безукоризненное, незапятнанное имя. Это большая ответственность. У меня есть брат, в отличие от меня абсолютно лишенный способности себя контролировать. Я, например, удачно инвестирую свой капитал, а Стентон все промотал, потому что вел довольно веселую жизнь. Стентон, вообще-то, неплохой парень. Добрый, слишком даже добрый — достаточно ему выпить стакан-другой, как он начинает относиться к тебе, как к лучшему другу детства. Папа всегда оправдывает Стентона, что бы тот ни сделал, считает, что таковы типичные ошибки молодости. Стентон, конечно, дурачок, но вовсе не преступник. А в прошлом году он оказался замешан в одну действительно грязную историю. Если папа об этом узнает... с его больным сердцем! Боюсь, это может убить его. Знаете, мистер Дайм, мне тяжело рассказывать об этом постороннему.

— Такое всегда нелегко рассказывать, — согласился я. — Но потом все, как правило, ощущают сильное облегчение.

Элейн подошла к одной из висевших на стене картин, за которой был оборудован сейф, открыла его и достала конверт.

— Здесь сто долларов, и они ваши, что бы вы не решили насчет этого дела потом, когда я доскажу свою историю.

Она замерла в ожидании ответа, а я лениво покачал головой:

— Договорились. Но если у меня будут дополнительные расходы по ходу дела, вы оплачиваете их отдельно. Если не возьмусь за ваше дело, можете припрятать назад свою сотню. Я веду дела только на своих условиях.

— Понимаю. — Она подошла ко мне. — Год назад Стентон связался с группой подонков. За пару дней те дочиста подмели его деньги. Конечно, сначала я ему помогала — одолжила крупную сумму, но он приходил просить деньги снова и снова. Я понимала, что этому надо положить конец. Он устроил жуткую сцену, кричал, что покончит с собой, если я не дам ему двадцать тысяч, что он найдет деньги в другом месте... И нашел. Подделал в чеке на пятьдесят тысяч папину подпись. А потом чек попал в руки шантажиста. Конечно, можно было попробовать договориться с полицией не давать ход делу о подлоге, но для папы это смертельный удар — честь семьи и все такое. Как-никак Стентон наследник половины его состояния. Одним словом, я сама заплатила шантажисту. Вы, наверное, уже догадались, какая помощь мне от вас потребуется.

— Конечно, — бодро отозвался я. — Неверные супруги и шантажисты — самый надежный хлеб частных детективов, об этом можно узнать из любого романа.

— Насколько я понимаю, вы согласны узнать, кто этот вымогатель и где он живет?

— Так точно. И при этом постараюсь не особенно огорчать бедного милого Стентона. Но мне нужны некоторые детали.

— Сначала обещайте действовать только в соответствии с моими инструкциями. Я плачу вам сотню в день, плюс еще две тысячи в случае успеха.

— Никаких “в случае”, мэм. За две тысячи я преподнесу вам шантажиста на блюдечке. Упрячем его за решетку как миленького.

— Нет, нет. Никакой полиции, это недопустимо. Сплетни в газетах, фотографии, вы что, не понимаете? Честь нашей семьи будет задета. Когда вы его найдете, просто сообщите, кто он и где находится. Это все.

— Потом делом займется какой-нибудь киллер?

— Вас не касается.

— Прекрасно. Но я вам все же посоветую запереть Стентона где-нибудь в надежном месте до окончания всей истории.

— Я обо всем позаботилась. В настоящий момент он находится посередине Атлантического океана на пути в Европу.

— Сколько выплат вы уже сделали вашему шантажисту?

— Три. И он все время увеличивает требования. Всякий раз выплата организуется по-разному. Будет нелегко выловить его, но если вы его отыщете, вам не придется жаловаться на мою неблагодарность. С точки зрения профессионала, что теперь следует предпринять?

— Подождать, пока он не объявится. — Я протянул ей две визитные карточки. — Вот телефон моего офиса, я там всегда, когда не ем и не сплю. А второй номер — бара Чарли, где я ем и там же сплю — на втором этаже. Чарли всегда может принять для меня сообщение.

Элейн кивнула в знак согласия, и мы улыбнулись друг другу. Она — потому, что нашла того, кого искала, а я — потому, что родился ищейкой.

## 12

Я вышел из роскошного холла дома Элейн и направился к единственному такси, скучавшему неподалеку, которое довезло меня до дома Нормы Саммерс. Прошли сутки, как она выбросилась из окна, но никаких следов трагедии не наблюдалось. Ни любопытных на тротуаре, ни полиции, точно ничего такого и не было. Заплатив таксисту, я сказал:

— У этой дамочки Дамоне есть и еще кое-что, что мне показалось странным. Среди фотографий на камине одна рамка стояла пустая. Понимаешь, амиго? Одна рамка для фотографии стояла без фото.

Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, ничего не ответил и умчался.

За щеткой моей машины красовался листок штрафа за стоянку в неподобающем месте, к тому же кто-то снял с нее бампер. Все, как обычно. Я сел в машину и без особой спешки поехал в бар Чарли.

Во время ланча у Чарли всегда много народа, но сегодня мне пришлось прокладывать себе путь локтями. Свободных столиков не было, и я прист-

роился рядом со стариком, читавшим экономическую страницу “Филладельфий пост”. Когда я потеснил его, старик неодобрительно посмотрел на меня поверх своих очков и заслонился своей газетой. Жуя обед, я машинально пробежал глазами заголовки. Обычные сплетни, отчеты о выборах, прогноз погоды, программа телевидения. И вдруг — сообщение:

**В РЕКЕ ДЕЛАВАР НАЙДЕН ТРУП УТОПЛЕННИКА.** Примерно в полвосьмого сегодняшнего утра Эрк Юргенс, моряк одного из буксиров, обнаружил в водах Делавара к северу от залива Ред Бенк труп мужчины. Полиция установила, что утонувший — 43-летний Уолтер Киркпатрик — сотрудник страховой компании Гранд Юнион Пенсильвания Иншуэренс. Один из руководителей компании заявил, что внутреннее расследование деятельности Киркпатрика, которое начало руководство фирмы, возможно, вызвало у него нервный срыв. Полиция полагает, что речь идет о самоубийстве.

— Может, хотите купить мою газету? — спросил старик. — Уступлю за пять центов.

В ответ я только улыбнулся и сосредоточился на своем фруктовом коктейле.

Мне следовало поразмыслить о событиях последних двух дней. В особенности об Элейн Дамоне, которая разъезжала на роскошной машине посреди ночи. История с братом была, конечно, довольно трогательной. Но что-то в ней не сходилось. Элейн не была дурочкой и понимала, что в таких случаях обращаются в крупные агентства типа Пинкертона. Там всего за сотню, притом, в мгновение ока и с соблюдением максимальной конфиденциальности, ей отыскали бы злополучного шантажиста. Что ж, я получил шанс хорошо заработать, только и всего.

Потом я вспомнил о миссис Саммерс, о ее убитом муже, и меня внезапно охватил ледяной озноб. Хог и Француз — просто обычные наемные убийцы. Тот, кто им платил, наверняка знал, как я поучаствовал в деле Саммерсов. В этом было мало приятного. Что ж, моя жизнь принимала волнующе острый характер — я должен был найти крупного вымогателя и при этом ускользнуть от когтей шефа гангстеров. Человеку с моим опытом бояться нечего. Надо только отрастить бороду и носить темные очки. В настоящий момент мой офис, может, уже битком набит убийцами вроде Хога... Я купил у Чарли бутылку “бурбона” и отважно отправился прямо в пасть к врагу.

В офисе никого не оказалось. Я подобрал под дверью три адресованных мне письма, прошел в свой кабинет и позвонил в отдел происшествий “Филладельфий пост”, где работал журналист по имени Харви Хендерсон.

## 13

Редакция находилась на Брод-стрит, в красном кирпичном здании. Снова начал накрапывать дождик, темно, в окнах зажигались огни. Я вошел, сказал швейцару, что у меня назначена встреча с Хендерсоном, и поднялся на пятый этаж.

— Я узнаю, может ли мистер Хендерсон принять вас, — заявила секретарша бесцветным голосом, изучив мой галстук, и принялась искать номер

Хендерсона в списке внутренних телефонов, после чего мне было позволено пройти прямо по коридору.

“Не стучи, Дайм, открыто!” — послышался голос Хендерсона из-за двери, на которой красовалась его фамилия. Голос был веселым и полным энтузиазма, как и положено голосу редактора отдела происшествий. Я вошел и пережил крепкое рукопожатие крупного, почти двухметрового Харви, передвигавшегося по комнате с завидной легкостью.

— Ну, старина, что у тебя там случилось?

Я рассказал про Элейн и ее брата, про Хога и Француза, про несчастных Саммерсов и сумку с деньгами, объяснил, что за мной охотятся, и мне необходимо знать, кто именно. Когда я закончил, Хендерсон позвонил, попросил принести нам два кофе и сказал:

— О Хоге и его напарнике я кое-что могу тебе сообщить. Они здесь у нас недавно, ребята не очень опытные, но, конечно, и не деревенские воришки. Откуда происходят деньги из сумки? По-моему, тут и зарыта собака. Последнее время крупных краж не было, по крайней мере, о них не сообщалось. Конечно, у многих фирм случаются недостатки и некрасивые истории с налогами, но я сомневаюсь, чтобы они обратились к двум гангстерам наподобие Хога и Француза. Знаешь, дело, которым я сейчас занимаюсь, может пролить свет и на твою историю. — Он закурил трубку. — Читал о сотруднике страховой компании, который утонул? Мы сообщили о нем в утреннем выпуске.

— Читал. Некто Киркпатрик. Найден в реке.

— Полиция не знает, что думать. Жизненный путь бедняги был прям, как Аспиева дорога. То, что полиция не знает, — Киркпатрик уже восьмой страховой агент, умерший при довольно странных обстоятельствах.

— Страховые агенты тоже умирают, как и прочие люди.

Хендерсон поднялся, подошел к шкафу и достал из ящика голубую карточку:

— Вот список страховых агентов, внезапно скончавшихся за последние три года. Джек Прескотт, повесился в Колорадо. Джордж Черлсли в Фениксе, Аризона, упал с лестницы, когда чинил крышу. Виктор Голдмарк утонул в Нью-Йорке. И так далее. Есть одно обстоятельство, Дайм, которое соединяет все эти разрозненные факты несчастных случаев. Ты слышал о Мэнни Глюке? Был такой мелкий мошенник. Потом ему пришла в голову идея организовать гениальный трюк со страховками. Ему нужно было только найти страхового агента, готового немного округлить свое жалование, а таких, сам знаешь, предостаточно. Глюку даже не требовался большой базовый капитал, он просто предлагал долгосрочные страховые полисы и давал агенту пятьдесят процентов в совместном предприятии. Страховой агент продавал фальшивый полис, а взносы наличными переводил на счет Глюка. Потом страховое общество Мэнни аннулировалось и быстренько создавалось новое. Особого риска здесь не было, Мэнни только и требовалось, что найти подходящего агента, уставшего от тягот жизни и созревшего для мелкого мошенничества. Они работали под фальшивыми именами. Потом Глюк снабжал их поддельными документами, и они навсегда исчезали от американского правосудия где-нибудь в Мексике. Такова, по крайней мере, официальная версия.

— А по-твоему, Хендерсон, их следовало искать на дне залива или в местном морге?



— Вполне достаточно и самоубийства, не вызывающего подозрений у полиции, или хорошо организованного несчастного случая.

— Да, но если все так превосходно организовано, ты-то как докопался?

— Один страховой агент додумался до чего-то наподобие плана Мэнни, но ему не хватало размаха и смелости. Он согласился работать с Глюком, но в последний момент сдал его полиции и смылся с деньгами за границу.

— Агенты, которые записаны в карточке, были замешаны в нечто подобное?

— Голову даю на отсечение, что да. Киркпатрик тоже наверняка один из козлов отпущения. Вопрос в том, кто сейчас руководит операцией — некто, кто сам до всего додумался, или Мэнни оставил наследника? Узнай ответ, и ты поймешь, чьи деньги были в сумке. Но не забывай, что дело довольно опасное. Будь готов к неприятностям.

— Не переживай за меня. С того момента, как я родился, не прошло еще и дня, чтобы кто-нибудь не захотел со мной разделаться. Скажи еще одну вещь. Где Мэнни Глюк отбывал наказание?

— Штат Нью-Йорк, тюрьма Синг-Синг.

— Кстати, — спросил я, уходя. — Слышал о парне по имени Стентон Дамоне? Кто-то его шантажирует.

— Нет, и катись отсюда, Дайм. И так потерял из-за тебя уйму времени.

## 14

Открывая дверь офиса, я услышал телефонный звонок. Это была Элейн Дамоне.

— Где же вы пропадаете? — спросила она строго. — Я звоню по всем номерам, которые вы оставили, без малейшего успеха. Если помните, мистер Дайм, вы согласились работать на меня. Может, вас заинтересует сообщение, что шантажист Стентона объявился?

Я заверил ее, что по-прежнему горю желанием с ним расправиться, и она продолжала:

— Завтра он позвонит и скажет, где и каким образом я должна буду передать ему три тысячи. — Пока Элейн говорила все это, я слышал в трубке, как кто-то настойчиво звонит в ее дверь, однако она словно и не собиралась ее открывать, и прислуга тоже не торопилась сделать это.

— И еще раз вам повторяю, я не желаю, чтобы вы с ним расправлялись. Просто найдите его, и все.

Я решил, что пришло время поставить на место Элейн Дамоне.

— Слушайте, я на вас работаю, потому что мне нравится, как вы мне платите. Вы симпатичная, особенно когда улыбаетесь. И ваши простыни из розового шелка мне тоже очень полюбились. Однако мне не нравится выслушивать, как я должен работать. Моя профессия довольно сложна и опасна. Или вам захотелось, чтобы наши некрологи напечатали в "Пост"?

— Вы будете работать, как я скажу, — ответила она холодно, — или не будете работать вообще.

— О'кей. Не обращайтесь на меня внимания. Бывают дни, когда я не в духе.

Потом мы распрощались, и она повесила трубку. А я еще довольно долго держал свою в руках.

Потом я позвонил в полицейский участок и спросил, кто занимается делом Киркпатрика. Дежурный сержант ответил, что никто им не занимается, но, если я позвоню утром, то кто-нибудь сможет сказать, почему он решил утопиться. Я настаивал, потому что мне необходимо было срочно выяснить причину самоубийства, и наконец узнал, что Киркпатриком занимается инспектор Нунан и что он уже ушел домой. Затем я набрал номер секретариата Синг-Синга, и мне ответил некто, энергично жующий резинку: “Чем могу помочь, дружок?” Работники исправительных учреждений ненавидят частных сыщиков почти так же сильно, как и своих подопечных, возможно, ненависть вообще входит для них в профессиональный набор, как и бесплатная форма.

— Говорит инспектор Нунан, полиция Филадельфии, — ответил я, стараясь не казаться ни слишком умным, ни слишком любезным. — С кем я говорю? Кто у телефона, черт побери?

— Хм... Горси...

— Сэр! Добавляй “сэр”, когда ко мне обращаешься, понял? А теперь послушай, Горси. Мне срочно нужна информация о заключенном Мэнни, или Эммануэле, Глюке. Передаю по буквам — ГЛЮК. Насколько мне известно, он умер в тюрьме до окончания своего срока отсидки. Теперь ты дашь мне список тех, кто сидел с ним в одной камере. Да, да, знаю, что поздно и что архив закрыт. Но ты должен помочь, Горси. Дело международной важности, и мы разберемся с ним сейчас или никогда. Все, кто работает над ним, все, до последнего сержанта, получат повышение. Понял? А теперь, давай, работай, сынок. Я тебе перезвоню.

Я достал из бумажника фотографию, которую нашел у Француза. По непонятной причине меня больше интересовал записанный на обороте телефонный номер — что-то в нем было смутно знакомым. Я набрал номер справочной и попросил дать адрес по этому телефонному номеру. Мне обещали перезвонить. Что ж, неплохо. Оставалось убить еще около часа, и от нечего делать я снова стал разглядывать фотографию.

Странно, что она оказалась у проходимца наподобие Француза. Девушка на фото была настоящей красоткой, не какой-нибудь дешевкой. Но больше я ничего не смог извлечь из снимка, за исключением отчетливого чувства, что предпочел бы никогда не встречаться с толстяком в плавках.

Когда я перезвонил в тюрьму, Горси уже ушел с дежурства, но оставил для меня список из десяти фамилий с домашними адресами заключенных. Только двое из них пережили Глюка, умершего в возрасте 67 лет и отсидевшего половину из положенного ему срока, — Анджело Мелински и Уоррен Ратеннер. Последний показался мне многообещающим — Ратеннер отсидел вместе с Глюком три года, и Мэнни умер, можно сказать, у него на руках. Срок Ратеннер получил за мелкое мошенничество и неуплату налогов, а пару лет назад освободился. Я позвонил в “Пост” и оставил сообщение для Хендерсона, после чего обвел фамилию Ратеннера жирным кружком и задумался. Не было особенной разницы, принадлежали эти деньги Ратеннеру или же королю Сиаму, я все равно не понимал, почему до сих пор жив. Фамилия и адрес офиса значились в телефонном справочнике, и найти меня не составляло ни малейшего труда. Мои мысли перебил звонок из телефонной справочной — номер на фотографии Француза принадлежал Максуслоувану, Порт-стрит. Да, я знал Макса.

Биллиардная Макса Слоувана располагалась в подвальном помещении мебельного склада. Максусу было лет пятьдесят, или шестьдесят, может, и под семьдесят, — никто не знал в точности. В зале царила привычная тишина, ведь Макс считал, что игра — дело слишком серьезное. Сосредоточенные игроки ходили в полумраке вокруг столов, иногда склоняясь над зеленым сукном и совещаясь вполголоса, точно хирурги над операционным столом. Изредка слышались возгласы негодования или радости, или одобрителное гудение болельщиков после очередного удачного удара.

Я нашел Макса на скамье, где он, полуприкрыв глаза, наблюдал за перипетиями очередной партии и подпиливал себе ногти маникюрной пилкой.

— Сыграешь? — любезно осведомился Макс, словно врач, интересующийся здоровьем пациента. — Где-то у меня лежит твой кий, Майк. Жаль, что ты так редко заходишь.

Я улыбнулся, разглядывая его. Нет, за то время, что мы не виделись, ни лунообразное лицо Макса, ни иссиня-черные брови, ни густые волосы ни сколько не изменились. Макс продолжал обыгрывать время. Я достал фотографию:

— Тебе здесь кто-нибудь знаком?

Он задумчиво потер подбородок, разглядывая снимок, и на его лоб легли резкие глубокие морщины, как будто я попросил его объяснить мне устройство вселенной.

— Сам знаешь, тут бывает уйма народа. Приходят, оставят пару долларов и уходят. Я запоминаю только тех, кто умеет играть. Играть по-настоящему. Девушку я точно никогда не видел. Спроси у того парня, что сидит в углу возле стола номер 17. У него вычислительная машина вместо головы — помнит каждую партию, каждый удар. В жизни такого не видел!

— Ладно, — сказал я. — Если мне повезет, у него такая же память на лица.

Молодой человек, на которого указал Макс, как раз изготовился для удара. Его тело неподвижно зависло над столом, рука с кием плавно скользила взад-вперед, прицеливаясь. Потом кий резко пошел вперед, ударив по белому шару.

— Хороший удар! — похвалил я его и протянул руку. — Меня зовут Майк Дайм.

— Я знаю. Мы встречались, еще когда вы были сержантом. Но вы-то меня, конечно, не помните. Я не бросаюсь в глаза, не то что вы. Мы встречались с вами во Франции, в 1945 году. Джоуи Позо.

И тут я вспомнил его, смешного маленького солдата, лежавшего со мной в одном полевом госпитале. Он был настигнут свинцом, и ему ампутировали обе ноги.

— То, что у меня нет ног, помогает лучше играть в бильярд, — сказал Джоуи без тени горечи в голосе. — Большинство игроков мажет, потому что не может удержать равновесие в момент удара, а я на своих протезах стою прочно, как бочка со свинцом. — И он с гордостью продемонстрировал мне свою устойчивость.

Я еще раз похвалил его удар, мы поболтали о том, о сем, и я показал ему фотографию. Как и Макс, он никогда не видел изображенных на ней мужчину и девушку, он также не слышал о Мелински или Ратеннере, но когда я описал, как познакомился с Хогом и Французом, его лицо вспыхнуло.

— О Французе могу рассказать кое-что: неделю назад я выиграл у него тридцать долларов. Он спрашивал, где лучшие игорные залы. Для такого болтуна и пижона Француз играл довольно прилично. Да, потом я видел его еще раз, в тот вечер, когда проходили выборы. Он разговаривал по телефону. Прибежал сюда, запыхавшись, и напрямик полетел к телефону, вон к тому, что у карточных столов. Речь шла о каком-то голландце, Ларри или Гарри, не знаю, не расслышал.

Это было все, чем он мог мне помочь. Мы попрощались, я оставил ему свою визитную карточку и пару долларов, а он обещал сообщить мне, если узнает что-нибудь достойное внимания. Я вышел на улицу и глубоко вдохнул прохладный ночной воздух. Бар “Три Сайкс” находился рядом с бильярдной Макса — десять минут пешком. А если бегом, то и того меньше.

## 16

Определенной цели у меня не было, просто я решил, что в постоянном движении мне безопаснее, нежели дома или в конторе. Однако позднее время давало о себе знать сонливостью и усталостью. Я медленно ехал по Брод-стрит, время от времени поглядывая в зеркало заднего вида, не преследует ли меня кто-нибудь. Проехал мимо больницы Святой Агнессы, повернул налево, на Уортон, потом доехал до Деланси-стрит и наконец оказался в квартале шикарных ресторанов. Шел четвертый час утра. Я поставил машину позади чье-то “роллс-ройса” и вошел в бар на углу Пятой улицы и Фултон-стрит.

За стойкой бара сидели трое — двое мужчин и рыжеволосая красавица, они курили и пили черный кофе. Бармен с добродушным лицом с удовольствием принял и у меня заказ на кофе. Все вокруг дышало уютом и покоем. Сквозь огромные окна хорошо просматривалась пустынная улица.

Я заказал еще кофе и принялся раздумывать о сумке. Она определенно пропала где-то между бильярдной Макса и баром “Три Сайкс”. Гостиница “Маагз”, разумеется, кишела ворами, но Френк наверняка знал об этом и вряд ли стал бы прятать ее там или оставлять без присмотра. С другой стороны, когда он позвонил жене, то был сильно пьян и мог сразу же после звонка заснуть мертвецким сном. Обокрасть его — пара пустяков, но, когда я обнаружил его в гостиничном номере, и бумажник, и часы оказались при нем. Не сходилось.

Бросив на стойку мелочь за кофе, я вышел на улицу, чтобы продолжить ночную прогулку, и как раз сиделся в машину, когда в меня начали стрелять. Выстрелили три раза — первая пуля оцарапала кирпичную стену и осыпала меня пылью. Вторая устремилась за мной на тротуар, куда я упал, стараясь укрыться за колесами машины. Третья зазвенела о переднюю дверцу водительского места. К тому времени я надежно укрыл голову за колесом и решил поинтересоваться, откуда стреляют. Выстрелы доносились из темного переулка между итальянским баром и аптекой, но теперь, ког-

да стрелявший уже не мог меня достать, он, как видно, плюнул на свою затею. Стрелять перестали.

Выждав какое-то время, я бросился к стене бара, достал свой пистолет и осторожно заглянул в переулок. Он походил на тупик, и ничего интересного, кроме мусорных баков, я там не увидел. Правда, была еще дверь служебного входа в бар, и как раз в тот момент, когда я подумал, что мирная картина этого закоулка приводит на память что-нибудь безобидное, вроде загородного пикника, рядом с дверью раздался выстрел. Пуля прошла так близко, что могла бы отстрелить мне ухо. Я инстинктивно нажал на курок. И тотчас же послышался стон.

Я двинулся вперед, прижимаясь к стене и прячась в тень. У двери никого не оказалось, а вот из-за нее, откуда-то из кухни бара или из подсобных помещений, не знаю, послышался шум и крики. Я взбежал по ступеням и рывком распахнул дверь. За ней оказался узкий темный коридор, заставленный картонными коробками с какими-то банками, пахло плесенью и кулинарным жиром. В глубине коридора виднелись деревянные створки двери на пружинах, которые вдруг бесшумно раздвинулись, пропуская крупную фигуру с нацеленным на меня пистолетом. Раздался пятый выстрел, и я рухнул за коробки, раскидывая во все стороны банки с фасолью и горошком. У стрелявшего был большой калибр, наверное, тридцать восьмой, как у меня. Я швырнул банку с фасолью вперед, в том направлении, где он стоял, и последняя пуля моего противника просвистела над коробками. Тогда я вскочил и выстрелил — пуля мягко вошла в деревянные створки. Когда я подбежал к двери, то увидел на полу темные пятна крови; как видно, мой первый выстрел в переулке попал в цель.

На кухне стояли, судорожно вцепившись в большую разделочную доску, два толстяка — один в поварском одеянии, другой — почти готовый, чтобы отправиться домой. Увидев меня, повар в полосатом переднике взмолился неожиданно тонким голосом:

— Прошу вас, не стреляйте. У меня жена и шестеро детей.

— Где человек с пистолетом? — закричал я. — Куда он делся?

Повар показал дрожащим пальцем на вторые двери и прошептал:

— Мамма миа... И этот еще!.. Мало нам одного психа с пушкой!

Цепочка кровавых следов вела в направлении, указанном поваром.

Я отправился туда и очутился в танцевальном зале, где за столиками у стен сидело несколько клиентов. На невысоком подиуме играл оркестрик, и певец заискивающе улыбался слушателям. Человека с пистолетом нигде не было видно, а кровавый след пересекал зал и вел на улицу. Там он заканчивался на бордюрном камне тротуара — кто-то на машине подобрал его.

Я вернулся в бар и протянул пять долларов девушке-гардеробщнице:

— В меня только что стреляли на заднем дворе, но певец так орет, что вы тут наверняка ничего не слышали. Я не разглядел стрелявшего, могу только сказать, что он худой, с таким вот пистолетом, как у меня. Он был ранен в руку или в ногу. Ну как что? Видели, как он выходил?

Нахальная девица скомкала мою пятерку и быстро убрала ее в сумочку:

— Ты бы пил поменьше, дружок. Кто у вас там в кого стреляет, мне плевать, а ты, если чем-то недоволен, отправляйся в полицию. Понял?

Я вышел на улицу и отправился домой.

Светало. Но я решил не ложиться спать, потому что Элейн могла позвонить в любой момент, и просто прикорнул в кресле.

Разбудил меня тревожный звонок. Нестерпимо болела голова, во рту появился привкус странной горечи. Я положил руку на аппарат, но понял, что не смогу сказать ни слова, и швырнул его в ящик письменного стола. Телефон продолжал звонить, но теперь не так резко и неприятно.

Я отправился в ванную, чтобы принять душ. Лицо, увиденное в зеркале, уже напоминало человеческое, хотя все еще, наверное, могло бы испугать собаку. Сигарета помогла почувствовать себя еще увереннее. Я вернулся в комнату, достал из ящика трезвонивший телефон и поднял трубку. Телефонистка спросила, не я ли Майк Дайм, и объяснила, что со мной хотя бы поговорить. Потом раздалась целая серия щелчков. И послышался голос, точнее, какое-то странное шипение:

— Мистер Дайм, это Ратеннер. Нам с вами надо кое о чем поговорить. Дело достаточно важное. Запишите адрес и приезжайте. Прямо сейчас. Немедленно.

Я записал и сказал, что буду. После короткой паузы голос с усилием произнес:

— Только не делайте глупостей, Дайм. Не впутывайте полицию и не оставляйте записок для друзей. Не пытайтесь умничать, меня это только рассердит. Просто приезжайте и расскажите все, что я хочу знать. — Он бросил трубку, не дожидаясь моего ответа. Уоррен Ратеннер не нуждался в ответе.

Это было полуразвалившееся поместье, предназначенное к сносу, в паре миль от того места, где река Делававар поворачивает на восток. Большую часть построек рабочие уже превратили в пыльные руины, а в главном доме отсутствовали три стены. И обнаженные этажные перекрытия вызывали тоскливое чувство незащищенности, приводя на ум мысли о бренности материального мира. Те немногие рабочие, в основном, негры, которые находились на строительной площадке, лениво двигались, казалось, без всякой видимой цели. Наверное, было еще слишком рано. Два ярко-оранжевых бульдозера выделялись на фоне пыльных обломков, как два причудливых апельсина, а в самой середине площадки, подобно тотему двадцатого века, горделиво возвышался строительный кран.

Я припарковался у старой бензоколонки, тоже предназначенной к сносу, вышел из машины и зашел в склад. Здесь, похоже, жизнь уже давно остановилась. Помещение, огромное, как футбольное поле, то тут, то там украшали проржавленные остовы старых автомобилей довоенного выпуска. Поучительное и впечатляющее зрелище.

Я нащупал под мышкой свой пистолет, но его магазин был пуст со вчерашнего вечера. Меня, однако, это мало заботило — за мной следили с того самого момента, как я вышел из своей квартиры на Такер-стрит. Стояла тишина, но есть люди, которые не производят ни малейшего шума, даже ког-

да дышат. Толкнув проржавленную дверь, я вошел в темное помещение. Передо мной находилась лестница, которая вела куда-то вверх. Сильно пахло пряностями — циннамоном, корицей, кориандром, гвоздикой, шафраном, запахами, которые вызывали в памяти образы восточного базара, шелковых подушек и томных знойных красавиц в покрывалах. Но в спину мне упиралось нечто очень знакомое и твердое.

— Поживей, дружок, — произнес чей-то голос. — Мистер Ратеннер ждет. Смотри прямо перед собой, не верти головой, и с тобой не случится ничего неприятного. Оставь свою пушку и спокойно двигай вверх по лестнице.

— Ты давно в Филадельфии? — спросил я своего провожатого где-то на середине пути. — Небось, в Чикаго сейчас стало жарковато?

— Слишком много треплешься. Я говорил мистеру Ратеннеру, надо было тебя сразу пришить, и все. Может, мистер Ратеннер все-таки разрешит мне сделать это.

Наконец мы остановились у полуоткрытой металлической двери.

— Давай, входи, — сказал мой сопровождающий. — Не слишком быстро, но и не медленно.

Я вошел и в темноте споткнулся, задев какой-то деревянный предмет. Это оказался стул — я не мог его рассмотреть, но почувствовал на ощупь.

После продолжительного молчания Ратеннер заговорил.

— Мальчики, усадите мистера Дайма. И не убивайте его до тех пор, пока я не скажу.

В комнате были и другие люди, глаза которых, по всей вероятности, уже привыкли к темноте. Один из них схватил меня за волосы и потянул вверх, другой ударил кулаком в живот. Я согнулся от боли пополам, и кто-то пододвинул мне под колени стул. Вспыхнула сильная лампа, и рука, державшая меня за волосы, удерживала меня перед ярким светом так, что я не мог отвернуться. Чтобы не ослепнуть, мне пришлось зажмуриться, чего, наверное, и добивался Ратеннер.

— Прекрасно, — сказал он и рассмеялся. — Теперь послушай как следует. Мне тяжело говорить, и я никогда не повторяю дважды. — Раздалось шуршание бумаги и шорох целлофана. — Пару вечеров назад мне позвонил один из моих ребят и сказал, что случилась неприятность с одной вещью. Он звонил из квартиры особы, чей муж замешан в этой истории. Мой человек сказал также, что к делу причастен частный детектив по фамилии Дайм, который мог бы пролить немного света на судьбу моей сумки. Потом мои ребята исчезли. Только сегодня утром, сидя у парикмахера, я открыл газету и увидел в ней снимок, на котором одного из них загружали в машину скорой помощи. Поэтому тебе и позвонил. У нас мало времени, а у тебя его еще меньше.

— У меня нет твоей сумки, — ответил я. — Полагаю, я тут из-за нее?

— Ты тут потому, что я так захотел, Дайм. У тебя мало времени, но я хочу сделать предложение — даю двадцать четыре часа. Принеси мою сумку. Если через сутки ее здесь не будет, мои ребята возьмутся за тебя. Вот и все. Мне плевать, у тебя сумка или нет, принеси мне ее.

— Вот как? Завернуть в подарочную бумагу, или сойдет и в газете?

— Ты меня разочаровываешь, Дайм.

— Да, я многих разочаровал с тех пор, как перестал носить короткие штанишки. Поищи кого-нибудь другого для своей грязной работы. Я сейчас занят расследованием одного дела, получаю сто долларов в день и не нуждаюсь в таких клиентах, как ты, Ратеннер.

Он выдохнул густой клуб дыма прямо мне в лицо.

— Симпатяга Дайм. Прямо Ричард Львиное Сердце. Не изображай из себя много, Дайм, иначе ты — покойник.

Я хотел ответить ему, но не смог. Перед моим внутренним взором возникло искаженное лицо Френка Саммерса, который держал в руках табличку с надписью: "Не забывай, что Ратеннер сделал со мной и с Нормой". Спасибо, дружище Френк, разве такое забудешь! Лучше подскажи, где может быть эта чертова сумка.

Заскрипел стул, и снова раздался голос Ратеннера:

— Не стоит раздумывать так долго, Дайм. Берись за дело. Все просто, как детская азбука. Ты мне приносишь сумку со всем ее содержимым до последнего цента через двадцать четыре часа. Если нет, попрощайся, с кем сам найдешь нужным. Я из-за тебя уже потерял двух славных парней. Теперь еще теряю с тобой время. Так что, пока. Начинай считать время — во семьдесят семь тысяч секунд в твоём распоряжении.

Когда Ратеннер договорил, что-то твердое ударило меня по голове. Белый яркий свет, похожий на вспышку блица, на миг возник передо мной, и я тотчас провалился в кромешную тьму.

## 19

Изящные часы с мраморной фигуркой балерины, стоявшие на столике, показывали четверть одиннадцатого. Горничная-китайка проводила меня в гостиную и попросила обождать, пока она не доложит мисс Дамоне о неожиданном посетителе. Я выкурил почти половину сигареты, когда горничная появилась снова и сообщила, что хозяйка должна принять ванну, но до этого выйдет со мной поздороваться. Действительно, за крошечной изящной фигурой китайки появилась Элейн.

— Можешь идти, Лили, — проговорила она. — Хотя нет, подожди. Принеси влажное полотенце для мистера Дайма.

— Мне бы не только умыться и вытереться, — нерешительно заметил я, ощупывая рану на голове. — Я бы еще и горло промочил с радостью.

Мисс Дамоне без слов направилась к буфету с напитками. На ней было очаровательное неглиже из лазурного шелка с глубоким треугольным декольте, смело открывавшем загорелое тело; копна непричесанных волос ниспадала на плечи, темные, как безлунная ночь, глаза не были накрашены.

— Насколько я понимаю, вы нарушили мои инструкции, — сухо заметила она. — Шантаж моего брата — дело достаточно серьезное. Вы один знаете об этом. Неужели не можете быть поосторожнее?

— Это длинная история, — ответил я. — Вообще-то она никак не связана ни с вашей семьей, ни с шантажом.

— Приятно слышать. Кстати, я не хотела бы показаться негостеприимной. Но что привело вас ко мне в столь ранний час?



Я постарался поделикатнее сообщить ей, что оказался замешан в историю с некой сумкой и что мне пришлось заключить что-то вроде джентльменского соглашения с одним человеком. Воспитанные женщины, как правило, всегда дают вам высказаться до конца, а Элейн, к тому же, слушала меня весьма внимательно. Когда я закончил, она подошла ко мне так близко, что я мог ощутить нежный запах мускуса очень дорогих духов.

— Лили поможет вам промыть рану. Можете также принять ванну, если хотите. Все-таки вы на меня работаете и не должны выглядеть Бог знает как. Я буду в спальне, мне надо написать кое-какие письма. Если вам что-нибудь понадобится, Лили позаботится о вас.

Ванную Элейн, должно быть, проектировал какой-то сумасшедший архитектор в приступе белой горячки. Огромная восьмиугольная комната, совершенно пустая, если не считать треугольной ванны, углубленной в пол, могла бы осчастливить целое стадо китов. Здесь царил атмосфера холодной интимности, которую так любят женщины, когда купаются. Искусственное освещение было столь мягким и ненавязчивым, что становилось невозможным обнаружить, где находились лампы. Стены представляли собой одно большое зеркало, инкрустированное головами каких-то языческих божеств.

Я скользнул в воду, теплую, как ласки прекрасной женщины. И почувствовал себя композитором, создающим сложный контрапункт разных голосов.

## 20

Элейн Дамоне по-прежнему находилась в своей спальне. Она одевалась и делала это не торопясь. Многие женщины обожают проводить массу времени, вертясь перед зеркалом, а Элейн готовилась к выходу так тщательно, точно собиралась на голливудский прием. Правда, когда она наконец появилась, на ней была блузка в лимонный горошек и розовые брюки, зато пара не бросающихся в глаза старинных украшений могла подсказать знатоку светских условностей, что перед ним настоящая леди из общества.

— Можете позавтракать, — бросила она холодно. — Немного поздневато для завтрака, но все же.

— Разве чтобы заморить червячка, — согласился я добродушно. — Но сначала мне нужно позвонить. Один мой знакомый — завсегдатай бильярдной, где собирается много всякого народа, в том числе и кое-какие отбросы общества, думаю, он может быть мне очень полезен.

— Возможно, — заметила она без малейшего интереса. — Когда позвоните, приходите на кухню, вы знаете, где она.

Я набрал номер заведения Макса, намереваясь поговорить с Джоуи Позо, но ответил мне не Макс. Кто-то незнакомый попросил подождать, затем в трубке послышался глухой голос Макса Слоувана:

— Майк! У нас неприятности. Я пытался дозвониться тебе все утро. Приезжай немедленно, тут полно полицейских, и они хотят поговорить с тобой.

Я медленно положил трубку на рычаг аппарата и некоторое время сидел, уставясь прямо перед собой невидящим взглядом и с гулком бьющимся

сердцем. Вернулась Элейн и что-то сказала мне, но звук ее голоса плохо доходил до меня.

— Извините, — говорила она, — но напоминаю, что вы выполняете для меня работу, за которую я вам плачу. Если намерены пренебрегать своими обязанностями, лучше нам расторгнуть наши отношения. Если уж вам так необходимо все время где-то пропадать, имейте любезность периодически звонить мне и узнавать новости. И прошу вас, ни слова горничной. О наших делах вы будете разговаривать лично со мной.

Я устало кивнул:

— Да, я позвоню. Детективное агентство Дайм никогда не дремлет. Иногда попадает впросак и дает прикончить своих клиентов, но не дремлет, это уж точно. Мой нюх подсказывает, что на сей раз нам повезет.

— Да, интуиция и все такое, знаю. Прошу только не забывать звонить мне, — отозвалась Элейн ледяным тоном.

## 21

Холодный сквозняк, насквозь продувавший бильярдную Макса, не понравился мне, но я уже заранее смирился со всем, что предстояло там увидеть, как только разглядел у входа две патрульные машины полиции и машину скорой помощи, дверцы которой как раз закрывал какой-то человек в белом халате. Из другой машины выходили фотографы с аппаратурой. Повсюду сновали деловитые полицейские агенты, а потом я заметил и судью Поссера.

Макс стоял у бильярдного стола. Бледный, как смерть, он никогда еще не казался мне таким старым. Дежурный полицейский осмотрел меня спокойным и подозрительным взором, но когда Макс объяснил ему, что его шеф хотел поговорить со мной, пожал плечами. Я прошел мимо ряда темных и мрачных, как могильные плиты, игровых столов к тому из них, возле которого толпились полицейские и специалисты в штатском. Это был стол Джоуи Позо. На сукне мелом был обведен контур верхней половины человеческого тела, немного гротескный, с одной рукой, вытянутой вперед, и со странно оттопыренным указательным пальцем, посередине расплылось зловещее темное пятно, а вокруг в беспорядке лежали бильярдные шары.

Один из людей у стола представился как капитан Агло — он хотел задать мне ряд обычных вопросов, принятых в таких случаях. Толстячок-коротышка, одетый в строгий серый костюм с жилетом, Агло отвел меня в сторону, заботливо придерживая под руку, точно я был новичком-матросом в приступе морской болезни, и усадил на стул. Я машинально нашел сигарету, сунул ее в рот и закурил.

— Он был вашим другом? — участливо спросил капитан. Его приятный мягкий голос вызывал горячее желание исповедаться.

— Мы познакомились во Франции, в Нормандии. Он был в моем взводе. Радиотелеграфист.

— Макс Слоуван сказал, что вчера вы зашли сюда после очень долгого перерыва. По-моему, странное совпадение. Зашли поболтать со старым приятелем, и вот его застрелили.

Некоторое время мы пристально смотрели друг другу в глаза, потом он приподнялся на своем стуле, достал сигару и попросил прикурить. Затем вытащил из кармана маленький конверт.

— Это личные вещи потерпевшего. Ничего интересного. Невозможно понять, кто в него стрелял, за что и почему.

Он разложил на столе тощий бумажник, ветеранское удостоверение, пару мелков, мелочь, связку ключей и расписку на тридцать долларов с четкой подписью. Мне все это ни о чем не говорило.

— Как его убили? — спросил я.

— Одна пуля из оружия большого калибра. Похоже, тридцать восьмого, — ответил Агло и стал снова складывать содержимое в конверт.

— Когда?

— Примерно в полночь. Стреляли сзади. Ну и народ у нас в Филадельфии.

— Такой же, как и везде. А вы откуда к нам перевелись?

— Из Оклахома-сити. Фермеры выращивают зерно и коров. Умрешь со скуки, разве что какой-нибудь из них сойдет с ума и пристрелит кого-то.

Я слушал его рассеянно, глядя поверх плеча капитана на стол, за которым играл Джоуи, на разбросанные в беспорядке шары. Агло заметил, куда я смотрю, и с усилием, как и все толстяки, повернулся назад:

— Да, мне это тоже показалось странным. Профессиональные игроки обычно складывают шары в треугольник или размещают их у луз. — Он вновь повернулся ко мне и ответил на мой вопрос: — Меня сюда перевели, потому что в полиции не хватает сотрудников. Ну и я обрадовался — подумал, вот случится какое-нибудь занятное убийство, я смогу поймать крупного киллера и вернусь из Филадельфии не меньше, чем начальником полиции.

— Для начала вам надо сменить костюм, — заметил я.

Он усмехнулся:

— Вы, я вижу, за словом в карман не полезете. Расскажите, для чего вам вчера понадобилось встретиться с Позо. То есть, о чем вы беседовали, если не считать воспоминаний о военном прошлом?

— О моих личных делах, которые никого не касаются.

Агло небрежно смахнул сигарный пепел с костюма:

— Что ж, это ваше право. До тех пор, пока вам не предъявят ордер на арест, вы можете держать информацию при себе. Но запомните одно: может, я и не задержусь надолго в вашем городе, но найти подонка, который прикончил этого парня, — моя обязанность, и я не позволю никакому частному детективу устраивать тут вендетту.

— Вас обуревают благородные чувства, — пробормотал я. — Что до вендетты, то мне приходилось заниматься делами и похуже.

— Поберегите свое остроумие для тех, кто считает полицейских болванами, годными лишь на то, чтобы управлять транспортом на перекрестках. Вы, наверно, производите потрясающее впечатление на безмозглых дамочек. Они, кстати, наверняка ваши обычные клиентки. А вот ловить убийц — это занятие профессионалов, я хочу сказать, полицейских. Лучше выкладывайте, что знаете.

Наступило тяжелое молчание, потом я сдался:

— Ладно, капитан, пусть будет по-вашему. Одна моя клиентка заявила, что ее муж потерял сумку, которая ему не принадлежала. Я должен был найти ее, вот и все. Позо обещал помочь, и, возможно, его смерть как-то связана с этим. Может, и нет. Такое случается. Обещаю не мешать вам в расследовании, капитан. Но если вы не сможете найти убийцу Джоуи, то найти его станет делом моей жизни и чести.

— Ну, если вам никто не помешает сделать это. Жаль, что вы не попробовали себя в роде, мне кажется, когда вы разъяритесь, перед вами не усюит ни один бык.

— Да уж конечно.

Агло достал из жилетного кармашка старинные часы, посмотрел на них и вздохнул:

— Прощай, мой обед. Я тут с вами заболтался, а мне еще отчет печатать. Так и без ужина остаться можно! Поверьте, на голодный желудок работать совершенно бесполезно — теряешь чувство юмора.

Он встал и направился к дверям, а я остался сидеть, где был. Мои глаза не отрывались от нарисованного мелом контура тела, раскиданных шаров, от руки Джоуи, палец которой на них указывал.

Бильярдные шары обычно раскрашивают двумя способами: часть из них в полоску, а другие — в пятнышках. Всего их пятнадцать, включая шар номер восемь, который всегда черного цвета. Каждый шар имеет свой номер и покрашен в свой цвет. Я вытащил записную книжку и нарисовал, как лежали шары на столе, где умер Джоуи. В основной группе последовательно располагались шары 12, 9, 14, 3, 6, 7, 15, 1 и 4. Шары под номерами 3, 6 и 7, а также 1 и 4 лежали немного в стороне от прочих, примерно в пяти сантиметрах друг от друга. Что все это значило, я не знал, но, определенно, не существовало никакой игры, где бы использовалась такая комбинация.

## 22

Во второй половине дня небо, наконец-то, полностью очистилось, и засияло неяркое осеннее солнышко. Фейермонт-парк плавал в колоритах Тициана — золотисто-желтом и красном, но в моем офисе царил жуткая духота, и повсюду отчетливо обозначились слои пыли. Макс сказал, что Джоуи той ночью собирался сыграть партию, а для таких ночных игр игроки всегда тщательно отбирались, там практически не бывало случайных или незнакомых людей. Официально заведение Макса закрывалось в половине одиннадцатого, и именно в то время Макс позвонил, чтобы вызвать себе такси, и оставил запасные ключи от бильярдной Дожуи, который и должен был закрыть входные двери после игры. Когда Макс уходил, в зале не было никого, кроме Джоуи, в тот момент разговаривавшего по телефону. Когда на следующее утро Макс пришел на работу, он обнаружил двери бильярдной незапертыми, а ключи лежали в кармане Позо. Казалось, что ночная партия стала для Джоуи только предлогом для встречи с кем-то наде и без свидетелей.

С пулей 38-го калибра в животе Джоуи, наверное, умирал долго и мучительно, он ничего не мог поделать, истекая кровью на бильярдном столе,

ведь у него не было ног, чтобы попытаться дойти или доползти до телефона. Я уверен, что к смерти Позо, так же как и к ночной перестрелке возле итальянского дансинга, когда я ранил стрелявшего в меня человека, Ратеннер не имеет ни малейшего отношения. Еще я уверен, что Джоуи специально расположил бильярдные шары на столе определенным образом до того, как его ранили, — если бы он, умирающий, прикасался к ним после выстрела, на них обязательно остались бы следы крови.

Я поискал телефонный справочник, обнаружил, что его нет, и направился в соседний офис, где располагался Генрих Зофтиг, младший компаньон фирмы “Зофтиг и К<sup>о</sup>, бижутерия”, достойный звания самого скупого человека на нашей планете. По дороге я заглянул в окно, чтобы проверить, чем занимаются парни Ратеннера, приставленные им следить за мной. Они сидели в своей машине с откидным верхом и грелись на солнышке.

Я постучал в двери старины Зофтига и, не дожидаясь ответа, быстро вошел. Несмотря на свою внешность, Зофтиг был вовсе не таким старым, не более пятидесяти пяти. Высокий и согнутый, как хоккейная клюшка, кости и кожа, с головой, лысой, как яйцо, и неприятно желтым лицом, он стоял возле старинного бюро красного дерева, и на лице его змеилась противная улыбка. У окна сидела его матушка, уменьшенная и более толстая копия сына.

— Фон отсюда, шертоф сын! — заорал Зофтиг, увидев меня. Он всегда волновался при моем появлении, с тех пор, как один из моих клиентов прерывал меня к своей жене и так разбушевался, что я был вынужден стрелять ему в ногу. — Фы опять пришел, штопы стрелять? Тут мой матушка!

— Генрих, Генрих! — прошептала старушка. — Твое большое сердце!

— Когда фы здесь, фсегда неприятности, — не унимался Зофтиг. — Фон отсюда!

Миссис Зофтиг устало пожала плечами:

— Ему нужен телефонный справочник, Генрих. Дай ему, ум готтес виллен!

Дело было пустячное, но Зофтиг еще больше пожелтел от злости, пока искал для меня книгу:

— Фот. Фозьмите и уходите.

## 23

Солнце в моем кабинете уже не было таким ярким, и пыль теперь не так бросалась в глаза. Я сел за стол и на листке бумаги нарисовал бильярдные шары, как они лежали на столе рядом с Джоуи. Не могло быть сомнений, что он оставил для меня закодированное сообщение.

Самый простой код, который я знал, был буквенно-цифровой, а самое простое сообщение, которое мог оставить Позо, был номер телефона, и я решил начать с телефонной книги. Первый номер — 12, что соответствовало букве Л. Вторая цифра давала букву Н, третья — Г. В конце концов у меня получилось слово ЛИНГКФКОАДМ, и я понял, что не найду в телефонном справочнике абонента с такой фамилией, даже если нужный мне человек был родом откуда-нибудь из самой экзотической страны. В задумчивости я выпил немного виски и закурил, но тут в дверь моей конторы кто-то постучал. Я глянул на часы — четверть пятого.

Вошедший мужчина двигался с изяществом и небрежностью человека, привыкшего находиться в элегантном обществе. Загорелое квадратное лицо, копна волнистых, тщательно причесанных волос, блестящие карие глаза, тонкий изящный рот приятно улыбался.

— Меня зовут Тедди Холланд, — представился он и достал из бумажника визитную карточку. — Можно присесть?

На визитной карточке посетителя значилось только его имя и ничего больше.

— Прошу, мистер Холланд. Чем могу быть полезен?

Он еще раз приятно улыбнулся, сел на стул для посетителей и достал из кармана своего кашемирового пальто огромный портсигар. На левой руке Тедди Холланд носил крупный золотой перстень, и запонки на манжетах его рубашки также были большие и золотые.

— Я пришел по поручению одной вашей клиентки, Элейн Дамоне. Она бы сама вам позвонила, но ей пришлось неожиданно уехать по делам. Коротко говоря, Дайм, что касается дела с ее братом, Стентоном, то необходимость в вашей помощи отпала. Элейн надеется, что вы не сочтете, будто ее решение вызвано сомнениями в вашей профессиональной состоятельности. Дело это решилось само собой. Надеюсь, вы поймете.

— Я не стану зря переживать или забивать себе голову ненужными мыслями.

— Вот и прекрасно. Кстати, Элли... я хочу сказать, Элейн, попросила меня передать вам это. — Холланд достал из кармана пальто конверт. — Тут пятьсот долларов за пару дней вашей работы и в возмещение ваших расходов. — Он бросил конверт на стол, и тот упал рядом с бумагой, где я записал цифры, оставленные Джоуи. — Элейн также полагает, что этой суммы достаточно, чтобы обеспечить конфиденциальность. Она надеется, что вы не станете пытаться увидеться с ней и забудете, что вообще с ней встречались.

Я открыл конверт, из него плавно вылетели столларовые банкноты.

— Я не люблю бросать дело на полдороге, мистер Холланд, — сказал я. — Это непрофессионально и деморализует человека. Дела мои не то чтобы блестящи, но все-таки идут потихоньку. Если станет известно, что я отказываюсь от расследований, могут возникнуть осложнения.

— Ладно. Сколько вы хотите, чтобы закрыть дело?

— Я хочу сказать, что ваше объяснение меня не удовлетворило. Может, мисс Дамоне и послала вас с таким поручением, но оно мне не по нраву, и я вам не верю. Шантажисты никогда так просто не отказываются от вымогательства и не сдаются, пока их не сотрешь в порошок. Ваши деньги мне не нужны, мистер Холланд.

Пока я говорил, он медленно подходил ко мне, сжимая кулаки.

— Держитесь подальше от Элейн. В этом случае вы, может, доживете до пенсии. Если будете ей надоедать, я с вами разберусь. Кстати, Дайм, Элейн сказала, что вы очень заняты каким-то другим расследованием. Может, вам следует уделять больше времени этому другому делу? Извините, если я показался вам агрессивным. Мы все стали немного нервными из-за шантажиста.

Взгляд Холланда задержался на моих заметках, и я повернул листок так, чтобы он мог их прочесть.

— Любите загадки, Холланд? Я работаю сейчас над одним делом. Эти цифры — какой-то шифр. Они что-то означают.

Он изумленно округлил глаза:

— Да? Мне это ничего не говорит.

— Мне пока тоже. Наверное, цифры надо сложить, а не пытаться их как-то сгруппировать.

— Полагаете, это какой-то код?

— Скорее всего. Его придумал один мой друг, с которым мы вместе воевали в Европе. Он был радистом.

— Очень интересно, — заметил Холланд.

— Ну, что же, — сказал я решительно. — Вы вроде бы спешили.

— Да, да. Рад, что мы с вами договорились. Рад из-за Элейн, ведь она такая восхитительная женщина.

Холланд попрощался и ушел, а я вернулся к столу и снова принялся за работу. Прежде всего взял деньги Элейн Дамоне, положил их в конверт, на котором написал адрес Филадельфийской Ассоциации ветеранов и наклеил марку с портретом Рузвельта. Затем открыл телефонную книгу на адресе Экард-авеню, Абингтон.

Код Джоуи был довольно простым — надо лишь отделить первую цифру и сложить три цифры в середине. Получилось “Абингтон, М”. “М” могло значить что угодно, но справочник давал мне два варианта — мотель и мясные поставки.

Я зарядил пистолет, на случай, если дела примут скверный оборот, взял плащ, на случай, если пойдет дождь, и, готовый, таким образом, ко всему, что только могло случиться, покинул свой офис.

## 24

Субботним вечером машин в городе мало, и я мог выжать из своего старенького “паккарда” все, на что только он способен. Уже почти совсем стемнело, когда я подъехал к металлическим воротам мотеля. Возможно, когда-то, лет тридцать назад, это было шикарное заведение, в котором останавливались состоятельные люди со вкусом, но теперь все казалось облезлым и разваливающимся. Подъездная дорожка, исчерченная следами шин и вся в масляных пятнах, подводила к квадратному зданию, от которого влево и вправо отходили два крыла с одинаковыми номерами для желающих тут остановиться.

Я повернул вправо и припарковал машину у разросшегося куста одичалой розы. Откуда-то доносилась тихая музыка. На случай внезапного вынужденного бегства я развернул “паккард” на выезд и оставил ключи в замке зажигания, потом вышел и направился к главному зданию. Пройдя мимо почти пустого бассейна, на дне которого сидели многочисленные лягушки, я добрался до входной двери, возле которой сидела женщина лет под пятьдесят с пустым стаканом в руке.

— А, красавчик! — приветствовала она меня голосом зычным, точно у циркового зазывалы. — Иди сюда, иди к Мейзи Уэбстер! Выпьешь пива? Или хочешь виски?

Комната, в которую она меня затащила, походила на Мейзи Уэбстер, как иногда собаки ходят на своих хозяев. Нечто среднее между баром и

лачугой. Она больше всего напоминала склад забытых и брошенных вещей. На старом граммофоне крутилась пыльная пластинка. Женщина усадила меня на диван среди массы линялых подушек и сказала:

— Не расслышала, как тебя зовут?

— Майк Дайм.

— Красивое имя. Налю тебе чего покрепче. Люблю музыку, завожусь от нее. — Она доковыляла до буфета, извлекла из него наполовину пустую бутылку бурбона и налила мне в свой бокал.

— Раньше я была балериной, — продолжила она. — Мое имя гремело повсюду, от Нью-Йорка до Гонолулу. В искусстве танца с Мейзи Уэбстер мало кто мог сравниться. Ну давай, пей, красавчик. Еще налью, ты мне нравишься.

— Я ищу одного человека, который мог здесь останавливаться. Это было не так давно.

— А ты из полиции! — фыркнула Мейзи Уэбстер.

— Я частный детектив. Человек, которого я ищу, скорее всего ранен. Может, даже опасно ранен. Он наверняка назвался фальшивым именем. Можно взглянуть на ваш регистрационный журнал?

— Эх, — ответила она, — такой симпатичный парень, и вдруг из полиции, надо же. Ты выпей еще, потом мы потанцуем. — Похоже, она оказалась орешком покрепче, чем я рассчитывал.

— Проблема в том, что у меня мало времени, — заметил я терпеливо.

— Что значит время в компании друзей! — воскликнула она и, обхватив мое лицо руками, запечатлела на нем пахнущий джином поцелуй. — Давай, снимай пиджак и потанцуем.

Мне следовало действовать быстро. Я легко толкнул ее, и она рухнула на диван лицом вниз, как узел с тряпьем. Руки и ноги ее безвольно повисли, и она мгновенно заснула. На всякий случай я стер свои отпечатки пальцев со стакана, поставил его на пол и направился к столу, пытаюсь отыскать в этом бедламе журнал регистрации посетителей. Чудо, но я его нашел в одном из ящичков, набитых старыми газетами, фотографиями и прочим мусором.

## 25

Из регистрационного журнала мотеля Абингтон нельзя было извлечь много информации — как правило, тут останавливались на ночь пары по фамилии Смит или Джонс. За последние два дня появилось только двое новых постояльцев — отец Дули О'Ханран в восьмом номере и некто с неразборчивой фамилией в номере девятом. Остальные номера, похоже, пустовали.

Некоторое время я постоял возле бассейна, наблюдая за комнатами 8 и 9. В комнате священника было темно, в другой горел свет. Но это еще ничего не значило. Я осторожно подобрался к двери девятого номера, прислушался, но ничего не услышал. Тогда я решил заглянуть в окно — между шторой и подоконником имелось пространство в несколько сантиметров.

Единственное, что удалось разглядеть, — кровать, которая стояла как раз у окна. Но и это было не мало, поскольку на кровати лежал тот, кого я



искал, и читал газету. Из-за газеты я не мог рассмотреть его лица, но зато хорошо видел забинтованное левое плечо.

Я осторожно достал пистолет, снял его с предохранителя и принялся ждать. Лежащий мужчина дочитал газету, потянулся за бутылкой. Но рана стесняла его движения, и ему пришлось отложить газету, чтобы налить себе.

Я не рассмотрел человека, которого ранил в итальянском дансинге. Но сейчас у меня появилась такая возможность. Я видел его в бильярдной Макса Слоувана, когда заходил поговорить с Джоуи. Это был мелкий мошенник и бездельник по имени Олли Кеппард. По-прежнему наблюдая за ним через окно, я протянул руку и постучал дулом своего пистолета в дверь его номера. Кеппард подскочил на постели и сунул руку под подушку, доставая из-под нее пистолет такого же калибра, что и мой.

— Одну минуту, — крикнул он. — Кто там?

— Отец О'Ханран, — сказал я самым сердечным тоном, старательно имитируя ирландский акцент.

— Кто? — удивился Кеппард.

— Священник из соседнего номера.

— Что вам нужно? Я занят.

— О, сущие пустяки. Всего лишь небольшое одолжение.

Я услышал, как в замочной скважине поворачивается ключ, затем дверь слегка приоткрылась. Я высоко поднял левую ногу и толкнул дверь. Удар отшвырнул Кеппарда в противоположную сторону. Стукнувшись о стену, он выстрелил, но пуля попала в потолок, осыпав его штукатуркой. Я кинулся вперед и ударил Кеппарда ногой по руке, в которой было оружие. Он заскулил от боли и страха.

— Ты меня помнишь? — спросил я и ударил его в живот. — Майк Дайм, ищейка с Такер-стрит.

Кеппард повалился набок, упал на раненое плечо, из которого тотчас полилась кровь, быстро проступавшая сквозь бинты, обругал меня сукиным сыном и потерял сознание.

Я сел в кресло и стал ждать, когда он придет в себя. Наконец Кеппард пошевелился, застонал и открыл глаза. Я швырнул ему полотенце, и он ослабленными движениями столетнего старца попытался остановить кровотечение. Потом снова назвал меня сукиным сыном.

— Зачем надо было убивать Позо? — спросил я.

— Он слишком много знал, — ответил Кеппард, задыхаясь. — Это связано с сумкой Ратеннера.

— Выкладывай все, что знаешь, — посоветовал я и протянул ему зажженную сигарету.

Он поерзал, чтобы устроиться поудобнее, закурил и закашлялся, выплевывая кровь.

— Однажды вечером, несколько недель назад, я был у Слоувана, ко мне подошел этот тип и спросил, не хочу ли я, чтобы в моих карманах завелось кое-что кроме пыли и мусора. Ну, я ответил, что, конечно, хочу, и через день мне позвонили и велели спереть эту самую сумку. Дело казалось дурацким, но обещали хорошо заплатить.

Я должен был отправиться на вокзал в камеру хранения и забрать сумку. Потом позвонить по телефону и спросить, что делать дальше. Я позвонил, и мне описали двоих, за которыми я должен был следить. У меня своя система. Я вожу старое такси, с номером и лицензией, все как положено, это подарок от одного придурка из мэрии, который мне обязан за услугу. Так что я могу следить за кем угодно, а на меня никто не обращает внимания. План был такой — здоровый громилка напился и все время бегал в туалет, поэтому я хотел стащить сумку. Но маленький сторожил ее, и я никак не мог к ней подобраться. Наконец в одном баре, “Три Сайкс”, на меня нашло вдохновение. Сумку все время носил толстый, маленький ходил с пистолетом. Единственное место, где я мог подменить сумку, был туалет. Тут и появился этот тип.

Вы не поверите — три сумки, и все абсолютно одинаковые. Невероятно. Такое совпадение.

Кеппард замолчал и опять закашлялся, поэтому я сам продолжил рассказ:

— Ты видел, как Саммерс взял сумку, которую должен был взять ты. Ты подождал его у выхода, подъехал к нему на своем такси и предложил подвезти. Так получилось, что ты довез его до гостиницы “Ма-агз”, подождал, пока он заснет, и украл сумку. Прекрасно. Но потом ты, заглянув в сумку, понял, что слишком мало получишь за свою работу. В отличие от бедняги Саммерса, озабоченного только своими денежными затруднениями, ты имел некоторое представление, откуда взялись эти деньги, и понимал, что они скверно пахнут. Поэтому и задумал двойную игру. Ты видел, что Джоуи играл в бильярд с Французом, может, видел, как тот тип, что предложил тебе работу, разговаривал с Французом. Как бы то ни было, ты позвонил боссу и начал угрожать ему. Прекрасно. Никакой полиции, ясное дело. Можно диктовать свои правила игры.

Лицо Кеппарда вдруг резко потемнело. Он что-то сказал, но я не расслышал, что именно, потому что в этот момент что-то разорвалось у моего уха. Еще несколько секунд мое сознание пыталось выплыть из охватывавшего меня мрака, но затем я почувствовал, что тону.

## 26

Я лежал на ковре с пистолетом в руке. Это был мой пистолет, и из него недавно стреляли. С трудом поднявшись, я доковылял до постели. И при виде того, что они сделали с Олли Кеппардом, меня охватила тошнота. Что ж, старый трюк, и сцена была разыграна прекрасно. Теперь любой полицейский, оказавшийся на месте преступления, немедленно отправит меня на скамью подсудимых, присяжным даже не нужно удаляться на совещание, доказательств моей вины хоть отбавляй. А полиция уже была поблизости — я слышал завывание сирен.

Пришлось спрятать пистолет и тихо выбраться из комнаты. Мейзи Уэбстер стояла возле бассейна со стаканом в руке и вглядывалась туда, где в темноте уже показались маячки первых полицейских машин, спешивших к месту убийства.

Я смотрел, как тяжелые полицейские машины, одна за другой, въезжали во двор мотеля, как из них выходили деловитые люди в форме, как размахивала руками Мейзи Уэбстер, приглашая их пройти и выпить с ней стаканчик. В моем распоряжении было минуты три, не больше, чтобы вбежать в номер священника.

В стенном шкафу я обнаружил круглый отложной воротник, носки, чистое белье и — о, счастье! — рясу. Она была размера на три больше, чем требовалось, но все же могла спасти меня. Полицейские кричали в громкоговоритель, что все должны выйти из дома с поднятыми руками, иначе они открывают огонь. В туалете, выходящем на задний двор, одним из ящиков письменного стола я разбил стекло окна, потом успел нахлобучить на голову шапочку отца О'Ханрана, после этого упал на пол и закричал:

— Не стреляйте, прошу вас! Я — отец О'Ханран. Ради Бога нашего, Иисуса Христа, не убивайте беззащитного священника! Какой-то сумасшедший взял меня в заложники, но теперь несчастный убежал через задний двор. Имейте сострадание ко мне ради спасения ваших бессмертных душ!

Выстрелы прекратились, и наступило продолжительное молчание. Как видно, полицейские удостоверились, что номер действительно занимает священник, потому что я услышал, как мегафон приказал каким-то Карнахаму, Вексу и Блютеру отправляться на задний двор для подкрепления.

— Святая Мария, мать Иисуса, — опять завопил я. — Опустите ваше оружие, прошу вас. Я сейчас выйду.

— Оставайтесь на месте, отец, — посоветовал мегафон. — Тут поблизости от вас псих-убийца. Не двигайтесь, пока мы его не схватим.

Я слышал возбужденные голоса, доносившиеся с заднего двора, потом раздался выстрел, и свирепо залаяла собака. Я подошел к двери и распахнул ее. В лицо мне ударил яркий луч света от полицейского прожектора.

— Я же вам сказал оставаться на месте! — закричал полицейский.

— Знаю, знаю. Но мой христианский долг — помочь несчастному, за которым вы охотитесь. Все мы грешники и все мы дети Божья, все овцы стада его, сын мой.

Я медленно вышел, повторяя все банальности, которые только приходили мне в голову. Луч прожектора покинул мое лицо и теперь метался по кустам и деревьям, окружавшим мотель. Я осторожно двигался вдоль бассейна, приближаясь к своему "паккарду", и именно в этот момент натолкнулся на Мейзи Уэбстер.

— Эй, я вас где-то уже видела, — заявила она.

— Разумеется, я — отец О'Ханран и живу здесь, — бодро ответил я, стараясь побыстрее проскользнуть мимо.

— Никакой вы не отец О'Ханран, — сказала она, отпивая из стакана, с которым, похоже, вообще никогда не расставалась. — Но где-то я вас видела.

И вдруг по ее возбужденному лицу проскользнула тень воспоминания, рот распахнулся с выражением полного изумления, которое удвоилось, когда я с силой толкнул ее. Послышался звон разбитого стекла, глухой всплеск, и наступила полная тишина.

— Иисус милостивый! — завопил я. — Эта дама упала в бассейн. На помощь, дети мои. На помощь!

По-моему, полицейские все еще спорили, кому из них лезть в бассейн, чтобы выловить миссис Уэбстер, когда мой “паккард” въехал в город.

## 27

Над стройкой, где я за день до того встречался с Ратеннером, поднимался густой дым. Трое рабочих неподвижно сидели на корточках возле костра, в котором горели покрышки. В их испитых лицах оживления было не больше, чем в каменных лицах статуй, они покорно и равнодушно, точно запертые в клетках звери, грелись у дымящего костра. Я подошел к огню и тоже протянул руки, чтобы согреться. Когда мне захотелось закурить, я сунул руку в карман, где обычно держал зажигалку, но вместо нее нашел бумажник. Бумажник я обычно ношу в другом кармане, поэтому достал его, чтобы удостовериться, все ли на месте. На месте было все, кроме фотографии, которую я взял у Француза. Этого и следовало ожидать.

Пока я исследовал свои карманы, один из рабочих сунул в костер палку, и мы все прикурили от ее раскаленного конца. Я посмотрел на часы. Ровно восемь. Сутки, данные мне Ратеннером на поиски сумки, истекли. Сумки я не нашел, но у меня было кое-что получше, оставалось только получить ответ еще на один вопрос.

— Вы здесь давно, парни? — спросил я рабочих.

Последовало долгое молчание, потом один ответил:

— Мы тут всегда были.

Другой добавил:

— Целую вечность.

— И даже еще больше, — отозвался третий.

Ратеннер выглядел именно так, как я его себе представлял. Он сидел за столом на деревянном стуле возле лампы без абажура, в комнате на последнем этаже склада. На этот раз он был один — никаких парней с пистолетами. Я присел рядом и посмотрел ему в лицо. Безобразный шрам, пересекавший горло, — след от операции — не смог бы помешать мне узнать его, да и глаза были все те же, жесткие и злые. Правда, он похудел и как-то весь усох, но тем не менее Уоррен Ратеннер и без блондинки и без бассейна, несомненно, оставался человеком, изображенным на фото, найденном мной на теле Француза. Я о многом хотел бы поговорить с Ратеннером. Но он вряд ли бы мне ответил, по крайней мере я никогда еще не встречал человека, который бы мог разговаривать с такой дыркой в голове, какая виднелась на его виске. Края раны были слегка обугленными, это означало, что в него стреляли с близкого расстояния и, судя по размеру раны, из пистолета небольшого калибра. Поборов некоторое отвращение, я дотронулся до щеки Ратеннера. Она была ледяной, значит, прошло несколько часов, как он умер.

Я растегнул пиджак убитого и достал его бумажник. Внимательное изучение содержимого не дало мне никакой новой информации, но в его карманах я обнаружил связку одинаковых новеньких ключей, которую взял себе. Потом я простился с Уорреном Ратеннером, погасил свет и ушел.

Если повезет, еще успею повидаться с Элейн Дамоне до того, как она покинет город.

## 28

Элейн была в своей очаровательной розовой спальне и аккуратно, но быстро складывала вещи в два больших и тоже розовых чемодана, лежавших на кровати. Мое появление ее изумило — прекрасные миндалевидные глаза Элейн вспыхнули, и она замерла.

— Уезжаем? — спросил я.

— Майк Дайм! — воскликнула она. — Какого черта вы тут делаете? И как вы сюда попали?

Я швырнул на постель ключи, найденные в кармане Ратеннера, ее взгляд следил за траекторией их полета, пока, легко звякнув, они не исчезли среди розовых простыней. Единственное кресло, стоявшее в спальне, было завалено платьями Элейн, но я уселся в него, не снимая всех этих модных и немыслимо красивых тряпок.

— И давно вы знаете? — спросила Элейн. В ее руках неизвестно откуда появился маленький “вальтер” тридцать второго калибра. Ствол пистолета немного почернел, возможно, после выстрела в Ратеннера. — Не пытайтесь достать оружие. Держите руки так, чтобы я могла их видеть.

Я послушался, но спросил:

— Можно приговоренному закурить последнюю сигарету?

Она подняла ствол “вальтера” и нацелилась мне прямо в глаз:

— Здесь еще пять пуль, и мне достаточно одной, чтобы убить вас. Можете покурить, если хотите. Но объясните кое-что, Дайм. Мне казалось, что мой план безукоризнен, но, похоже, я в чем-то просчиталась. Что вам удалось узнать?

Я медленно достал сигарету. Зажег ее и затянулся. Дым защекотал ноздри, но я не почувствовал себя от этого лучше. Вероятно, Элейн была задумана природой как женщина и имела все возможные женские прелести, но ее душа, или сердце, как бы это ни называлось, были чистый камень. Мои шансы выжить зависели теперь от ловкости языка и от того, насколько долго ей захочется слушать мою историю.

Элейн пододвинула ногой скамеечку, стоявшую у постели, и села напротив меня.

— Пустая рамка для фотографии в вашей гостиной навела меня на размышления, — начал я. — Это и была ваша единственная ошибка, потому что вы необыкновенная женщина, Элейн. Вас отличает удивительная и безумная безукоризненность. Трудно представить, что вы держали в гостиничной рамке без фотографии. Тогда я не знал, почему фотографию вынули. Но ведь и вы, когда подобрали меня на шоссе после аварии, не могли в точности знать, что я тот самый детектив, с которым хотел поговорить Ратеннер. Однако когда вы обыскали мои вещи, прежде чем отправить их в прачечную, то нашли у меня фото вашего босса и блондинки. — Я поискал глазами пепельницу, чтобы стряхнуть дым с сигареты. Не нашел и стряхнул его на пол.

— Продолжайте, — сказала Элейн. — Мне очень интересно.

— Когда я сидел в вашей гостиной, то от нечего делать пролистал книгу, лежавшую на пианино, и нашел в ней ту фотографию, которую вы вынули из рамки и убрали с глаз долой. Я сразу понял, почему. Разумеется, она вас раздражала. Наверное, вам было противно, когда он до вас дотрагивался. Ко мне прикасались его парни, и мне тоже было тошно.

— Но в историю со Стентоном Дамоне вы поверили, не так ли?

— О Стентоне Дамоне мы поговорим позже. Сначала объясните, почему другая фотография Ратеннера оказалась у Француза.

— Вы простачок, Дайм. Симпатичный, но простачок. Блондинка — сестра Француза, Уоррен одно время думал, что влюблен в нее.

— Вы неплохо устроились в жизни, Элейн. У вас был Ратеннер, готовый тратить на вас огромные суммы, а в его отсутствие рядом находился очаровательный Тедди Холланд. Но у вас возникли грандиозные замыслы, нечто более великое, чем просто слоняться у бассейна и развлекать Ратеннера. Вы знали, что после каждой сделки состояние вашего босса удваивается, и вот наконец решили нанести удар. Вы уговорили Холланда впутаться в это дело, да он и рад был таскать для вас каштаны из огня. Холланд нанял мелкого жулика по имени Кеппард, чтобы он украл сумку с деньгами, оставшимися после ликвидации всей аферы и убийства страхового агента Киркпатрика. Но все пошло не так, как задумывалось. Кеппард не смог незаметно завладеть сумкой, а позже, когда он узнал о ее содержимом, то начал вас шантажировать. Тогда вы нашли меня.

История близилась к концу, но ничего такого, что могло спасти бы меня, не происходило. Я завидовал Шехерезаде, потому что и мне хотелось, чтобы мой рассказ продолжался тысячу и одну ночь, пока не подоспеет хоть какое-нибудь спасение.

— У Кеппарда апнегит рос не по дням, а по часам. Вы рассказали о шантаже, но жертвой его были вы сами, Элейн. Вашего брата Стентона вы придумали, так же, как придумали и себя самое. Нет никаких Дамоне. Нет ни в Бразилии, ни в Перу, ни в Сальвадоре.

— Да, но я-то существую, — заметила она. — Я вполне живая. А теперь мне пора.

— Я еще не закончил, — поспешил остановить ее я. — Ты послала ко мне Холланда, потому что решила, что мне не удастся отыскать сумку. Холланд оказался достаточно умен, чтобы заметить оставленный мне Джоуи Позо шифр, который я в тот момент разгадывал, и он отправился вслед за мной в мотель в Абингтон. Там он организовал мне неприятности. Ясно, что это был твой человек, а не кто-то из парней Ратеннера. Потом я подумал, что Холланд забрал сумку и смылся с ней из мотеля, а ты тем временем убивала Ратеннера. Когда сумка оказалась у тебя, ты прикончила и Холланда.

— Незаменяемых людей нет, — сказала Элейн и вновь прицелилась в меня из своего "вальтера". — Кстати, это Тедди убил Ратеннера, а не я. Я всю ночь мирно, как младенец, спала в своей постели. Но, за исключением небольших деталей, все, что ты рассказал, правда. Черт бы тебя побрал, Майк Дайм, ты все-таки все разнюхал. В другой жизни, пожалуй, стоит познакомиться с тобой поближе. Твои умственные способности вы-

ше, чем я ожидала, и ты заслуживаешь больше, чем ранняя и нелепая смерть. Но такова уж, мистер Дайм, твоя судьба. — Она сняла предохранитель и нажала на курок.

## 29

В прекрасном розовом ковре Элейн Дамоне образовались две безобразные дырки. Если бы Элейн так не увлеклась своим монологом о судьбе, она бы наверняка услышала Тедди Холланда, который на четвереньках подползал к дверям спальни, пока она говорила. Но она услышала только выстрелы из пистолета Тедди, пули которого отбросили ее на середину комнаты, и она, все еще нажимая на курок своего “вальтера”, чье дуло теперь было направлено в пол, буквально упала мне на грудь. Элейн умерла, изумленно глядя на меня своими удивительными черными глазами. Я притих, ожидая новых выстрелов, но Холланд уже больше никогда не смог бы стрелять в людей. Он лежал, вытянувшись на полу, вложив в последние выстрелы все остатки своей уходящей жизни. Элейн действительно считала, что незаменимых людей нет и что ей хватит одной пули, чтобы разделаться с любым из нас, но тут она просчиталась.

Я наклонился над Элейн и закрыл ей глаза. Возможно, я также поцеловал ее, не помню. Холланд подоспел вовремя. Когда я шел в спальню Элейн, то видел его в гостиной. Там, где Элейн выстрелила в него и оставила умирать. Он был еще жив, когда я проходил мимо, и его тридцать восьмой калибр лежал с ним рядом.

Я почувствовал, что устал. Было уже десять утра, так что можно побеспокоить полицейское управление. Набирая телефонный номер, я другой рукой перебирал вещи, которые Элейн успела сложить в чемодан, и увидел сумку, из-за которой началась вся эта история. Теперь она вызывала у меня странное чувство отвращения, мне даже не хотелось дотрагиваться до нее. Я вытащил из чемодана Элейн другой предмет — старую фотографию в массивной рамке: многочисленное крестьянское семейство, все облачены в черное и торжественно застыли, позируя фотографу. Одиннадцать детей стояли строго по росту, на первом плане. Среди них, где-то посередине, я рассмотрел ту, что лежала сейчас на полу у моих ног.

Телефон полицейского участка почему-то не отвечал, но меня это даже обрадовало. Я ни с кем не хотел разговаривать, разве что с какой-нибудь сердобольной женщиной, которая бы меня пожалела. Поэтому положил фотографию крестьянского семейства возле тела Элейн и вышел из ее квартиры, громко хлопнув дверью. ■

*Перевод с английского Елены СТЕПАНОВОЙ.*

КУР





# БЕ

## Лилия БАЙРАМОВА

Обычно про великих людей принято говорить, что они опережают свое время, но про Курбе хочется сказать наоборот — он запоздал со своим рождением. Кажется, вообще, он был случайной фигурой в XIX веке — веке рационализма и буржуазности. Его место скорее среди великих и неистовых характеров Высокого Возрождения, чем в хорошо и надежно отлаженном государственном механизме Франции времен Второй Империи.

Гюстав Курбе родился 10 июня 1819 года в маленьком местечке Орнан на берегу реки Лу в юго-восточ-



ной области Франции. Если посмотреть на фотографии окрестностей Орна на или на работы самого Курбе, который всю жизнь обожал писать родные места, то первое, что бросается в глаза, — какая-то дикая, необузданная красота этого экзотического края, в которой чудятся отголоски чего-то первобытного. Водопады, пещеры, дикие утесы и скалы, дремучие чащи: ничего успокоившегося и лирического, ничего такого, чтобы располагало к лени и тихим сентиментальным размышлениям, наоборот, здесь все словно вздыблено и призывает человека к борьбе и геркулесовым подвигам. Эта дикая первобытная красота и деревенская вольница, когда можно на целый день убежать в леса и поля, не докладываясь никому и принадлежа только себе, и воспитали характер Курбе — независимый и гордый. Да еще семья — полукрестьянская, полубуржуазная: отец, мать, три сестры и дед с бабушкой — простые и малообразованные люди; но крепко стоящие на земле и с ясным взглядом на вещи. От них Курбе унаследовал душевное здоровье, оптимизм, прямоту и демократичность. Его любимый дед Жан-Антуан Удо любил повторять ему: “Шагай прямо и кричи громко”, и вся жизнь Курбе, так и не научившегося в Париже тонкой дипломатии интриг, но зато всегда любившего громко заявлять о себе, была почти буквальным воплощением этого простого и действенного принципа.

Отец Курбе мечтал сделать из сына интеллигента — человека доходной и уважаемой профессии: юриста или чиновника. Он отдавал его то в местную семинарию, то посылал в колледж, но лишь напрасно и попусту тратил время. Упрямый и необъезженный характер Курбе отказывался подчиняться правилам школьной дисциплины, а его ясный, крестьянский ум совершенно не годился для восприятия всяческих премудростей. Еще не зная, что станет художником, он бился за свободу с упрямством необъезженной лошади и в конце концов победил. В 1840 году отец посылает его к родственнику в Париж учиться праву, но скучные лекции оказались невыносимы для молодого Курбе. Тогда отец уступает его созревшему к тому времени желанию стать живописцем, а Курбе на всю жизнь сохраняет презрение к книжной схоластике и учености и до конца дней, словно смеясь над всеми правилами и учителями мира, пишет письма с чудовищными орфографическими ошибками. Кажется, во всем, даже в самых ничтожных мелочах, он отстаивает свое право — считаться только с собою и ни с кем другим.

Учиться живописи традиционно, то есть посещать какую-нибудь мастерскую академического толка и проходить весь курс обучения, оказалось тоже не для него. Его живой и слишком независимой натуре претила скука и омертвелость академической науки, и он выбрал путь гораздо более доступный и дешевый — путь самообучения. Когда его спросили, как он научился писать, Курбе ответил: что “Очень просто. Я был беден, а модели стоили дорого. Однажды я положил белую салфетку на ночной столик и на нее поставил белую вазу. Белое на белом, все трудности живописи. Разместив таким образом предметы, я постарался их передать. Я писал по крайней мере пятьдесят раз. На пятидесятый получилось”.

Отец бомбардировал его нравоучительными письмами, опасаясь, что Париж собьет сына с толку и развратит. Гюстав, оставшись без родительской опеки, проявил просто редкостную выдержку и характер: он вставал



*Мадам Боррю, или дама в черной шляпе. 1863.*

каждый день в 5 утра и работал как каторжный. Нередко вместе с приятелем выбирался в Лувр, где с удивительным апломбом и нахальством провинциала смеялся над “скучным луврским старьем”, к коему причислял всех итальянцев и фламандцев эпохи расцвета, а любовался грубоватым, сильным реализмом испанцев и голландцев.

Через несколько лет строгой и аскетической жизни, упорного одинокого труда и недолгих поисков самого себя он пишет серию великолепных автопортретов. Уверенность и сила чувствуются и в гордой посадке его головы и в слегка вызывающей позе. Однако это вовсе не пустое чванство светского красавчика и не глупая самовлюбленность ограниченного мещанина. Просто счастливое осознание собственной силы и призвания. Особенно же хорош и классичен знаменитый “Человек с кожаным поясом” — автопортрет в духе старых испанских мастеров. В нем есть вкус и мера, аристократизм и благородная сдержанность. Как точно, например, и с какой аристократической изысканностью и щегольством он komponует светлые пятна рук и лица на темном фоне холста, какой скрытой внутренней энергией веет и от его затененных глаз и от очень мужского и сильного жеста левой руки, держащейся за кожаный пояс.

В марте 1844 года Курбе посылает наудачу свой первый автопортрет в Салон — единственное место в Париже, где тогда выставлялись работы живописцев, и к его великой радости — портрет принимают! “Моя картина повешена в почетном зале, — торопится он сообщить в Орнан, — предназначенном для лучших картин.” В Орнане это известие встречают с шумным восторгом. Отныне и надолго Курбе становится местным кумиром, с будущим которого связываются самые лучезарные надежды. Сам же он, окрыленный первым успехом, готов бесстрашно штурмовать парижский Олимп и работает как каторжанин. Увы, действительность оказывается сложнее его ожиданий. “Ничего нет на свете тяжелее, — жалуется он родным, — чем заниматься искусством, особенно когда его никто не понимает. Женщины хотят портретов без теней, мужчины хотят выглядеть по-воскресному. Нет способа выйти из положения. Лучше вертеть колесо, чем зарабатывать деньги подобными вещами...” В 1845 году Курбе посылает в Салон уже пять вещей, но из них принимают только одну, а в следующем проходит лишь одна из восьми, да и ту вешают под потолком. Курбе вне себя от ярости, он проклинает “кучу старых дураков”, которые сидят в жюри и “душат молодежь”, но продолжает упрямо гнуть свою линию.

Вскоре он отправляется в Голландию по приглашению одного коллекционера, купившего в Париже его работы. Голландия для него — прежде всего Рембрандт и старые голландцы, знакомые еще по Лувру, и он счастлив увидеть их вновь, но в полном объеме. “Я в восторге от того, что уже видел в Голландии, — пишет он родным, — побывать там действительно необходимо художнику. Такая поездка дает больше, чем три года учения.” В Париж он возвращается в самое горячее время, в дни революции 1848 года, когда свергли Луи-Филиппа и провозгласили республику. Несмотря на некоторую наследственную симпатию к бунтам (его любимый дедушка Жан-Антуан Удо был революционером), Курбе остался равнодушным к перевороту. Лишь жестокое подавление июньского восстания 1848 года выводит его из некоторого оцепенения и заставляет внимательнее оглядеться во-

круг. "Это самое страшное зрелище, которое можно себе представить, — пишет он по поводу восстания. — Мне кажется, что ничего подобного не было во Франции, начиная с Варфоломеевской ночи."

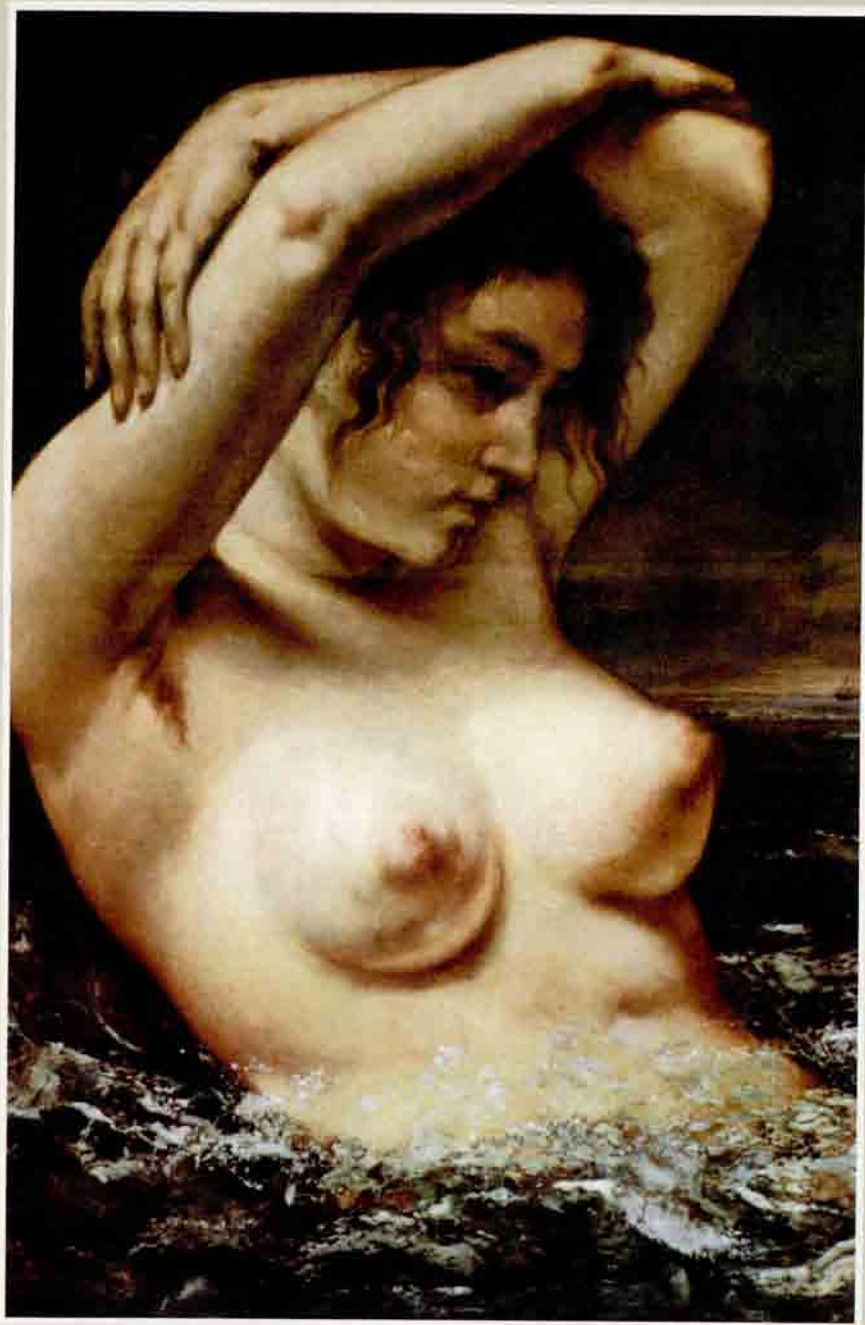
Революция подарила Курбе два интересных знакомства: с поэтом Бодлером и философом Прудоном. Муза поэзии была не в особой чести у Курбе. "Писать стихи, — говорил он, — бесцельно, изъясняться иначе, чем все — это попытка сойти за аристократа." Что, тем не менее, не помешало ему приютить Бодлера у себя в ателье, скорее из сочувствия к нему самому, чем к его литературному творчеству. "В углу набросали разное тряпье, — вспоминал их общий приятель Шанфлэри, — сверху положили две простыни, и постель готова... С этого момента у поэта появилось пристанище. Пока один писал, другой сочинял рифмы. Долгие сеансы заканчивались за доброй кружкой пива, принесенной из ближайшей пивной. Единственная вещь, за которую реалист упрекал Бодлера, — злоупотребление опиумом." Здоровяк Курбе, обожавший посидеть в веселой компании друзей за кружкой пива, и меланхолик Бодлер, "наивный гигант" и утонченный эстет, были настолько разные и раздражающе чуждые друг другу, что вскоре расстались. Однако их недолгая дружба принесла свои отрадные плоды: известный портрет Бодлера кисти Курбе — поэт сидит в мастерской и сосредоточенно читает толстую книгу. Правда, несмотря на поразительное сходство с оригиналом, портрет Бодлеру не понравился, и, возможно, именно это послужило причиной размолвки между ним и художником.

Время после революции, с 1849 до середины 50-х годов, — время наивысшего расцвета в творчестве Курбе, когда он создал самые известные и самые большие композиции. Еще в 1845 году он писал: "Маленькие картины не составляют репутацию. Надо, чтобы я написал к следующему году большое полотно, которое бы сделало меня по-настоящему известным. Я хочу все или ничего. Маленькие картины — далеко не все, на что я способен. Я смотрю на вещи шире и дальше, ясно одно — по истечении пяти лет я должен иметь имя в Париже. Середины быть не может, и я работаю для этого". Каждый молодой провинциал, приезжавший в столицу, мечтал о том же самом — завоевать мир и сделать свое имя знаменитым, но далеко не у каждого это получалось. Курбе сумел осуществить свои самые смелые фантазии на год раньше намеченного им срока. Осенью 1848 года он едет в Орнан, чтобы "набраться сил", и там же, в начале 1849 года, создает свое первое крупное полотно "Послеобеденный отдых в Орнани". Несмотря на некоторую обыденность и прозаичность названия и, следовательно, темы: это всего лишь отдых, да еще и после обеда, и на почти программно заявленный реализм — писать только то, что видишь, ничего не выдумывая и не сочиняя, это картина — чистейшей воды поэзия. Здесь и прелесть родного очага, и очарование вечернего часа, и музыка, которая оформляет весь уютный вечер, задавая ему нужный тон.

Когда молодой приятель Курбе, критик Шанфлэри, впервые увидел эту картину у него в мастерской, он воскликнул: "Почему вы еще не стали знаменитым при таком редком, таком замечательном таланте? Еще никто никогда не писал так, как вы!" "Верно! — отозвался художник с мужицким акцентом обитателя Фран-Конте. — Я пишу как Бог!" "Послеобеденный отдых в Орнани" был выставлен в Салоне в 1849 году среди прочих девяти ра-



Любовники в поле. Фрагмент. 1844.



*Девушка в волнах. 1866.*



*Рыбачие подгни, 1865.*



*Послеобеденный отдых в Орнани, 1849.*



бот Курбе и, несмотря на патриархальный сюжет, вызвал нечто вроде сенсации. И не удивительно. После лживой патетики, риторики и нагромождения условностей в картинах академистов, этот простой и безыскусный кусочек правды, высказанный с большой силой чувства и искренности, казался чем-то поразительно новым и необъяснимым по силе производимого им впечатления. Оказалось, что правда, не приукрашенная никаким лихо закрученным сюжетом и условно понятой красотой, правда сама по себе — непринужденная и обыденная, может действовать гораздо сильнее и ярче, чем тысячи античных красавиц и турецких одалисок. Такая простая мысль стала в то время откровением, и именно она расчистила дорогу реализму. За “Послеобеденный отдых” жюри присудило Курбе золотую медаль, что обеспечивало ему на все последующие времена место в Салоне, кроме того, правительство купило эту вещь за 1500 франков.

Пожалуй, никто не воспринял известие о триумфе Курбе с большей радостью и гордостью за него, чем постоянные посетители пивной на улице Отфёй. Вообще, писать о Курбе и не сказать хотя бы несколько слов об этой легендарной пивной, составившей целую эпоху в истории парижской богемы, все равно что писать о Курбе и не упомянуть об Орнани. Месте, без которого художника невозможно представить, недаром он так любил, когда его называли “орнанским мастером”. Пивная на улице Отфёй находилась всего в двух шагах от мастерской Курбе и напоминала обычный деревенский кабачок с деревянными столами и скамейками, где люди сидели друг к другу спиной. “С потолка там свешивались окорока, всюду громоздились гирлянды сосисок, сыры, огромные, как мельничные жернова, а бочки аппетитной капусты напоминали о монастырской трапезной...” Простота и демократичность пивной привлекала сюда многих начинающих и знаменитостей. “Реализм, — писал приятель Курбе, критик Костаньяри, — вероятно, родился в голове Курбе в мастерской... но восприняла его от купели пивная Андлера. Именно там художник общался с внешним миром. С шести до одиннадцати вечера мы ели, спорили, отпускали остроты, смеялись, играли на бильярде. Курбе как бы устраивал прием. Пивная была для него продолжением мастерской. Люди, желавшие повидаться с ним, приходили именно туда... Курбе разглагольствовал обо всех искусствах, обо всех науках, даже о таких, о каких не имел представления... Эта пивная привлекала очень многих парижан: в ней, по слухам, рождалось новое божество... Слава пивной росла, ее восхваляли в прозе и стихах.” Вечный холостяк Курбе, никогда не имевший в Париже ни своего домашнего очага, ни семейного уюта, находил в пивной Андлера подобие и того и другого. Никогда не унывающий, веселый, добродушный и говорливый, он оказывался всегда в центре внимания и воплощал в себе какое-то уходящее народное здорье, вакхический дух, известный скорее по старинным картинам Иорданса и Рубенса, чем по современной ему французской литературе и живописи. Его поведение, грубоватые манеры, внешность (с годами он начал толстеть и из пленительного молодого красавца с ассирийскими, как все говорили, глазами, превратился в грузного толстяка с разбухшим от пива животом), его хвастовство и тщеславие доставляли обильную пищу для злых журналистских перьев и карикатуристов, обожавших пройтись на его счет, обыгрывая всем известные его слабости и грешки...

Осенью 1849 года Курбе возвращается домой, в Орнан, возвращается триумфатором и победителем, ведь у него теперь есть золотая медаль и картина, купленная правительством. Дома его встречают как национального героя. “Можете себе представить, — с гордостью пишет он, — со сколькими людьми я перещеловался и сколько комплиментов получил от всего города, словом, я, кажется, действительно прославил свой Орнан.” Пирушка, устроенная в его честь, продолжалась до пяти утра...

В эту осень он пишет две самые известные работы — “Дробильщики камня” и “Похороны в Орнане”. “Дробильщики камня” вдохновлены нечаянной встречей Курбе на пригородной дороге с двумя дробильщиками — старым и молодым. Он сразу же загорелся желанием писать их. Принято считать, что эта картина является социальной критикой, протестом против чрезмерной эксплуатации людей. Однако всякий, кто внимательно и беспристрастно приглядится к ней, убедится — это прежде всего прекрасная живопись. Энергичная, могучая и свежая. И Курбе интересуется здесь прежде всего красота, живописность, эстетика, а не социальные идеи.

Сразу после “Дробильщиков” Курбе принимается за “Похороны в Орнане” — грандиозное, эпическое полотно, размерами 3 на 6 метров, которое составило, пожалуй, его главную славу. Идея картины навеяна подлинным событием — похоронами дедушки Курбе Жана-Антуана Удо. Прототипами ее героев послужили реальные люди — жители Орнана, которые приходили к нему в мастерскую попозировать для картины. Все они, без исключения, относились к делу с очень большой серьезностью, обижаясь, если кого-то из них художник не мог поместить на полотно. Работал он в трудных условиях. Картина была громоздкая, и увидеть ее всю, целиком, в тесной и маленькой мастерской, не представлялось возможности. Курбе мучался, пытаясь приспособиться к ограниченному пространству. Но писал он вдохновенно, напряженно и быстро, как, собственно, всегда и работал, изумляя окружающих необыкновенной быстротой исполнения. Сохранились свидетельства, например, что он писал подчас даже метровые полотна, иногда по памяти, за час-два, работая не кистью, как было принято тогда, а специальным ножом для счищения красок. Так вот, грандиозные “Похороны в Орнане” (картина по размерам превышает сурикоскую “Боярыню Морозову” и приблизительно равна “Последнему дню Помпеи” Брюллова) Курбе написал, отвлекаясь еще и на другие вещи, менее чем за полгода — сроки едва ли не рекордные в истории живописи!

Картина получилась внушительной: и не только по размерам, но и по мысли. Когда ее впервые увидела какая-то американская художница, она воскликнула: “Это что-то греческое!” И действительно, в самом построении ее, в темной неподвижной массе людей, в похоронной процессии, тянущейся длинной чередой, есть что-то от фризов Парфенона с их тяжелой монументальностью и отсутствием пространственной глубины. Сам дух огромного полотна удивительно схож с духом гомеровского эпоса и древнегреческой трагедии: та же неспешная, величавая, словно плывущая над миром и охватывающая весь мир, мелодия. Слово не конкретного человека хоронят, а происходит какая-то всемирно-историческая драма или трагедия в самом высоком и возвышенном значении этого слова.

Критика картину не поняла и не приняла. Когда Курбе выставил ее вместе с “Дробильщиками камня”, “Возвращением с ярмарки” и другими работами в Салоне, на него посыпались ругательства и обвинения в оскорблении общественной нравственности. Сейчас можно только удивляться слепоте и полному отсутствию эстетического чутья у критиков, которые не разглядели в его великолепных и сильных вещах ничего, кроме злой карикатуры и пародии на современную провинциальную и народную жизнь. “Никогда культ безобразного не был выражен с такой откровенностью, как в этот раз у Курбе”, “Картина вызывает одно желание — не быть никогда похороненным в Орнане”, “Это удивительно безобразно”, — вот главный смысл большинства газетных выступлений. Курбе действительно “ломал глаза” своим современникам, прививая им новую, непривычную эстетику, и нет ничего удивительного, что его живопись не находила сочувствия. Поблизости годы и годы борьбы, чтобы переломить косную тенденцию и воспитать нового зрителя.

Правда, к следующему Салону Курбе как будто бы сделал небольшую уступку общественному мнению, написав нечто “изящное” — изумительно классический и свежий пейзаж родных мест с деревенскими барышнями, для которых позировали его родные сестры. Но затем в Салоне 1853 года выставленные Курбе три вещи: “Борцы”, “Уснувшая пряжа” и знаменитые “Купальщицы” — вызвали такой шквал негодования и возмущения, рядом с которым критика “Похорон” показалась детским лепетом. В “Купальщицах” (первый опыт Курбе в изображении обнаженного женского тела, и, кажется, он никого не хотел в нем сознательно оскорбить или обидеть. Просто написал тот тип женщины, который был более всего ему симпатичен, тип простонародной красавицы, упитанной и дородной, с пышными и чрезмерно развитыми женскими формами) критика углядела едва ли не хулиганский акт, сознательно попирающий всякую нравственность и представления о прекрасном. “Это неопрятная мясная лавка”, “жирная мещанка”, “его купальщица настолько безобразна, что она заставила бы крокодила потерять аппетит”, — писала критика по поводу вполне невинных “Купальщиц”. И потребовалось все хладнокровие Курбе, чтобы не реагировать на травлю и продолжать спокойно работать.

Однако, несмотря на громкие скандалы, которыми сопровождалась все его последние выставки, а, может быть, в значительной степени и благодаря им, слава Курбе росла. Тот же Салон 1853 года, который поднял шумиху вокруг “Купальщиц”, подарил ему нового горячего поклонника, мецената и друга Альфреда Брюйаса, человека богатого и достаточно искусственного в живописи, чтобы оценить новаторское искусство Курбе. Тут же на выставке он купил “Купальщиц”, “Уснувшую пряжу”, замечательный автопортрет “Человек с трубкой” и пригласил Курбе погостить у себя в имени. Поездка состоялась лишь летом следующего года, а до этого Курбе успел и поработать, и поскандалить. Скандал по-своему очень характеризовал Курбе. Дело заключалось в том, что правительство, видя растущую популярность Курбе, хотело его немножечко приручить. С этой целью заказало картину для готовящейся Международной выставки в Париже, предварительно обговорив, что полотно будет писаться по утвержденному специальной комиссией эскизу. Дело, в общем-то, достаточно обычное — правительство заказывает, худож-



*Венера и Психея. 1866.*



ник исполняет. Но Курбе пришел в ярость: его взбесила сама мысль о каком-либо “подыгрывании” правительству. “Я — единственный судья своей живописи, — заявил он директору департамента изящных искусств, который пригласил его от имени правительства на завтрак. — Я не только художник, но и человек, я пишу не ради искусства для искусства, а ради обретения интеллектуальной свободы... я один среди всех современных французских художников наделен силой, достаточной для того, чтобы оригинально изображать как самого себя, так и мое окружение.” Когда директор ему заметил: “А вы гордец, господин Курбе!” — художник тотчас нашелся. “Удивляюсь, — ответил он, — что вы заметили это только сейчас. Я самый гордый и надменный человек во Франции, сударь!” И словно желая проиллюстрировать этот бесподобный тезис, пишет в имени своего нового друга Брюйаса удивительную по какому-то наивно-простодушному восхищению самим собой картину “Встреча” или, как ее вскоре назвали “Здравствуйте, господин Курбе”. Картина изображает могучую фигуру Курбе, который с завидным достоинством и независимостью шествует в дорожном костюме по дороге, а навстречу ему выходит из своего имения скромный и словно бы ступежавшийся перед гением бедняга Брюйас и его совсем “потерявшийся” старик слуга. Картина стала еще одной демонстрацией силы и независимости, она словно бы говорила: “Вот каков должен быть настоящий художник”. Но при всем том Курбе много работал и делал множество превосходных вещей. Еще до поездки в Монпелье он пишет в Орнане “Веяльщиц”, картину, которая так восхищала Сезанна и о которой он писал, что ее “можно повесить рядом с Веласкесом, и она выдержит, честное слово”.

Нужно сказать хотя бы пару слов о его отношениях с женщинами. Курбе никогда не был аскетом, ни в чем себя не ущемлял: любил вкусно поесть, выпить, любил и женщин. Но у него никогда не было серьезных романтических связей с женщинами, он относился к ним легко, с некоторой долей цинизма.



Охота на оленя 1967



*Магнолия. 1863.*

Его любовницами становились, как правило, натурщицы, позировавшие для его картин. Пожалуй, единственный “роман”, который оставил хоть какой-то след в жизни Курбе, это связь с неизвестной женщиной, которая родила ему сына. Продолжался роман недолго. Женщина покинула Курбе, прихватив с собой ребенка. Поразительная реакция Курбе на это событие: Вот что он пишет своему другу Шанфлэри по поводу ухода возлюбленной: “Да будет ей жизнь легка, раз она считает, что поступила правильно. Я очень сожалею о своем малыше, но мне не до семейных забот — у меня достаточно дел в искусстве, и, кроме того, я считаю, что женатый человек всегда реакционер”. Впрочем, сохранились свидетельства, что сына своего он любил и связи с ним не терял, а ранняя смерть его, лет в 18, стала для Курбе большим ударом.

Осенью 1854 года Курбе задумывает новую работу “Ателье художника. Реальная аллегория, подводящая итог семи годам моей художнической жизни”. Сам Курбе описывает эту странную и несколько необычную работу так: “Я затеял огромную картину... чем хочу доказать, что я еще не умер или, вернее, что реализм еще жив, так как это полотно — реализм. Это материальная и духовная история моей мастерской. Здесь изображены люди, смысл существования которых — смерть”. Курбе очень торопился закончить работу в срок, к началу Международной выставки в Париже, на которой он надеялся ее показать, но не успел, и большая, задняя часть картины так и осталась как бы в подмалёвке.

Однако как ни торопился Курбе закончить “Ателье” к открытию Международной выставки, его старания оказались напрасными: жюри не приняло ни “Ателье”, ни “Похорон”, ни “Купальщиц”. Таким образом, две его самые капитальные вещи оказались за бортом экспозиции. Приходилось либо смиряться и принимать условия жюри, либо бороться и биться за свое право до конца. Курбе выбирает второе и с горячностью бросается в лихорадку борьбы. Назло всем — и ретроградному жюри, и косному времени — решает выстроить свой собственный павильон и устроить в нем персональную выставку. Идея кажется ему великолепной, он уверен, что сможет убить сразу двух зайцев — показать себя и заработать кучу денег. Но, увы, бьющий через край оптимизм Курбе дает на сей раз осечку: его выставка не пользуется успехом, а мечты о фантастических прибылях оказываются не более чем фикцией.

И тем не менее, Курбе не унывает. Он часто ездит в Орнан, охотится, отдыхает и пробует себя в новом жанре — охотничьих сценах, которые в течение почти десяти лет занимают все большее место в его искусстве. Макс Бюшон, друг художника, пишет о нем в эти годы: “Когда смотришь на Курбе за работой, кажется, будто он создает свои картины так же просто, как яблока дает яблоки. Что касается меня, я никогда не мог думать, чтобы можно было проявить больше силы и быстроты в работе... Так же быстро, как он работает, так же основательно он и спит. Мощно сложенный, где бы он ни очутился — за столом или верхом на коне, на охоте, на гребле, в плавании, на коньках или у бильярда, за игрой в шары или в кровати, — он с честью выйдет из любого положения. Жить энергично и всегда напряженно, все охватывая пронизательным взглядом, — вот лозунг этого прекрасного сознания на службе большого сердца”.



В эти годы Курбе много ездит за границу: в Бельгию, Голландию, Германию. Путешествуют по зарубежным выставкам и его работы, умножая его славу как одного из лучших художников современности. Он с удовольствием охотится и по свежим впечатлениям пишет большие охотничьи композиции. О размахе его охотничьих забав свидетельствуют следующие факты. Однажды Курбе участвовал в охоте, в которой убили 270 зайцев. В другой раз он сам, охотясь в горах Германии, убил громадного оленя, которому, «если считать по годам, было тринадцать лет».

Зимой 1861 года сорок учеников высшей школы изящных искусств в Париже объявили себя последователями Курбе, «вождя независимой живописи», как они его называли. Они открыли в Латинском квартале свою собственную независимую мастерскую и попросили Курбе возглавить ее. Художник выступил по этому поводу с открытым письмом-манифестом, заявляя: «Я не могу преподавать ни мое искусство, ни искусство другой какой-либо школы, так как в принципе отрицаю преподавание искусства...» Тем не менее он согласился работать с учениками и первой моделью предложил им рыжего быка с подпалинами. Мастерская продержалась очень недолго из-за большой загруженности Курбе, но из ее учеников двое стали впоследствии известными: француз Фантен-Латур и норвежец Олаф Иаксен. Летом 1864 года богатый меценат Эжен Бодри приглашает Курбе в свой замок Рошмон на западе Франции. Десять месяцев, проведенных в Рошмоне среди чудной природы и обожающих его поклонников, пролетели как один незабываемый миг. Курбе был весел, доволен, и как всегда много работал. «За работой он курил, болтал, рассказывал разные истории, — вспоминал о нем Кастаньяри, — раскатисто хохотал, брал отдельные ноты или распевал куплеты собственного сочинения. Рука у него была настолько ловкая и уверенная, что он создавал очень много, хотя работал только после полудня и всего несколько часов. Но если Курбе не дремал за мольбертом, то еще меньше он дремал за столом. Завтраки были долгими, обеды нескончаемыми. Веселье и шутки, вперемежку с серьезными беседами, оживляли их.» За десять месяцев безоблачного счастья Курбе написал шестьдесят первоклассных картин: пейзажи, портреты, жанровые сцены и целую серию натюрмортов.

Вообще, Курбе-пейзажист — это отдельная тема. Кажется, никому не удавалось так выразить мощь природы, ее первобытную стихийность, величие и какую-то дикую силу, как это удавалось ему. Курбе обожал море, кажется, ничто так не отвечало его любви к безбрежности и простору, к неограниченности и бунту, как эта свободная и гордая стихия. Он был великодушным пловцом, однажды даже спас какого-то молодого человека в 300 метрах от берега. Мопассан в одном из писем рассказывает, как Курбе работал над лучшим своим морским пейзажем. «В большой комнате с голыми стенами тучный мужчина, засаленный и неопрятный, накладывал кухонным ножом пласты белой краски на большое пустое полотно. Время от времени он прикидывал лицом к стеклу окна и смотрел на бурю. Море подходило так близко, что, казалось, волны ударяют в дом, окутывая его пеной и грохотом. Соленая вода хлестала в окна, подобно граду, и струилась по стенам. На камине стояла бутылка сидра рядом с недопитым стаканом. Время от времени Курбе подходил к камину, отпивал несколько глотков и снова

возвращался к своему произведению. Оно стало картиной “Волна” и наде-  
лало немало шума.”

Известность и международная слава Курбе к концу 60-х становятся на-  
столько очевидными, что правительство решает отметить его заслуги орде-  
ном Почетного легиона. На это решение художник отвечает гордым и де-  
монстративным письмом, в котором отказывается от награды. “Никогда,  
ни в коем случае, ни под каким условием я бы ее не принял, — писал он. —  
Честь не в титулах и не в ленточке — она в поступках, в побуждениях...  
Мне 50 лет, и я всегда жил свободно. Позвольте мне свободно закончить мое  
существование. Когда я умру, обо мне должны будут сказать: он никогда не  
принадлежал ни к какой школе, ни к какой церкви, ни к какому учрежде-  
нию, ни к какому режиму, кроме режима свободы.”

Этот гордый вызов правительству вызвал целую бурю восторгов и при-  
ветствий. “Это как сон, все мне завидуют, — писал Курбе родителям. — У  
меня нет противников. Заказов столько, что я не могу с ними справиться.”  
К сожалению, этому сну не суждено было длиться долго.

Наступил 1871 год. Год народных волнений, год рождения Париж-  
ской коммуны. Все это время Курбе, несмотря на то, что собирался летом  
ехать в Этрета писать свое любимое море, остается в Париже. Его обще-  
ственный темперамент, патриотизм, сочувствие народу не позволяют ему  
оставить Париж в такое тревожное время. Родители волнуются за него,  
шлют письма, но он, не зная страха и сомнений, с наслаждением окунает-  
ся в общественную жизнь. Его выбирают председателем Комиссии худож-  
ников по охране памятников искусства, он пишет письма-обращения к  
немецким солдатам и художникам. Коммуну принимает с энтузиазмом.  
Кажется, его давнее желание организовать жизнь человечества на луч-  
ших основах, возникшее у него в значительной степени под влиянием  
друзей-социалистов и большого приятеля Прудона, обрело в Коммуне об-  
ширное поле для самой разнообразной деятельности. Курбе счастлив в  
осажденном Париже так же, как когда-то был счастлив в богатых имени-  
ях своих друзей, и так же радостно хлопочет с утра и до вечера, но уже о  
делах общественных. “Волею народа, — пишет он восторженно родите-  
лям, — я всецело ушел в политические дела: председатель Федерации худ-  
ожников, член Коммуны, делегат в мэрии, делегат по народному просве-  
щению — вот четыре важнейшие должности. Я встаю, завтракаю, затем  
заседаю и председательствую двенадцать часов в день, голова становится  
как печеное яблоко. Несмотря на эту муку, необходимость вникать в не-  
привычное для меня дело, я в восторге. Париж — истинный рай. Ни по-  
лиции, ни глупостей, ни взысканий какого-либо рода, ни перебранок. В  
Париже все идет как по рельсам. Надо, чтобы всегда было так, одним сло-  
вом — истинное восхищение.”

С наивным восторгом ребенка он предается этой новой и, как ему ка-  
жется, чрезвычайно благородной и полезной для французов деятельности  
и с беспечностью артиста совершенно не заботится о завтрашнем дне. А  
между тем события движутся к своей трагической развязке. 22 мая правитель-  
ственные войска врываются в Париж. Происходит одна из самых  
страшных и кровавых боен за всю историю Франции: только за неделю  
расстреляли 37 тысяч человек! О Курбе распространяют самые нелепые и

чудовищные слухи: одни газеты пишут, что его уже давно убили, другие, что он струсил и бежал. И те, и другие упражняются в отвратительной травле художника. На самом деле Курбе арестовали и бросили в тюрьму. Никакого снисхождения ни к его замечательному дару, ни к общественному положению, ни к возрасту (ему исполнилось уже 52 года, и он был грузным больным человеком) не сделали. Курбе бестрепетно протащили по всем кругам тюремного ада. На какое-то время знаменитый художник стал просто лагерной пылью — без лица, без имени, без прошлого и будущего. Своему приятелю он пишет из тюрьмы: “Дорогой Башелен, вы пишете мне о живописи, поэзии. Но это так далеко от меня, я даже забыл, что когда-то был художником. Прощайте, море, огромное небо... леса... Я лишился всего”. И в другом письме: “Меня ограбили, оклеветали, меня таскали по улицам Парижа и Версаля, осыпали глупостями и оскорблениями. Я гнил в одиночных камерах, где теряешь рассудок и физические силы; я спал на земле в нечистотах попеременно со всяким сбродом, меня переводили из одной тюрьмы в другую, в госпиталя, где кругом умирали люди, меня возили в тюремных фургонах, таких узких, что туда не втискивается тело, причем все время приставлен револьвер или ружье. Так продолжалось четыре месяца”.

В довершение ко всем несчастьям пруссаки ограбили его мастерскую в Орнане, часть картин погибла при переездах в Париже, часть украли. Не выдержав потрясений, в Орнане скончалась его старушка-мать, которую он нежно любил и которую не смог повидать перед смертью. От его всем известной характерной внешности, которую так любили обыгрывать карикатуристы, не осталось и следа: он стал тощ, “как в день своего первого причастия”, изможден и совершенно поседел...

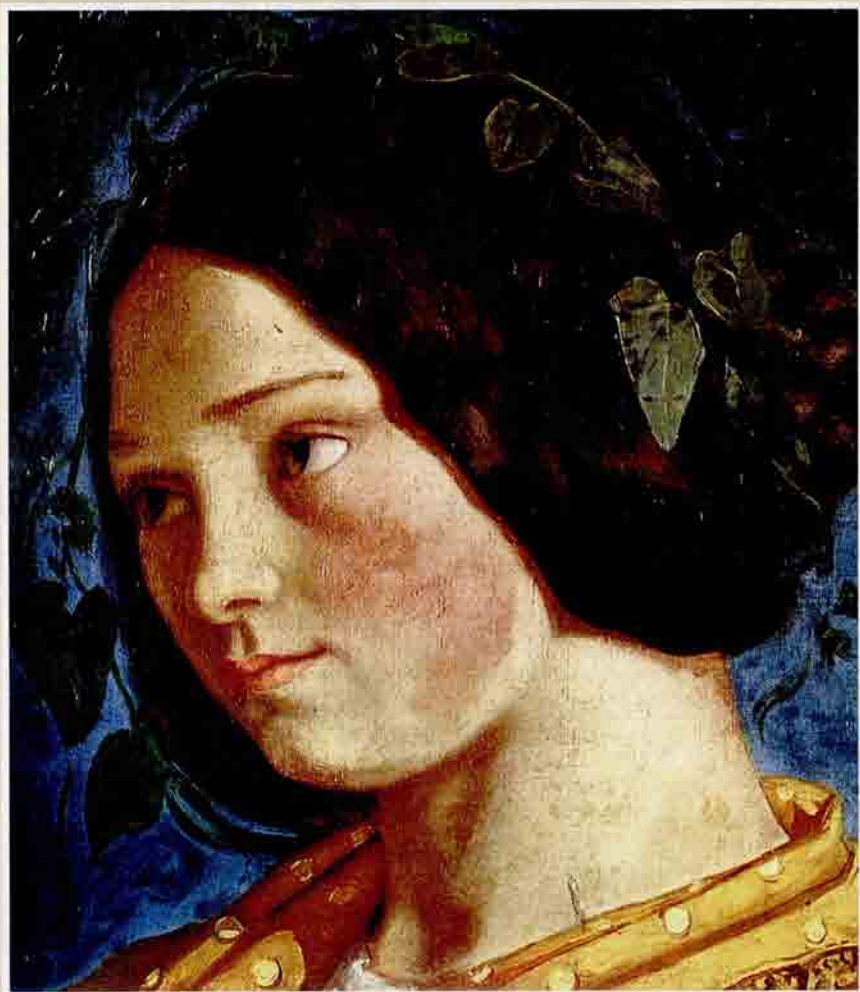
В конце августа суд приговорил Курбе к шести месяцам заключения, к 500 франкам штрафа и к уплате всех судебных издержек за себя и за своих безденежных “сообщников”. Все вместе это составило огромную сумму в 1300 франков. После суда его переводят в тюрьму Сен-Пелажи, где, как он пишет приятелю, “с нами решено обращаться, как с обыкновенными преступниками, а не с политическими заключенными; мы по самые уши сидим среди воров. Сделано все, чтобы унижить нас”. Чтобы как-то занять себя и отвлечься от тюремного ужаса, Курбе добывается разрешения писать. Сестра приносит ему в камеру цветы и фрукты, и он пишет небольшие, бесхитростные натюрморты, полные свежести и радостного очарования. Работа действительно выручала его, спасая от мрачного одиночества, и позже он напишет: “Должен сказать, что я не особенно страдал. Голова была занята, и я ни на минуту не терял обычной своей веселости”. Правда, к концу декабря усиливается его болезнь (Курбе страдал геморроем), и он переезжает в частную клинику. Болезнь спасает его от тюрьмы, но не избавляет от физической боли. В январе Курбе делают серьезную операцию без хлороформа, художник сам отказался, предупредив, что умеет переносить боль и готов “терпеть хоть до смерти”. Но, кажется, никакие операции в мире не способны были излечить его от неистребимой любви к жизни и к живописи. Сестра жаловалась в письме к Брюйасу: “Гюстав, а он, как вы знаете, человек риска, сразу же после операции потребовал трубку, уже вечером поднялся, прошел через сад и явился к обеду. Болит у него от-

чаянно, но в постели его не удержать... Он работает с утра до ночи". За все время пребывания в Сен-Пелажи и частной лечебнице Курбе написал около сорока картин.

Вскоре закончился срок его заключения, он выписался из клиники и вернулся в свой Орнан. Жизнь продолжалась. Но у него нет больше сил, как прежде, охотиться и бродить по лесам родного Орнана, и он покупает лошадь с коляской и с удовольствием колесит по его окрестностям, любуясь знакомыми с детства утесами и водопадами. Курбе потихонечку начинает работать: пишет пойманных рыб и грибы, набирается сил и зализывает душевные раны. Кажется, что на его одиссее с Коммуной можно поставить точку и отправить в архив, но, как оказалось, эпопея с тюрьмой была лишь прелюдией к дальнейшим несчастьям. До него доходят страшные слухи о том, что его собираются обязать за собственный счет восстановить Вандомскую колонну, которую разрушили в Париже во времена Коммуны. Действительно, эта знаменитая колонна, на вершине которой стояла статуя Наполеона, считавшаяся едва ли не главным олицетворением ненавистной империи, была разрушена Коммуной. А одним из инициаторов, правда, не разрушения, а осторожного демонтажа ее, был сам Курбе. Однако он никогда не подписывал декрета о ее разрушении и не участвовал в нем лично. Грубая и подлая подтасовка фактов, уникальный в своем роде случай, когда за ценности, погибшие или разрушенные во время восстания, спрашивали с одного человека.

И тем не менее суд действительно принял такое беспрецедентное решение и предъявил Курбе иск в 323 тысячи франков, а в обеспечение иска наложил арест на всю его собственность, включая и картины. Это был крах и гибель всей жизни. Курбе пытается спасти остатки имущества, картины раздает друзьям и знакомым, но самое главное, он спасает себя (ведь в случае неуплаты ему грозила тюрьма) и бежит в Швейцарию. Здесь, в маленьком городке Тур-де-Пельс на берегу Женевского озера, он доживает свои последние дни. Его время делится между кафе "Центральное", где пристрастился к швейцарскому белому вину, и рыбацким домиком, который он снимает на улице Бур-Дессу. Курбе по-прежнему весел, открыт и общителен, и его обожают местные жители. Так же много работает, правда, уже в сотрудничестве с учениками. Единственная мысль, которая отравляет его существование, — разлука с родиной и несправедливость наказания. В 1877 году правительство, наконец, освободило Курбе от преследований, разрешило возвратиться во Францию и выплачивать не всю сумму сразу, а частями — по 10000 франков в год. Но было уже поздно. Цирроз печени, которым он болел уже несколько лет, принял столь угрожающие размеры, что ни о каких перемещениях не могло быть и речи. И утром 31 декабря 1877 года Курбе умирает.

"Не будем жалеть его! — писал по поводу смерти художника Жюль Валлес. — Его жизнь была стократ прекраснее существования тех, кто от молодых лет и до старости дышит затхлым воздухом министерств и официальных законов. Курбе пересек большие потоки, погружался в океан толпы, слушал, как бьется, подобно залпам пушек, сердце народа. Он кончил свою жизнь на природе, среди деревьев, вдыхая ароматы, пьянящие его с юности, глядя на небо, не исчезающее за дымом страшных пожаров..." ■



Голова юной девы. Фрагмент.

# ГОРЬКИЙ ПРИВКУС

**Игорь ЗОЛОТУССКИЙ**

**Л**

истая на днях учебник "Русская литература XX века", выпущенный в издательстве "Дрофа" (1997 г.), я в главе "Литературный процесс 60-х" не обнаружил фамилии Можаяева. Новейшие составители новейших литературных святцев не занесли его на свои страницы. В который раз строптивый герой Можаяева Федор Кузькин, как и его автор, оказались не ко двору.

Горько и несправедливо. Ибо представить литературу 60-х годов без знаменитой повести "Из жизни Федора Кузькина", впервые появившейся в журнале Твардовского в 1966 году, невозможно. Это все равно, что снять с небесной карты одну из звезд.

Я никогда не бывал в рязанской деревне Пителино, где он родился. Можаяев рассказывал мне о ней, но повидать те места так и не удалось. Сейчас жалею: для того, чтобы понять писателя, надо увидеть его дом и землю. Надо самому оглядеть линию горизонта, которую видели его глаза с детства.

О чем бы ни писал Можаяев, он держал в памяти Пителино, землю, которую засеивал его отец-единоличник, так и не вступивший в колхоз. В 1935 году отца арестовали и отправили в лагерь, где он и погиб во время войны от голода. Говорят, он был веселый человек и умел представлять события в смешном виде — этот дар и передал сыну, создавшему много лет спустя своего Федора Кузькина — Тартарена из русской деревни.

Я с ним давно, с 60-х годов, был на "ты". А познакомились мы на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Хотя я не знал, что Можаяев — морской офицер, выправка в нем чувствовалась. Высокий, прямой — так до последних дней и ходил, не сутулясь, а гордо, как конь, вздернутый уздою, держа голову.

Впечатления о нем, о его облике, его душе у меня самые разные. Их можно разбить на периоды: хабаровский, московский (60-е годы), затем

*Смех тридцать лет у ворот стоит,  
а свое возьмет.*

**Русская пословица**

# СМЕХА

опять московский (70-е) и последний — московско-переделкинский (90-е). 80-е как-то выпадают, мы почти не виделись.

В хабаровский период никакой близости не было. Я работал в газете, на радио — Можаяв иногда там появлялся, но ненадолго. Ходил он обычно с Всеволодом Никаноровичем Ивановым — эмигрантом, ставшим впоследствии советским писателем, с которым дружил и сочинял какой-то сценарий.

Дружить с таким человеком, как Иванов, было небезопасно. Он пользовался в Хабаровске репутацией вольнодумца, поскольку, во-первых, был из дворян, во-вторых, знал несколько иностранных языков, а в-третьих, служил в свое время министром информации в правительстве Колчака. Многие задавали себе вопрос: почему его простили? Почему, не наказав, разрешили жить в СССР?

Писатели тоже держались от В.Н.Иванова на расстоянии — сказывалась классовая несовместимость: все они в прошлом были или партработники, или партийные журналисты, или служащие тех ведомств, где носят погоны, но чаще ходят в штатском. Можаяв их глубоко презирал, хотя не был уверен в том, что они не знают его "кулацкого" происхождения и того, что, поступая в Ленинградское высшее военно-морское училище, он о чем-то умолчал в своей анкете.

Литературная жизнь провинции, как известно, скучна. И хотя в Хабаровске издавался ежемесячный литературный журнал, существовало большое издательство и выходило несколько газет, а местное радио имело 19 часов собственного вещания, таланты на этой почве жухли, как трава при засухе. За редкими, весьма редкими исключениями, в эфир и на страницы книг шла, как кета на нерест, густая литературщина.

Чем славен был в конце 50-х годов Дальний Восток? Лесом, рыбой (сто видов рыб водилось в одном Амуре), тиграми, которые обитали в уссурийской тайге, удэгейцами и нанайцами, молибденом, золотом, а также лагерями, которые своей колючей проволокой и вышками вползали прямо в города, не стыдясь соседства с детскими садиками, школами и просто жильем.

Когда я в 1954 году после окончания университета приехал в Хабаровск, меня направили в школу, в здании которой раньше находилась лагерная столовая, а поселок вокруг нее назывался "Четвертая стройка". Заключенные, обитавшие в нем, рыли тоннель под Амуром. Тоннель прорыли, но он оказался никому не нужен, и главный инженер строительства застрелился прямо на рельсах, ведущих в никуда.

Хабаровские поэты и прозаики таких сюжетов не брали. Они писали о тигроловах, рыбаках и лесорубах, о социалистическом конфликте в социалистическом коллективе, об отколовшихся одиночках, которых перевоспитывала партия. Беспартийный Можаяев выделялся на этом фоне, талантом и честностью. Он, правда, в бытность свою на флоте грешил стишками и даже воспевал доблестного вождя китайских коммунистов Мао Дзедуна. Первая его поэтическая книжка, изданная в 1955 году во Владивостоке, называлась "Зори над океаном".

Он записывал и печатал удэгейские сказки, отдавая дань дальневосточной экзотике, но затем быстро перешел к реальной прозе. Когда мы познакомились, он был уже автором "Сани" и "Тонкомера" — коротких и чисто прописанных повестей, пленявших прежде всего языком и полным отсутствием фальшивой советской тематики.

Как сейчас вижу картину: по главной улице Хабаровска — Карла Маркса — идет Можаяев, и рядом с ним, держа его под руку, высокая, в рост ему, блондинка. Лето. Блондинка в коротком платье, длинные ноги в туфлях на острых каблуках, плывущий впереди нее бюст, губы ярко накрашены, беленький носик вздернут. Настоящая красотка, типичная офицерская жена. Это и была его жена, с которой Можаяев потом расстался.

Все мы — я имею в виду тех, кто приехал на Дальний Восток из центральной России, — считали себя здесь временными. Можаяев, заброшенный войной сначала в Порт-Артур, а потом во Владивосток и Хабаровск, уехал одним из первых. Я вскоре последовал за ним. В Москве нас свели хабаровские воспоминания и общая судьба. Правда, положение Бориса было предпочтительней. Его уже знали, он прописался в столице и женился на консультанте Союза писателей латышке Милде, милой молчаливой женщине с синими глазами. И портфель у него был набит рукописями: там уже лежал "Кузькин" и еще несколько повестей, не имевших надежды быть напечатанными.

"Кузькина", как и бесподобно смешную "Историю села Брехова", он читал мне вслух. Мы встречались у него на квартире на улице Осипенко. Это, кажется, была квартира Милды. Тогда они еще бедствовали, точнее, жили скромно, как и все честные интеллигенты. Естественно, за разговорами и чтением выпивалось много водки, а Можаяев всегда был крепок на выпивку, хотя и закусывать умел.

То были встречи высокие, вдохновенные, и Борис в иные минуты был неотразим. Во-первых, он замечательно — в лицах — умел разыгрывать сцены из своих повестей. Всякое лицо говорило у него своим языком. Мимика, паузы, восторг и ехидство были у каждого единственны. Чтение как-то незаметно отрывалось от рукописи, он переходил к житейским историям и анекдотам, которые то ли слышал, то ли выдумывал



тут же, на ходу. И всегда, в каждом изгибе сюжета, была внезапность — родная сестра вдохновения. Что такое вдохновение? — спрашивал Белинский. И отвечал: внезапное попадание в истину. Таких попаданий у Можаява было с избытком.

Я смеялся и плакал, слушая его: горькая жизнь, отзывавшаяся в этих импровизациях смехом, казалась еще горше. Плакал я и от самого смеха, и от полноты наслаждения талантом. Бог дал Борису не только писательский глаз и руку, но и характер. Крестьянский сын, клейменный советской властью, он не только получил образование, не только поднял оставшуюся без кормильца семью, но и отстоял себя как личность, почти не понесши внутреннего урона, хотя уроны, конечно, были.

Да и у кого из нас их не было?

В Евангелии от Луки есть рассказ о том, как дьявол, отчаявшись искупить Спасителя, отошел от него, но "отошел от Него до времени". Стало быть, он не оставил надежды еще раз подступить к Христу. Значит, он сторожит мгновение, когда Господь проявит человеческую слабость, дабы вновь искушить Его. И если он рассчитывает на слабость Сына Божия, то что же говорить о нас, смертных? Дьявол несет вахту при каждой душе, веря, что ему "обломится".

У Можаява были свои счеты со временем. Советская власть тиранила его и с малолетства приучила к неповиновению. Неповиновение выливается в разные формы: от прямого вызова — до притворства, до попытки принять игру власти и, пользуясь преимуществом в уме и хитрости, обыграть ее, причем, обыграть так, чтобы над проигравшим можно было еще и посмеяться.

Короче, борьба порождает героев, порождает и шутов, которые, впрочем, тоже являются героями. Можаяв разыгрывал перед властью дурачка, и сам дурачил ее, как мог. Он притворялся простоватым, прямодушным, даже наивным, хотя был весьма практический и ушлый мужик.

Если бы понадобилось дать Борису, как это делалось раньше в деревне, кличку или прозвище, то ему более всего подошло бы имя "артист", так как в искусстве изображать Ивана-дурака, который по видимости дурак, а на деле самый умный, ему среди литераторов не было равных.

Многие принимали эту личину за его лицо, несмотря на то, что он иногда откалывал такие шутики, что волосы у зрителей вставали дыбом.

Для Можаява "Поднятая целина" Шолохова была "вранье", и тем более к разряду "вранья" относилось все, что печаталось и издавалось в Хабаровске, кроме его собственных сочинений, разумеется.

Должен сказать, что на 90 процентов он был прав. Но правда его была негибка, а оттого жестока.

Я знаю немало случаев, когда Борис ни за что ни про что обижал людей. Причем, часто это были люди, которые никуда не лезли, ничего из себя не изображали, но просто были обделены талантом.

Что же касается его игр с начальством, с секретарями Союза писателей, редакторами журналов, министрами и еще Бог знает с кем, то тут маскарад был необходим: как сказал один мудрец, нельзя, чтобы самый честный был и самым глупым. Нельзя давать себя в обиду, нельзя позво-

лечь подойти к себе слишком близко. Нужны упреждающие удары — иначе сомнут.

Можаев писал Кузькина, безусловно, с себя. Кузькин простодушной и безыскусней своего создателя, может быть, даже покорней, но глумиться над собой не позволит. В его юродстве больше наслаждения смехом, чем желания мстить. Сам же автор не раз перебарщивал по части мщения. В нем самом сатира (то есть правда без милости) брала верх над юмором.

Тактика Можаева была такая: не только смехом прикрыться и выдать себя не за того, кто он есть, но, прикинувшись простаком, все от советской власти взять. Ты нас морочишь, будто говорил он ей, а мы тебя еще шибче надует, так надует, как тебе и не снилось.

Подобный взгляд на вещи дает почти неограниченную свободу. Но эта свобода и опасна — опасна именно тем, что не имеет границ. Можаев, наверное, не раз оправдывал себя, говоря: "С волками жить — по-волчьи выть". Конечно, никто не желает быть овцой среди волков, но и совсем превращаться в волка страшно.

Как остаться милостивым и, одновременно, твердым? Как не дать чужо-му сапогу наступить на сердце, не заковав сердце в железо? Это были вопросы не одного Можаева, но многих, кто прошел сталинскую школу подавления. Однако мщение иссушает душу даже при наличии такого влажного компонента, как юмор. Ведь "юмор" в переводе "влажный" — т.е. смягчающий, умиротворяющий, растворяющий соль обиды. Сатира ранит, юмор тешит, сатира сокрушает и разжигает пламя, юмор гасит пожар.

В русской литературе наглядный пример — Гоголь и Салтыков-Щедрин. У Гоголя преобладает юмор, у Щедрина — сатира. Можаев, на мой взгляд, более склонялся к Гоголю и, может быть, Чехову, нежели к Щедрину. Хотя социальная злость и социальная месть призывали его в ряды автора "Города Глупова".

Впрочем, как ни пытался он подняться до испепеляющей сатиры в своих книгах, там, в книгах, он был намного мягче, чем в жизни. Здесь, сводя счеты с властями, он иногда задевал и безвинных.

Приведу один пример. Было это в конце 60-х годов. Я служил тогда в "Литературной газете". Одновременно со мной, но в другом отделе, работала Л.Т. — самая красивая женщина нашей редакции. Она была тогда еще молода и неопытна, а главное, полна желания сделать что-то доброе. Дружа с Можаевым и зная его дела (его не печатали, пьесу о Кузькине запретили на Таганке, имя не упоминали в печати), я посоветовал Л.Т. взять у него интервью. Можаев был рад, интервью появилось в газете, и тут мою бедную сообщницу вызвали на ковер. А. Чаковский на редколлегии кричал на нее и угрожал, что ее уволит.

Что же произошло? Можаев сознательно дал Л.Т. ложную информацию. Воспользовавшись тем, что корреспондентка наивна и, конечно, верит ему, он сказал, что его пьеса "Живой" уже разрешена тогдашним министром культуры Фурцевой. Фурцева, естественно, пьесы не разрешала, наоборот, как раз накануне интервью она ее категорически запретила. Но Борис решил обехать ее на кривой козе, рассчитывая, что публичное, через газету, оповещение о разрешении поставит министра перед свершившимся фактом.

Он при этом ни на минуту не задумался, что будет с молодым корреспондентом. Да и не в его правилах было об этом думать. Он боролся за свою пьесу, и это казалось ему важнее чьей-то судьбы. Когда Бориса стали разыскивать, чтобы получить разъяснения насчет интервью, его и след простыл.

В случае, если б Л.Т. уволили, она бы никуда не смогла устроиться, так как ей фактически был бы выдан "волчий билет". К счастью, обошлось строгим выговором "с занесением".

Виновник этой истории ей, конечно, не позвонил и не извинился.

Шло ли это от его эгоизма, от его природы, или таковы были правила борьбы? Скорее, здесь имело место последнее. Восточная пословица гласит: "кто долго с кем-то борется, начинает пахнуть потом своего врага". Немало людей из числа тех, кто не подчинился режиму, зная его растленность и подлость, считали себя вправе отвечать ему если не тем же, то, по крайней мере, не гнушаться одним из его "нравственных" постулатов: цель оправдывает средства.

В 60-е годы Можаяев жил на улице Чайковского, в доме напротив американского посольства. Огромная квартира с длинным коридором и большой кухней, высокими потолками, высокими окнами поразила меня. После моей хрущобы тут казалось просторно, как на футбольном поле. Только гром и грохот Садового кольца сотрясал стекла в окнах и посуду на столе.

Уже в конце 70-х, когда Можаяев с семьей переезжал в Безбожный переулок, мне предложили его квартиру, и мы с женой зашли к нему, чтоб посмотреть ее. Можаяев жаловался, что КГБ просвечивает американское посольство какими-то лучами и от этого у них плохо работает телевизор, а у него болит сердце.

Когда я работал в "ЛГ", Борис часто заходил ко мне. Иногда он вынимал из кармана пачку редких в то время сигарет "Кэмэл" и предлагал закурить.

— А откуда у тебя "Кэмэл"? — спрашивал я.

Он загадочно улыбался и, сделав длинную паузу, отвечал:

— Оттуда.

— Откуда "оттуда"? — не понимал я, хотя все эти эвфемизмы: "они", "там" (при этом указывалось пальцем на потолок), "оттуда" — не нуждались в расшифровке.

— Не понимаешь, что ли? — хитро щурился Можаяев и, сделав еще одну длинную паузу, разъяснял:

— Из Кремля.

В конце концов, он рассказывал мне, что только что был у Д.С.Полянского (члена Политбюро и министра сельского хозяйства) и там курил с ним эти сигареты, которые продавались в кремлевском буфете.

— Ну, Боря, ты даешь! — отчасти смеялся, отчасти восхищался я. — Ну и оппозиционер! С одной стороны, тебя не печатают, ты друг Солженицына, с другой — катаешь по Москве на черной "Волге" с желтыми фонарями, живешь напротив американского посольства и куришь "Кэмэл" с Полянским!

Он улыбался и отвечал:

— А ты что думал? Они будут "Мальборо" курить, а мы "Дымок" или "Приму"? Хер им...

И удалялся, оставляя у меня в комнате приятный аромат сигареты.

Зная его, как человека в литературе безупречно честного, я удивлялся, как он совмещает в себе этих двух Можаявых: одного, рубящего в своих книгах правду-матку, второго — друга советской милиции (он делал фильмы о милиционерах, и те поставили ему желтые фонари, которые имели только правительственные машины), своего человека в Кремле и т.д.

Поведаю еще об одной истории, в которой есть тема "Можаяев и Кремль". В Кремле (а точнее, в Большом Кремлевском дворце) мы все, конечно, бывали — там проводились съезды писателей. И если вдруг на это мероприятие отводилось всего лишь помещение Колонного зала Дома союзов, писатели роптали: не уважило правительство.

Итак, мы в очередной раз встретились с Борисом в Кремле. Повод был неординарный: выдавали ордена. В конце 1984 года обессилевший Черненко решил сыграть свою последнюю роль — благодетеля интеллигенции. Я удостоился ордена "Знак почета", той же высокой наградой отметили и Можаяева. Надев костюм и галстук, я отправился в Кремль. Вручение должно было происходить в Георгиевском зале. На стульях сидели и по залу бродили писатели, тоже по этому случаю извлечшие из шкафов парадное платье. Зал жужжал, как передняя Хлестакова. Я сел в одном из дальних рядов, возле прохода. И не успел я опуститься на ступ, как увидел Можаяева. Мы встретились с ним глазами и как-то стыдливо поздоровались. Можаяев сидел в том же ряду с другой стороны прохода.

Мне показалось, что он несколько не в себе. На его лице не было обычного смешливого прищура и победоносного, гордого, как всегда, выражения. Их стерла растерянность. Кругом сидели, громко болтали, находясь на нервном подъеме, те, кого он не только не уважал, а презирал и третировал, — то есть советский литературный официоз. Он отыскивал среди скопища малоприятных для него лиц хотя бы одно лицо, на котором мог бы остановить взгляд, и присутствие которого оправдало и его присутствие здесь. Не найдя ничего более подходящего, он остановился на мне. Вскоре мы уже сидели рядом, и Можаяев, кажется, вновь стал Можаяевым: он хитро мне подмигивал, шутил и выдавал на-гора свои припечатывающие всех и вся характеристики.

Позже он рассказывал мне, что творилось у него на душе в эти минуты. Вон там, в первых рядах сверкает орденами Марков, тут же другие, поменьше, готовые писать и печатать, что велено, и в одной очереди с ними я, Борис Можаяев. Я сижу и жду, когда Зимянин (секретарь ЦК по идеологии) вручит мне самый завалающий, самый последний из всех орденов, которым награждается литературная плотва. В зале полно народу, полно корреспондентов, сегодня же вечером все это покажут по ТВ, и там может мелькнуть мое "счастливое" лицо. А то еще попросят интервью. И что скажешь? "Благодарю партию и правительство"? Окуджава не явился, орден не захотел, Богомоллов — тоже, а я, — несмотря на то, что меня давят, режут, не пускают на сцену — пришел.

Он так от меня и не отходил до конца церемонии. После награждения нас погнала фотографироваться. Борис взял меня под руку и сказал: " Вме-

сте стоять будем". Он боялся, что рядом с ним окажется какой-нибудь Михаил Алексеев, и, по-моему, подыскивал глазами второго соседа, способного прикрыть его с другой стороны. Так мы и запечатлены на кремлевской фотографии: огромная пирамида из лиц, в основании которой Зиямын и литературные генералы, а мы с Борисом где-то в середине, и мне кажется, он крепко держит меня за локоть, чтоб я не сбежал.

Коль речь зашла об орденах, то припомню и другое награждение, где виновником торжества был уже один Можаяев в день своего семидесятилетия 1 июня 1993 года. Отмечали эту дату в театре на Таганке. Прежде бурлящий даже у входа театр был пуст. Никто не спрашивал билетика, не толкался у дверей. Редкие фигуры, выйдя из метро, направлялись к подъезду. На тротуаре перед входом, поджидая кого-то, стоял Солоухин.

Я сказал ему: "И вы здесь?" Он ответил, как бы извиняясь: "Неудобно, сосед все-таки". Солоухин и Можаяев в то время уже жили на одной даче в Переделкино.

В зале, который я привык видеть забитым до отказа, зияла чернота незанятых кресел. Сцена была освещена, на ней стояли знакомые декорации "Кузькина".

Начался спектакль. Золотухин играл Живого. Все было, как и прежде, но не было одного — смеха. Никто не аплодировал, хотя на сцене сидел юбиляр, рядом с ним Любимов: перед нами прокручивали старую пленку нашей молодости. Оттого не радость, а печаль была на сердце. Шутки не веселили, подначки не задирали, кураж, если можно так выразиться, не куражился.

Затем на сцену вышла вся труппа, и спектакль по "Кузькину" сменился обрядом награждения. Можаяева поздравляли, вручали подарки, желали ему многая лета. Гвоздем программы стал указ Президента о награждении его орденом. Указ огласил и орден Дружбы народов вручил Тимур Пулатов, взлетевший благодаря перестройке на кресло Маркова. Странно было видеть всю эту процедуру в обрамлении декораций "Живого" — пьесы, когда-то перевернувшей судьбу Таганки и ставшей знаменем ее сопротивления. То, что сейчас происходило в театре, было пародией на его прошлое. После Пулатова на сцене возник потомок художника Поленова, возглавлявший в Верховном Совете какой-то комитет. Он передал юбиляру чайный сервиз — личный подарок господина Хасбулатова. Были горячие дни противостояния Ельцина и парламента, и, услышав имя Хасбулатова, Юрий Любимов встал и бесшумно, как тень, исчез со сцены.

И, конечно, все это заметили. Как всегда, паясничал С. Михалков. Он преподнес юбиляру, вынув из полиэтиленового пакета, огромную бутылку водки "Абсолют", видимо, давая понять, что Можаяев теперь для него абсолютно свой, так как оба они состояли в одном и том же Союзе писателей, называвшемся "бондаревским", в отличие от другого — "демократического".

И тут я должен объяснить читателю, что означают эти прилагательные. Как и все наше общество, писатели после августа 1991 года поссорились. Одни, считавшие, что "демократическая" революция приведет страну к гибели, оказались в Союзе писателей России, возглавляемом

Ю.Бондаревым, другие — в Союзе российских писателей, приветствовавшим победу Ельцина.

Можаяв, кстати, тоже был "за" Ельцина и выступил на инаугурации первого российского Президента с речью, которую потом напечатал в "Литературной газете". Но ему не нравилась московская литературная тусовка. Ему были противны вчерашние коммунисты, в одну ночь перекарсившиеся в "демократов". В "бондаревском" Союзе заправляли те же коммунисты, но они и не скрывали этого, а, главное, в нем осталось большинство склоняющихся к крестьянской теме писателей, (В.Астафьев, В.Белов, В.Распутин, В.Лихоносов, В.Солоухин, В.Личутин, В.Крушин).

В "московском" периоде наших отношений есть огромная теплая точка — Таганка. Известно, чем был этот театр для Москвы, для интеллигенции. Попасть туда на спектакль было почти невозможно. Надо было отстоять долгую очередь, чтобы достать билетик. Можаяв привел меня в театр, свел с Любимовым, и мы с женой стали бывать там как завсегда. Сам Борис в то время ходил сюда почти каждый день. Шла война за "Живого", который уже несколько лет не мог пробиться к зрителю. Я не только посмотрел все спектакли Таганки, но и был свидетелем обессиливающего ее противостояния с властями.

Два события в этой можаяевской эпопее запомнились мне: обсуждение пьесы в присутствии руководства Министерства культуры и директоров совхозов Подмосковья, привлеченных в качестве экспертов и потенциальных литературных героев (все они, кстати, были Герои Социалистического Труда), и визит на Таганку Демичева. "Герои" в один голос "несли" спектакль как поклеп на социалистическую деревню. Любимов им отвечал. Он говорил, что не лезет в их дела, не учит, как им сеять и жать, и пусть они не учат его, что ставить и как.

Борис привел с собой в театр "группу поддержки", в которой среди других были М.Яншин, В.Солоухин, С.Зальгин. Все они выступили и защитили его. Сам же Борис, по-моему, "перегрелся" — и немудрено: вслед за одним спектаклем, где на сцене гоняли, как зайца, его героя, состоялся еще один, где собак спустили уже на автора пьесы.

Надо сказать, что театр не ослабил, как это часто бывает, а, наоборот, усилил звучание повести. Талант Любимова, всегда тяготевший к карнавальным краскам, и здесь остался верен себе. Традиционную повествовательную стихию "Кузькина" он перевел в бравурные ритмы райка, героико-комического балагана. На сцене гремели частушки, играла гармонь, вакханалия веселья, доходящего порой до раблезианского неприличия, поджигала зал. Зал и сцена сливались, хотя в зале сидели интеллигенты, а на сцене рыдала, смеялась, грустила и ерничала не лубочная, не переодетая в сапоги и ватники, а настоящая, неподдельная, только что, казалось, явившаяся откуда-то из-под Рязани, русская деревня.

Любимов записал весь ход собрания на пленку и позже не раз прокручивал ее, чтоб вдохновить актеров на очередной подвиг. В тот день автор и театр одержали моральную победу, но ничего не добились.

Тогда Любимов решил пригласить на Таганку министра культуры Демичева. Можаяв вновь созвал свою команду, и в жаркий летний полдень

мы по одному стали стягиваться к дверям театра. Войдя в фойе, я сразу почувствовал, что меня прощупывают невидимые в темноте зрачки (после яркого света улицы в глаза бил мрак). То была вытянутая от входа в театр до входа в зал охрана министра.

В зале сидело человек пятнадцать-двадцать. Им были хорошо знакомы и пьеса, и спектакль. Тем не менее, зрители в смешных местах смеялись, хлопали, потому что зрелище было отчаянно веселое. Нельзя было не потешаться вместе с Кузькиным, нельзя было и не печалиться, когда смех склонялся к слезам. Демичев сидел как деревянный. Ни один мускул не дрогнул на его щеках, сама шея, кажется, привинченная к туловищу, стояла как кол, и так же стояла привинченная к ней голова. Я хорошо видел эту голову, так как расположился через два ряда позади министра. По левую руку от него сидел Можаяев. Он так переживал, что, когда спектакль, шедший три с лишним часа, кончился и все встали, у него от подмышек на рубашке расходились темные круги. Полное безразличие соседа к тому, что он, Борис, написал и придумал — и так красиво придумал! — лишило его сил.

Демичев пожал автору руку и, не сказав ни слова, не обернувшись на зал, на стоявших тут же Любимова и Целиковскую, нырнул в проем двери, по бокам которой стояли два ражих молодца.

"Живой" и на этот раз остался под запретом.

Сейчас, издали, все это кажется нестрашным и даже достойным шутки. Но тут слезы и боль, и загубленная жизнь!

Выпустили спектакль уже при Горбачеве, но историческое мгновение было упущено: после 1988 года посыпались не только колхозы, но и весь СССР.

Перечитав сейчас можаевскую повесть, я вижу, что иного примера в прозе советского времени, когда смех мог бы так покрыть крестьянское горе, нет.

Немало было мужиков в нашей литературе: и лихие, и тихие, и весельчаки попадались, зубоскалы, но такого, как Кузькин, не было. Можаяев называет его в повести по отчеству: Фомич. Так называют родного, близкого. И в самом деле, Фомич этот напоминает можаевского отца: тот не вступил в колхоз, этот вышел из колхоза. И хотя на дворе 1953 (т.е. уже нет Сталина), поступок этот равен самоубийству.

Кузькин балагур, но не дед Щукарь. Его озорство высшего порядка и зовется оно веселием духа.

Вся крестьянская литература по преимуществу оплакивала мужика, оплакивала погибшую русскую деревню. Можаяев, смеясь, расставался с ее прошлым. Он и не сознавал, что расстается, когда писал "Кузькина", но это было так. Потому что, кажется, уже и смех засыхал на губах мужика, уже не смеялся он, а одно горе надрывало сердце и исторгало из него жалостный звук.

Юмор Можаяева праздничен, стихичен и, как говорил Аполлон Григорьев, живороден. Не случайно потом, когда цензура в отдельном издании запретила название "Из жизни Федора Кузькина" (чтобы не напоминать о новомировской публикации), Можаяев дал повести другое имя — "Живой". Впрочем, оно соответствовало и имени героя, которого прозвали так

в деревне Прудки за живучесть. Можаяев, я думаю, отдавая Кузькину свои черты, создал тип, характер, а именно характер долее всего удерживается в народной памяти.

И еще, что было в Борисе живородного, так это тяга к земле, бессмертный крестьянский зов, который есть в каждом человеке, родившемся в деревне. И, я думаю, в русском человеке в особенности.

Как-то княгиня З. Шаховская, когда мы говорили о Бунине, сказала, что русские писатели потому так много и так любовно и нежно пишут о природе, что она в средней России неярка, бедна, в отличие, скажем, от природы Франции, которая не нуждается в поэтизации на страницах книг.

Мне кажется, это справедливо не только в отношении Можаяева, но и всей крестьянской литературы 60-70 годов.

Я узнал о его кончине из сообщения радио "Свобода". Сразу после этого передали комментарий Бориса Парамонова, как всегда умный, и, как всегда, не имеющий отношения к делу. Можаяев был для Парамонова литературный диссидент, который перекинулся в "бондаревский" Союз писателей, но так и не нашел общего языка со своими, как он выразился, "подельниками".

Поразительно, как заграничные русские ничего не могут понять из того, что происходит в России. Приезжает профессор американского университета (еще недавно посредственный советский журналист) и предлагает с помощью извлечения из-под земли какой-то трубы, которая состоит чуть ли не из чистого золота, в одночасье осчастливить отечество. Другой — из Нью-Йорка — пишет статьи о кончине русской литературы, якобы еще в XIX веке нанесшей непоправимый урон цивилизации. Третий, как Б. Парамонов, возводит свои химерические строения на русском песке.

Но вернемся в 70-е. Битвы тех лет — битвы за правду, за удержание достоинства, за то, чтобы дожить остаток лет с уважением к себе, стали стихать. Мы старились, и старились наши чувства — каждый уходил в себя, и каждый яснее стал сознавать, что общего спасения нет. Конец 70-х — темное, глухое время. Солженицына уже не было в России, Сахарова загнали в ссылку, интеллигенция разбрелась по своим квартирам. Для кого-то исповедальней стала кухня, а для кого-то — свой стол и лист бумаги.

Успех, вызванный появлением "Кузькина", не повторился. Можаяев по-прежнему числился в "списках", что-то печатал, но вокруг его имени уже не было споров, даже цензурные гонения, о которых раньше узнавала вся Москва, теперь сделались иезуитски бесшумными: книгу убивали, но эхо от этого убийства уходило в пустоту. Так, по-тихому, "зарезал" в издательстве "Современник" критик В. Чалмаев роман Бориса "Мужики и бабы".

"Мужики и бабы" вышли, как и спектакль о Кузькине, в начале перестройки и не в "Москве", и не в "Новом мире", а в журнале "Дон" (№№ 1-3, 1987). Это роман-тризна по искалеченному крестьянству. Впервые в беллетристике советского времени был сдернут покров с



"раскулачивания", с геноцида коммунистов по отношению к большинству населения России.

Когда мы говорим о "деревенской прозе", то забываем, что Россия всегда была крестьянской страной. Думаю, вплоть до последней войны 1941-1945 гг. Тогда остатки крестьянства пошли под нож: недобитые голодом и коллективизацией, они легли под немецкие танки. И, уминая их еще плотнее, прошла обратно на запад наша армия.

Пошел под нож и русский язык. Не секрет, что русская литература от Пушкина до Толстого черпала из народного родника, который, как родничок в повести В.Белова "Привычное дело", был затоптан и иссох, кажется, навсегда.

"Крестьянские" писатели поколения Можаяева были последними, кто донес до нас аромат русского слова, кто продлил ему жизнь хотя бы на страницах книг. Может быть, по этим книгам наши правнуки (на внуков не надеюсь) станут заново учиться родной речи.

Как-то мы с Борисом взялись подсчитать, сколько слов используется в хабаровской краевой газете "Тихоокеанская звезда". И получилось, что всего-то их набралось около четырехсот. А сколько их в словаре Даля? Больше двухсот тысяч.

Как и все литераторы, Можаяев был ревнив и чужую славу выносил с трудом. Как-то встретив меня в ЦДЛ, он сказал язвительно: "Что ты пишешь про этого хулигана?" Я понял его не сразу: "Про какого хулигана?" "Ну этого, который вора, блатного, выше всех в деревне поставил!" Речь шла о Шукшине, о "Калине красной". Про Абрамова он говорил: "Ну что Абрамов? Пу-бли-сист". Уже в начале 80-х, когда вышла наделавшая много шума повесть одного писателя, и в "Новом мире" была напечатана моя статья о ней, Можаяев, опять где-то столкнувшись со мною, ядовито влил: "Этот-то, новый твой любимец, писать совсем не умеет. Языка-то у него нет".

Помню еще нашу поездку с ним и Милдой в Латвию. Поводом стала встреча московских и латышских писателей. После отработки совпосовской обязательки, оправдывающей нашу командировку, мы закатились в какое-то местечко под Ригой, где и провели ночь накануне Ивана Купала. Прекрасная была ночь! Прямо в поле стояли столы с угощением, горели костры, женщины, наряженные в старинные народные платья, все были в полусумраке ночи красивы, а мы — пьяны, ибо вино (точней, водка) лилось рекой. Кстати, и река оказалась поблизости — к ней надо было пройти через полосу редкого леса, и мы ходили туда и бросали в быстро несущуюся воду венки из цветов, потом прыгали через костер и много пели.

И вот тут я впервые услышал, как поет Можаяев.

У него был сильный голос, он брал самые высокие ноты и от них без труда переходил к низким. Пел он русские песни, и как заражающе пел! Тут все лучшее в нем выходило наружу: и чувство гармонии, красоты, и страдание, тоска, и глубина этого страдания, и удаль, если он пел не грустную, а бравурно-ухарскую песню. Тут уж никакого притворства, никакой игры не было, а был один неразбавленный звук — звук сердца.

Наутро мы уехали в бывшее имение родителей Милды, где сохранилось несколько строений: дом, рига и остатки верфи, на которой сооружались когда-то малые суда. Дом показался мне дворцом, притом он был даже хорошо оставлен. Можаяев был добр и ласков ко мне, что-то читал из своих сочинений, мы выпивали, болтали, бродили по его владениям и прожили все время моего гощения душа в душу.

Возле дома был огород, над которым Борис хлопотал все эти дни. Он очень гордился тем, что этот обихожженный им кусок земли будет кормить семью всю зиму. Он вообще был очень хозяйственный, и все, что делает крестьянин, умел делать сам.

Борис всегда работал на стыке очерка и художественной прозы. Его в Москву позвал Ф. Парфенов, который в 60-е годы редактировал "Октябрь", и Можаяев печатался у него как очеркист, да и позже, уже будучи автором "Кузькина", не оставлял этого занятия — и ездил, ездил. В последние наши встречи в Переделкине он рассказывал о поездке по Нечерноземью. "Если мы не решим вопрос о земле, — говорил он, — мы никуда не придем."

Он жил этим и, может, от этого и умер, потому что когда за год до смерти стал редактировать журнал "Россия", где и собирался печатать свои очерки, ему дали понять, чтоб он уж очень-то не зарывался. Дали понять те, кто и предложил пост главного редактора. Начались новые муки — теперь уже с новой "цензурой", и пришла страшная болезнь.

Самые последние наши разговоры — уже разговоры 1995 года. Поселившись в Переделкине, я как-то пошел гулять. Иду по улице Серафимовича (переделкинский Невский проспект), смотрю, навстречу движется кто-то седой, высокий, с палкой. Сближаюсь с ним и вижу: Можаяев. Подходит, жмет руку. "С новосельем!" — "Спасибо". И пошли вместе. Гуляя, он рассказал мне, что стал главным редактором, что издает журнал правительство и у него большая программа. Намеревался он привлечь туда и Солженицына (его неизменно, с 60-х годов, называл "Саня"), о рассказах которого, только что появившихся в "Новом мире" и в "Литературной газете", отзывался невнятно-лестно ("Надо старику позвонить, что-то сказать, а то он обидчив").

С Солженицыным, кстати, меня заочно познакомил именно Борис. Он тогда только что перебрался из Рязани в Москву. Его рассказы об авторе "Ивана Денисовича" дышали восторгом: это был его кумир, может быть, образец человека, каким сам Борис хотел бы стать.

Конечно, восхищался он Солженицыным и как писателем. Рассказы об их житье-бытье в Рязани всегда содержали только часть информации, потому что полная информация была засекречена и не подлежала огласке. Тем не менее, когда у меня в 1968 году вышла книжка "Фауст и физики", Борис сам вызвался передать ее Александру Исаевичу. То был знак его высшего доверия ко мне.

В Переделкине в то последнее лето его жизни я не видел возле него никого. Он ходил один, стуча своей палкой. Палка присутствовала, скорей, для демонстрации ее веса и убойной силы, а не из-за немоги, из-за старости. Он был по-прежнему крепок, хотя и посерел лицом. Его все узнавали, ему охот-

но кланялись, но были ли у него друзья? Кроме Василия Рослякова, я никого из его друзей не помню. Может, в родной деревне на Рязанщине или где-то еще они и существовали, но в Москве? Я думаю, что причиной этого был его острый язык. Анатолий Ткаченко рассказывал мне, как Можаяв, уже после выхода "Кузькина", очень обидел его. "Ты, Толя, — бросил он ему, — в литературе пока сержант, а я уже полковник." Такое не забывается и в писательском мире, где самолюбие наезжает на самолюбие, не прощается. "Языще, супостате, губителю мой!" — мог бы сказать о себе Можаяв.

Известны злые розыгрыши, на которые он не скупился. Осуществлял он их блестяще, потому что был прекрасный актер и бесподобный пародист. Он пародировал голос, манеру, интонацию, и отличить его в такую минуту от человека, которого он изображал, не было никакой возможности.

Так Борис разыграл однажды Федора Абрамова. Позвонив тому по телефону, он на ломаном русском спросил: "Имею ли я честь разговаривать с выдающимся русским писателем Абрамовым?" — "Да", — ответил, еще не понимая, кому отвечает, Абрамов. "Я Генрих Белль, я поклонник вашего таланта, могу ли я просить о встрече с вами?"

Абрамов (он приехал в Москву из Ленинграда и остановился в гостинице "Россия") отложил все дела и стал ждать в гости Нобелевского лауреата. Федор Александрович заказал роскошную закуску, выставил на стол коньяк и дорогое вино и даже надушился каким-то одеколоном, который ему посоветовал купить в киоске буфетчик.

Время шло, а Белля не было. Прошло два часа сверх назначенного срока. Накалив терпение Абрамова до предела, Можаяв решил все же смилостивиться над ним. Он позвонил ему в номер и уже своим голосом спросил: "Федор, а кого это ты ждешь?" "А тебе-то что?" — ответил Абрамов. "А ты, часом, не Генриха ли Белля ждешь?" — спросил Борис и, не удержавшись, расхохотался.

В Переделкине мы неожиданно сблизились на почве спасения писательского имущества. Вражда между Союзам писателей привела к тому, что переделкинская земля, дачи, дома творчества во всех концах бывшего СССР, Дом литераторов, поликлиника, больница сделались вдруг ничьими. Их стали откровенно расхищать. "Бондаревский" Союз (в котором давно уж не было Бондарева) и Союз российских писателей решили заключить экономическое соглашение, чтобы унаследовать на равных эту собственность.

Эта идея лопнула. Когда коммунисты взяли львиную долю голосов на выборах в Думу, такие же коммунисты в "бондаревском" Союзе решили, что их час пробил и теперь им достанется все. Но кончилось тем, что никто ничего не получил. Можаяв волновался, или, как говорят про стариков, "кипятился", призывая к быстрейшему завершению дела. И, наверное, тяжело пережил его неудачу.

После смерти Бродского, его смерть ударила по мне как-то лично. Бродского я вообще не знал, а Можаяв был частью моей жизни. Когда я узнал, что Борис умер от рака, мне сделалось еще больнее. Значит, хоть и недолго, как говорят, но мучился.

Пусть Бог примет его душу и отогреет.

# ПРАВДА



# ОТ



## Светлана БЕСТУЖЕВА-ЛАДА

**Б**елая магия, черная магия, ведьмы, колдуны, ворожеи... Чего только не рекламируют сегодня в бульварных изданиях, и некоторые из нас, надо признать, верят всем этим "чудесам". Только вот результаты иной раз бывают не совсем те, на которые рассчитывают люди, прибегающие к столь экстравагантному способу решения своих, сугубо личных, проблем.

Установлено, что из десяти человек, верящих в приворот-отворот и прочие магические штучки, девять — представительницы прекрасного, а в данном случае уж точно слабого пола. Но и "хозяйка жизни" — мужчины тоже не прочь иногда попробовать на своей избраннице действие темных сил. Иногда при этом возникают достаточно забавные ситуации.

Если бы Алину спросили, почему она решила, что муж ей не верен, она бы не смогла дать четкого ответа. Почему? Потому что "потому" кончается

на "у". Прожив пятнадцать лет в довольно стабильном и счастливом — хотя и бездетном — браке, она изучила своего благоверного, что называется, вдоль и поперек.

И вот — здрасьте. В его жизни появилась другая женщина. Хотя ее присутствие не было явственно обозначено: никаких загадочных телефонных звонков, неоправданных задержек по вечерам, внезапных командировок, но нечто неуловимое появилось и не желало растворяться в повседневности. Денис был как бы прежним, но изменился настолько, что не почувствовать этого способна была лишь слепоглухонемая. Каковой Алина, естественно, не была.

На прямые вопросы Денис отвечать не желал, в хитроумно расставленные ловушки не попадался, и в душе у Алины нарастало смятение. Родной, можно сказать, до боли знакомый муж превращался в таинственного незнакомца, непредсказуемого и не-

управляемого. Смириться с этим было невозможно.

— Плюнь, — посоветовала Алине ближайшая подруга, узнав о внезапном изменении Дениса. — После сорона лет почти все мужики словно с ума сходят. Перемелется — мука будет.

Так-то оно так, но когда она еще будет — эта мука. А пока что ударение в этом слове приходилось ставить не на втором, а на первом слоге. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Алина перепробовала все известные ей способы обольщения мужчин — от прозрачных пеньюаров до вкусного борща, закатывала истерики и напускала на себя ледяной вид. Тщетно. Мужа безусловно и безоговорочно подменили. Или сглазили. Или — приворожили?

Будучи дамой достаточно современной, Алина, тем не менее, верила, что сглаз и приворот существуют просто по определению. Но до последнего времени эти понятия для нее существовали, как бы это сказать, скорее абстрактно, нежели конкретно. Однако выбор был невелик: сойти с ума в прямом смысле этого слова или все-таки попробовать сразиться с противником его же оружием. То есть прибегнуть к помощи потусторонних сил и приворожить мужа обратно. Как говорилось в когда-то популярной телерекламе, при всем богатстве выбора другой альтернативы не было. В данной конкретной ситуации. Во всяком случае, именно так назалось Алине.

Специалиста, могущего решить проблему, Алина выбирала долго и придирчиво. Н женщинам она испытывала инстинктивное недоверие, не без основания полагая, что они одурачат — и глазом не моргнут. Мужчина представлялся ей кандидатурой более основательной и заслуживающей доверия. Женская логика, как известно, штука чрезвычайно странная, поэтому не стоит задаваться вопросом, почему женщина, обманутая

одним мужчиной, доверяет свою судьбу другому, будучи абсолютно увереной в том, что все мужчины — подлецы. Все равно мужчина — лучше женщины, и точка. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

Колдуном оказался седой и импозантный мужчина в экстравагантном черном одеянии: нечто среднее между мантией короля и сутаной католического монаха. Убранство комнаты, где происходило таинство, было, однако, скромным: ни тебе черепов по углам, ни сушеных летучих мышей под потолком, ни экзотических ароматов. Кабинет мог с одинаковым успехом принадлежать и адвокату, и психоаналитику. Массивный письменный стол явно дореволюционного происхождения, суперсовременный гарнитур мягкой мебели, плотные бархатные портьеры на окнах, невидимые источники неяркого света... Нельзя сказать, чтобы простенько, но явно с большим вкусом и за немалые деньги.

Следуя полученным по телефону инструкциям, Алина выложила перед матром фотографию подозреваемого в неверности супруга, его чистый носовой платок, смоченный его же одеколоном, и пару любимых запонок. Колдун внимательно ознакомился со всеми предметами, сфокусировал взгляд на трепещущей Алине и изрек:

— Нужен сильный приворот, а то останетесь без мужа. Но придется и вам поработать, иначе ничего не получится. В течение недели ровно в полночь нужно выходить на ближайший перекресток и сжигать три волоса вашего мужа. Заклинание, разумеется, произносить с его именем — текст я вам напишу. И порошок подсыпать — для закрепления эффекта. А вашу ауру я почищу, иначе никакие заклипания не помогут. Разве можно так себя запускать, голубушка? Квартиру, наверное, регулярно убираете, душ или даже ванну ежедневно принимаете, а аура...

У Алины отвисла челюсть. О том, что у нее имеется аура, она и не догадывалась, тем более не подозревала о том, что данное явление нуждается в чистке. Ближайший перекресток, движение на котором замирало много позже полуночи, не слишком подходил для церемонии огненного привораживания. Да и милиционер, исправно на нем дежуривший, мог неправильно понять. Хотя принудительное лечение в психбольнице и отошло в прошлое, но память о нем еще не успела стереться. Дурдомом до сих пор можно напугать кого угодно.

Этими сомнениями она поделилась с мэтрром, но понимания не встретила:

— Чем дальше перекресток от вашего дома, тем меньше эффект, милая дама. Дело, конечно, ваше, не мне же муж изменяет. Если будете точно следовать моим указаниям, то почти стопроцентная гарантия удачного приворота. А если вам угодно думать о реакции окружающих...

Безусловно, неверность Дениса волновала Алину куда больше, чем все остальное. И накопленные за полгода триста долларов переночевали из ее сумочки в письменный стол колдуна, перечеркнув тем самым голубую мечту о новом пальто.

В пылу борьбы за семейное счастье Алина упустила из виду пустяк: позже десяти часов вечера Денис домой не возвращался. А ей-то надлежало целую неделю выходить из дома без пяти полночь. Уважительной причины для таких отлучек не было. Ближайшая подруга предложила свою помощь: ежедневно изображать тяжелый сердечный приступ (головокружение, взлом квартиры, острое пищевое отравление) и вызывать Алину, как команду спасателей. За неимением лучших вариантов пришлось согласиться на этот. Втайне, правда, Алина рассчитывала, что муж к полуночи уже будет спать сном праведника и ее отлучек не заметит.

Не буду описывать, как в самый первый раз Алина предала кремация элементы прически Дениса. Это не для слабонервных. Но отмечу, что во второй раз дело пошло веселее, а третий выход "на большую дорогу" был уже как бы даже рутинным. Ну, присела на корточки на "островке безопасности", ну, подпалали зажигалкой бумажный пакетик с заветным содержимым, ну, побормотала абракадабру с родным именем. Нормально. Чего не сделаешь ради возвращения любимого мужа в лоно семьи?

Только вот возвращение домой в третий раз принесло с собой некоторые не слишком приятные сюрпризы. Вместо того, чтобы мирно спать, как это было в предыдущих случаях, Денис сидел в коридоре на табуретке и молча ждал супругу.

— У меня голова заболела, — пролепетала Алина. — Душно в квартире, сил нет. Прошлась по улице, немного отпустило...

— Голова у тебя болит, по-моему, третий день, — сухо отметил Денис. — Точнее, третья ночь, в одно и то же время. Может быть, ты перестанешь считать меня идиотом и откровенно все расскажешь?

— Но я говорю правду! — попыталась возмутиться Алина.

И получила пощечину. Не больно, но обидно. Конечно, поднимать руку на женщину — поступок не бог весть какой красоты, так ведь сама виновата. Какой нормальный мужик стерпит, чтобы законная жена по ночам шлялась невесть где? Такое поведение даже в дневное время не поощряется. К тому же Алина испытала двойной эмоциональный шок: первый — понятно какой, а второй — внезапное озарение, граничащее с ликованием. Бьет — значит, любит. Бьет — значит, ему небезразлично, где она и что с ней. Значит, приворот начал действовать. Значит, отдан-

ные колдуну деньги — и немалые — потрачены не зря.

И в это же время Денис, уединившись в спальне, прокручивал в голове давешний разговор с коллегой по работе — женщиной хватной, умной, но несколько "задвинутой" на потусторонних явлениях:

— Твою жену явно сглазили. Или порчу напустили. Не бывает же так: пятнадцать лет не ревновала, а тут будто с цепи сорвалась. Или действительно что-то есть, а?

— Да в том-то и дело, что ничего нет. То есть никого. Наоборот, проблемы у меня с этим делом... А Алинка бесится, думает, что я налево хожу. Просто спятила баба.

— Да не спятила она, а порча на ней. Нужно снимать. Если хочешь — дам телефон. Без опытного колдуна в этих делах..."

Денис какое-то время колебался. Но очередная же ночная отлучка жены положила конец колебаниям. Действительно, сглазили его ненаглядную супругу. Или она по фазе двинулась. Говорят, после сорока лет все женщины начинают беситься. И он отправился к колдуну, предварительно, естественно, позвонив по данному коллегой телефону.

Колдуном оказался седой и импозантный мужчина в экстравагантном черном одеянии... После часового собеседования с демонстрацией фотографии Алины, носового платка, надушенного ее любимыми духами и кольца с бирюзой, Денис расстался с определенной суммой денег, зато обогатился загадочным порошком, который надлежало подсыпать супруге в яства или напитки, инструкцией, согласно которой ровно в полночь надлежало подносить к подвергшемуся порче объекту горящую свечу и трижды произносить некое заклинание. И, разумеется, его аура оказалась добросовестно почищенной. Мэтр деньги зря не брал: муж-

чина поздно вечером может выйти из дома за сигаретами или выпивкой, но уж никак не за тем, чтобы производить непонятные манипуляции и бормотать неприличные слова. Посему снимать порчу с объекта предлагалось исключительно в домашних условиях при минимальном физическом и психологическом напряжении.

Дальнейшие события развивались стремительно и, мягко говоря, неординарно. На следующий день, точнее, на следующий вечер оба супруга, как заколдованные, следили за часовой стрелкой. Денису это давалось с гораздо большим трудом, нежели Алине, поскольку ложиться спать он давно привык не позже одиннадцати. Даже выпитая за ужином чашка крепкого кофе не помогла. В какой-то момент он расслабился — и очнулся лишь через четверть часа. Кресло рядом с ним пустовало: Алина опять испарилась из дома.

Давать второй раз оплеуху было бы неоригинально. Денис решил ограничиться мрачным молчанием, подкрепив его демонстративно опронинутой рюмкой водки без закуски. Что для него, человека в принципе непьющего, было актом гранданского протеста — сродни попытки самоожнения на Красной площади. Алина схватилась за сердце и налила себе рюмку... корвалолоа. Что, в свою очередь, произвело впечатление на Дениса:

— "Скорую" вызвать? — нарушил он молчание.

— Не надо, — прошептала Алина, донельзя счастливая тем, что небезразлична супругу. — Само пройдет. Только не оставляй меня.

— Куда же я пойду на ночь глядя? — здраво спросил Денис.

— Я в принципе...

— И в принципе мне идти ну куда и незачем.

— Подействовало! — вздохнула-прошелестела Алина.



— Что подействовало?

— Лекарство, — услышал он после почти неуловимой заминки.

Пока подруга жизни сидела на табуретке с закрытыми глазами, Денис решил провести первый сеанс снятия порчи, хотя после полуночи прошло уже добрых полчаса. Он достал заранее приготовленную свечку, зажег ее и встал позади Алины — благо колдун не уточнял, с какой именно стороны испорченного объекта нужно эту самую свечку держать. А часом раньше, полчасом позже — с мужской точки зрения такие мелочи не имели принципиального значения.

Алина почувствовала запах плавящего стеарина и услышала невнятное бормотание у себя за спиной. Подсочив от неожиданности, она выбила свечу из рук мужа — и та прогнала дыру в веселенькой клеенке на кухонном столе. Запахло горелым пластином и нешуточным скандалом.

— Ты в своем уме? — задала риторический вопрос Алина.

Риторический потому, что находиться в чужом уме — как бы он, ум, ни был велик, — еще никому и никогда не удавалось. Тем не менее, заранее зная ответ, люди то и дело осведомляются об этом друг у друга.

— А в чем дело? — столь же незатесанно осведомился у нее супруг.

— Зачем тебе понадобилась свечка? До белой горячки уже допился?

Еще раз к вопросу о женской логике: кому удавалось допить до белой горячки с одной-единственной рюмки, будучи всю предыдущую жизнь убежденным трезвенником? Только провинившемуся в чем-то мужу.

— Я хотел тебе помочь. Порчу снять.

— Снять — что?

Если бы Денис сообщил, что хотел ее расчленить и приготовить что-нибудь мясное на завтра, наверное, Алина бы испытала меньшее потрясение.

— Ты же последнее время ходишь сама не своя. Мне посоветовали... Я пошел, узнал средство... Ну и вот...

В душу Алины закралось страшное подозрение.

— А порошок ты мне нуданибудь подсыпал? — спросила она.

— Да. В чай. Мне сказали, что он безвкусный. Порошок, в смысле.

— В смысле порошок, — тупо повторила Алина. — А разве свечку не нужно было зажигать ровно в полночь?

— Нужно. Так тебя же опять дома не было...

Денис осекся на полуслове и усталился на свою супругу.

— Алина! Признавайся, ты-то чем занималась?

Порошок, к счастью, оказался обыкновенным зубным, причем без мяты и прочих ароматических добавок. Ущерб от колдовских мероприятий, таким образом, оказался минимальным: одна оплеуха и прожженная клеенка. А вот польза от посещения колдуна и использования его рецептов, к сведению скептиков и маловеров, оказалась колоссальной. Алина избавилась от своих ревнивых подозрений и с полным пониманием отнеслась к проблемам супруга. Денис, успокоившись относительно психики любимой жены (а также кое-каких подозрений), вернулся к прежнему образу жизни, от которого получал удовольствие — и немалое.

Дело заключалось в том, что на работе у него установили новехонький компьютер, в память которого кто-то заботливый заложил невероятное количество безумно интересных игр. Оторваться от них вовремя и уйти домой было не так-то просто.

Мужская сила воли — такое же эфемерное понятие, как и женская логика. ■

ПАРАДОКСЫ



ПАСКАЛЯ

*“Он был королем в королевстве умов...  
и это главенство в сфере разума более  
достойно, чем слава королей.”*

**П. Николь**

## **Иван ЗЮЗЮКИН**

**X**отя за свою жизнь он сделал неизмеримо больше, чем позволяло ему слабое здоровье, хотя ни одного человека он зазря не обидел, не присвоил себе ничего чужого, а свое раздал — умерал он тяжело, мучительно, в великом беспокойстве. И, словно опасаясь чего-то в далеком будущем, когда его уже давно не будет на земле, он просил, умолял родных и близких ему людей, заранее оплакивавших его кончину, не устраивать пышных похорон, а на надгробном камне не обозначать имя...

Но, испытывая к нему великое, если не сказать коленопреклоненное уважение, родные и близкие, когда он умрет, все-таки побоятся исполнить волю покойного. И устроят ему пышные, с большими почестями похороны — одних священников на них будет приглашено с полсотни. А на надгробной плите из черного мрамора будут выбиты следующие слова:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ БЛЕЗ ПАСКАЛЬ, КЛЕРМОНЕЦ,

СЧАСТЛИВО ЗАКОНЧИВШИЙ ЖИЗНЬ

ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ УЕДИНЕНИЯ

В РАЗМЫШЛЕНИЯХ О БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ...

В этой, можно сказать, насильственно навязанной ему эпитафии слова о том, что он счастливо закончил свою жизнь, звучат, казалось бы, как неуместная ирония. Но нет, все как раз наоборот. Именно эти слова Паскалю, встав на вдруг из гроба, наверное, более всего и пришлись бы по душе. “Смерть является венцом блаженства души и началом блаженства тела”, — говорил он незадолго до своей кончины. А он всегда говорил лишь то, что знал наверняка...

Едва приступая к рассказу о жизни и делах Блеза Паскаля, сталкиваясь с задачами, которые вряд ли посильно решить в беглом журнальном очерке. Хорошо бы обрисовать эпоху, в которую жил и работал наш герой. Но из-за недостатка места ограничимся напоминанием о том, что это было начало XVII века, время, когда Франция неспешно переходила из средневековья в новые времена, когда благодаря стараниям хитроумных, властолюбивых кардиналов Ришелье и Мазарини (вот исторический парадокс!) королевская власть в этой стране настолько укрепитя, что Людовик XIV однажды, не моргнув глазом, заявит: “Государство — это я!” Надо бы сказать, сколько великих и прославленных людей жило во Франции в одно время с Паскалем. Но упомянем лишь имена, которые сами все скажут каждому более или менее образованному человеку: Декарт, Корнель, Ларошфуко, Ферма... Но, отчаявшись объять необъятное, вдруг приходишь к крамольной мысли: да нет, Паскаль сам по себе был такой личностью, что он в лю-

бую эпоху, в сравнении с любыми знаменитостями был бы Паскалем! Он был, если так можно выразиться, обречен стать великим человеком...

Вообще вся семья Паскалей, в которой Блез был вторым ребенком, была незаурядной. Начнем с отца, Этьена Паскаля. Дворянин, занимавший видное положение в своем родном Клермоне, а затем посланный самим Ришелье для замирения и сбора налогов в вечно мятежную провинцию Нормандия, он известен также как талантливый математик. Старшая сестра Блеза Жильберта впоследствии напишет о своем брате воспоминания, отмеченные несомненным литературным даром. Младшая Жаклина и того более — с малых лет пишет стихи, блестяще импровизирует на любую заданную ей тему, чем вызывает восхищение самого Корнеля и благосклонность королевы Франции. Даже о матери Блеза, умершей, когда ему не было еще трех лет, знавшие ее люди отзывались как о женщине исключительной доброты.

Что касается самого Блеза, то сказать, что он был вундеркиндом, не поворачивается язык: в речевом обиходе это слово несет на себе печать легкой, но все же иронии. Нет, он родился, как Моцарт или Пушкин, гением. В своих воспоминаниях о брате Жильберта Паскаль пишет, что Блез уже малышом высказывает такие мысли, от которых взрослым становится немного не по себе: столь недетскими они были по сути и по форме. Однако раньше всего он проявит свои уникальные способности к точным наукам. Первый трактат — о природе звука и способах его распространения — он напишет в возрасте десяти лет. (Рассказывают, первоначальным к его написанию станет звон фаянсовой тарелки, поразивший слух и ум мальчика.) Здесь же следует заметить, что Блез нигде не учился, вернее сказать, все заботы о совершенствовании его ума возьмет на себя отец. И вот, чтобы сынишка развивался всесторонне и гармонично, Этьен Паскаль как только может сдерживает чересчур ранний, на его взгляд, интерес Блеза к математике. Но, известно, запрет — лучший стимул для детей. Играя в своей комнате, рисуя угольком кубики и кружочки, так и этак соединяя их прямыми и кривыми линиями, Блез (читатель, приготовься!) самостоятельно открывает начала евклидовой геометрии. Иными словами, то, на что человечеству в лице математиков древнего Египта и древней Греции понадобятся тысячелетия, французский мальчик освоит, что называется, за один исторический миг. И это — лишь начало! В шестнадцать лет он напишет труд о конических сечениях, за который его бы и сегодня удостоили высокого научного звания. Наконец, стремясь помочь отцу в такой трудоемкой, рутинной работе, как подсчет собираемых налогов, юный Блез придумывает, сам изготавливает необходимые детали и собирает первую в мире счетно-арифметическую машину — далекий, но все же прообраз кибернетических устройств XX века...

Велик соблазн и дальше изумлять читателя свидетельствами столь ранних проявлений гениальности Паскаля. (Право же, даже лишь называя их, испытываешь тщеславное удовольствие, словно ты и сам имеешь к ним какое-то отношение.) Но мы, простые смертные, редко задумываемся, чего же маленьким гениям стоят их ранние порывы и их опережающие бег времени прорывы. Ведь поразительные открытия

и изобретения юного Блеза можно сравнить (конечно, с известным допущением) с тем, как если бы девочка лет семи-восьми родила ребенка. Такие случаи бывали, и они показывают, что младенец может оказаться полноценным, а вот мать, как правило, умирает или ее здоровью наносится непоправимый ущерб. Что-то подобное произойдет с Блезом: его организм, не выдержав умственных и душевных перегрузок, надорвется. Его сестра Жильберта сообщает, что после того, как брат создаст свою счетную машину, не будет ни одного дня, чтобы какое-то недомогание не отравляло его жизнь. Блеза то одолевают нестерпимые головные и зубные (при здоровых зубах) боли, то он корчится от резей в желудке, то его вдруг перестают слушаться ноги, и он вынужден ходить на костылях. Бывает, что из-за плохого самочувствия он не может ничего делать днями, неделями, месяцами. Так что если сложить дни болезней и вычесть их из прожитых им 39 лет, то получится, что всю свою титаническую работу (выдающиеся открытия в области математики, образцово поставленные физические опыты и эксперименты, сочинения на философско-религиозные, морально-этические темы и т.д.) Паскаль проделает за небывало короткий срок. А умрет-то он все же и в 39 лет от старости — большим, вдребезги разбитым, исчерпавшим все жизненные ресурсы человеком. Умрет, мучаясь тем, что сделал очень мало...

Враги Паскаля (а это прежде всего иезуиты, с которыми у него были острые разногласия по вопросам религии и этики), пытаясь опорочить его, распустили слух о том, что клермондец при всей своей учености — сумасшедший человек. Что ж, в этом не было ничего нового: посредственность во все века ставила знак равенства между гениальностью и безумием. Но с Паскалем дело обстояло сложнее. Враги называли день и даже место, где он лишился разума — деревушка Нейи, что под Парижем. Действительно, с Паскалем там однажды произошел странный, отдающий мистикой случай. Он проезжал через эту деревушку с друзьями в карете, запряженной четверкой. Очевидно, стараясь угодить молодым людям, кучер гнал лошадей во весь опор. И когда экипаж въехал на мост через реку, лошади, словно испугавшись представшей перед ними нечистой силы, резко свернули влево и, проломив перила, оборвав постромки, упали в реку. Карета же чудом устояла на краю моста. Говорят, на Блеза этот случай произвел ужасное впечатление: он потерял сознание. И с тех пор стал панически бояться пустого пространства, всегда по левую сторону от себя — как бы вместо перил — ставил стул... Но о каком безумии могла идти речь, если он и после этого случая на мосту делает немало выдающихся научных открытий, а также напишет обесмертившие его имя "Мысли" — то, что, как ничто другое, свидетельствует о пронзительной ясности и мощи его ума?..

Нет, разум не оставит Паскаля до самой смерти. И все же, все же... Говоря о его судьбе, нельзя ни на минуту забывать, что он — вечно терзаемый какой-нибудь болью человек. Это не может не оставлять глубокого (порой, как рана, глубокого) отпечатка на всем, чем Блез живет, что делает. Помня об этом, мы лучше поймем причины некоторых его,

на первый взгляд, нелогичных, а по убеждению его врагов, даже и аморальных поступков.

Начнем с того, что Блез, с ранних лет обуреваемый жадной познания, горячо и страстно верит в Бога. А когда он познакомится с янсенистами из монастыря Пор-Рояль (ревнителями устоев раннего христианства, проповедниками уединенной, аскетической жизни и духовного братства всех, независимо от сословной принадлежности, людей), его вера приобретет иступленный характер. Молодой Паскаль вдруг осознает греховность и ничтожество жизни своих родных и своей собственной. Они и он — праведные христиане? Но чем они и он отличаются от остальных людей? Так же много, как и все, думают о себе, стремятся к богатству, роскоши, славе. И это в то время (взять, к примеру, Париж, куда семья Паскалей из Нормандии переезжает жить), когда кругом еще столько горя, бедности и несправедливости... Три самых главных порока, которых человеку следует остерегаться более всего, обозначит для себя молодой Паскаль. Это — “похоть знания”, “похоть чувства” и “похоть власти”...

Но то — на словах (и тут недоброхоты Паскаля начинали злорадно потирать руки). А на деле сын состоятельного чиновника, баловень судьбы (если не считать слабого здоровья) Блез Паскаль с преобладающим удовольствием предается им же осужденным порокам. Взять хотя бы “похоть знания”. Так и кажется, что чем сильнее он отрешивается от занятий науками, тем чаще его голову озаряют гениальные догадки и открытия. Фигурально выражаясь, сегодня он формулирует знаменитую “Паскалеву теорему”, завтра, параллельно с великим Ферма, закладывает основы теории вероятностей, затем с блеском и молодым задором опровергает считавшийся до него незыблемым постулат о том, что природа боится пустоты... При этом Блезу далеко не все равно, что о нем думают и говорят современники. Он вовсе не против того, что его уже при жизни называют “замечательным гением”. (“Слава так приятна, — признается он позже, — что мы ее любим, с чем бы она ни соединялась, даже хоть со смертью...”) Он не ведет себя как покорная овечка, когда кто-то, пусть даже сам Декарт, пытается оспорить его авторское право. (“Я смело говорю вам, месье, что этот опыт изобрел я и новое знание, открытое им, целиком мое.”) С “похотью власти” Блез борется, но — без большого успеха. Так, отрицательное отношение к абсолютизму совсем не мешает ему вступить в оживленную переписку с тщеславной шведской королевой Кристиной, изображавшей себя покровительницей наук и литературы. “Я особенно почитаю тех, кто находится на высших ступенях либо могущества, либо знания, — пишет он королеве, в первом случае подразумеваемая ее персону, а во втором, судя по всему, свою. — Последние, если я не ошибаюсь, могут считаться государями...”

И, что уж совсем удивительно и даже несколько подозрительно, молодой ученый и философ, проведший столько лет в кабинетной тиши, вдруг на пороге своего тридцатилетия с головой окунается в светскую жизнь. Да, да, скромный, неразговорчивый, всегда немного печальный Блез начинает одеваться по последнему крику тогдашней моды (белоснежный парик, камзол, расшитый жемчугом и серебром), охотно по-

сецает аристократические салоны Парижа, где главное — бесконечное плетение изящных словесных кружев, состязания в остроловии и злоязычии, где даже учение Коперника приспособливается для игривой беседы с дамой сердца. И среди какой блестящей (в основном, благодаря дорогим украшениям) публики ни появился бы Блез, везде он чувствует и ведет себя как истый сын своего времени и своего сословия. Именно в это время он и знакомится с молодым герцогом де Роанне, губернатором провинции Пуату, и его сестрой Шарлоттой, завязав с ними дружеские, а с Шарлоттой так и более, чем дружеские отношения... Через много лет после смерти Паскаля будет найден его (или при его участии написанный) трактат “Рассуждения о любовной страсти”. В нем впервые (а Паскаль во многом был первым) предпринимается попытка судить о таком неподвластном рассудку чувстве, как любовь с точки зрения... рассудка. “Чем длиннее дорога в любви, тем больше удовольствия для тонкого изящного ума”, — делится своим опытом Паскаль, вчерашний кабинетный затворник. — В любви нужна ловкость. Способы нравиться постепенно истощаются. Но нравиться необходимо, и находятся новые способы...” Интересно, изрекая эти светские банальности, сознавал ли сам Блез, что он тем самым как бы предавался “похоти чувств”?..

Но за что больше всего упреков и обвинений (в ханжестве, лицемерии и прочем) получит Паскаль от своих критиков, так это за то, как он влияет на судьбу самых близких и дорогих ему людей. В самом деле, не кто иной, как Блез, убеждает младшую сестру Жаклину посвящать всю без остатка жизнь Богу. Молодая, красивая, щедро наделенная талантами, она отказывает всем своим поклонникам в руке, перестает писать стихи и, в конце концов, уходит в янсенистский монастырь Пор-Рояль, где и проводит остаток жизни под именем монахини Сент-Евфимии. Когда же она выразит желание доставшуюся ей от отца часть наследства передать в распоряжение монастыря, кто первым выступит против этого? Ее любимый брат Блез. И, подумать только, один из родовитейших вельмож Франции вышеупомянутый герцог де Роанне — и тоже под влиянием Паскаля — добровольно откажется от губернаторской должности и укроется под сенью того же Пор-Рояля. Следом за ним туда придет и его сестра Шарлотта, влюбленная (но, кажется, без особой взаимности) в Паскаля, и будет находиться там много лет, пока родственники силком не возвратят ее домой и не выдадут замуж за другого... А сам Паскаль? Он тоже много молится Богу, часто навещает своих друзей в Пор-Рояле. Но и не отказывает себе в светских развлечениях...

Список прегрешений Паскаля можно было бы, как и свидетельства его гениальности, продолжить, да — стоит ли? Как и все незаурядные люди, он был соткан из трепетной материи противоречий ума и души. Живое, человеческое в нем все 39 лет борется с его же идеальным представлением о человеке и его земном предназначении. Но попробовал бы кто-нибудь на его месте всегда и во всем быть последовательным, если физическая боль (и как ее отделить от душевной?) является вашим глав-

ным и непреходящим ощущением! (Кстати говоря, по некоторым сведениям, Паскаль и окунается в светскую жизнь по совету врачей — чтобы хоть на миг забыть.) И так как он наверняка понимает (ведь умные люди, увы, и в этом умны), что долго не протянет, он “и жить торопится, и чувствовать спешит”.

Но откуда нам знать, о чем думал Паскаль на самом деле, что творилось в его душе, особенно в последние годы жизни? Дневника, насколько нам известно, он не вел. Никогда и никому из близких ни на что не жаловался. А те, кому исповедовался в своих печалях и грехах, сохранили и унесли с собой сокровенные его тайны... Нет, все же кое-что Блез нам поведал о самом себе. Найденные после его смерти в виде беспорядочного вороха бумаг, приведенные его друзьями и последователями в систему и названные “Мыслями” короткие записи могут, пусть и не впрямую, считаться исповедью его ума и души. И чтобы читатель сам смог убедиться в их скрытой под строчками автобиографичности, проиллюстрируем наш рассказ о Паскале, пользуясь его же выражением, “живописью мысли”, приведем некоторые его высказывания о жизни, смерти, величии и ничтожестве человека. Итак, Блез Паскаль — о самом себе и о нас с вами.

*Не стыдно человеку предаваться печали, ему стыдно изнемогать от удовольствий. Ибо под властью печали склоняемся мы сами, не теряя своего достоинства, а удовольствия владеют нами, превращая нас в своих рабов.*

*Что за химера этот человек! Какое новшество, какой монстр, какой хаос, какой узел противоречий, какое чудо! Судья всех вещей, слабый червь, носитель истины, клоака недостоверности и ошибок, слава и хлам вселенной... Узнай же, гордец, каким парадоксом ты являешься для себя!*

*Когда человек пытается довести свои добродетели до крайних пределов, его начинают обступать пороки.*

*Я не знаю, кто меня послал в мир, что такое я. Я в ужасном и полнейшем неведении. Я не знаю, что такое мое тело, чувства, душа, что такое часть моего “я”, которая думает то, что я говорю, которая размышляет обо всем и о самой себе и все-таки знает себя не больше, чем все остальное. Я вижу эти ужасающие меня пространства вселенной, которые заключают меня в себе, я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, а не в другом месте, почему то короткое время, в которое мне дано жить, назначено именно в этой, а не в другой точке целой вечности... Все, что я сознаю, это только то, что я должен скоро умереть; но чего я больше всего не знаю, это смерть, которой не сумею избежать. Как не знаю, откуда я пришел, точно так же не знаю, куда пойду...*

*Из вечности мы делаем ничто, а из ничего — вечность.*



---

*Человек — самый слабый тростник в природе, но тростник мыслящий... все наше достоинство состоит в мысли. Только она возвышает нас, а не пространство и время, которых нам не заполнить. Будем же хорошо мыслить: вот основа морали!..*

*В равной степени непостижимо разумом, что Бог есть и что Его нет.*

*Истина столь тонка, что, чуть отступишь от нее, впадаешь в заблуждение. Но и заблуждение столь тонко, что, едва отклонишься от него, обретишь истину...*

*Никто в нашем присутствии не говорит о нас так же, как в наше отсутствие... и в мире осталось бы немного друзей, если бы каждый из них знал, что его друг говорит о нем, когда его нет рядом, хотя именно тогда он говорит искренне и без предвзятости...*

*Скрытые добрые поступки ценнее всего... Самое лучшее в них то, что их хотели скрыть...*

*Мое, твое... Эта собака моя, говорят бедные дети. Это мое место под солнцем. Вот начало и образ всех беззаконий на свете...*

*Людские похвалы все портят с детства. О, как он это прекрасно сказал! О, как он хорошо поступил, какой онмышленый...*

*Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо иметь все необходимое.*

*Прошлое и настоящее для нас средства; только будущее — наша цель. И таким образом, мы вообще не живем, а лишь собираемся жить...*

*Единственное, что утешает нас в наших несчастьях — это развлечение. А между тем развлечение — величайшее из наших несчастий. Оно... нас забавляет и позволяет приблизиться к смерти незаметно.*

*Как странно, что мы ищем утешения в обществе нам подобных, несчастных, как мы, бессильных, как мы; они нам не помогут, мы будем умирать в одиночку. Значит, надо поступать так, как если бы мы были одни...*

*Все люди неизбежно безумны, так что не быть безумцем означает только страдать другим видом безумия...*

*Все, что непостижимо, тем не менее существует.*

*“Мысли” Паскаля (и в этом читатель смог, наверное, убедиться по приведенным выдержкам из них) звучат одновременно как торжествен-*

ный гимн во славу человека и как скорбный реквием по нему же. Порой даже не знаешь, что предопределяет их мрачноватую парадоксальность: то ли сама жизнь, которая в каком-то смысле является парадоксом смерти, то ли парадокс, как говорится в одной книге, соответствовал “каким-то таинственным глубинам не только творческого гения Паскаля, но и его личности”. Как бы там ни было, но клермонец Блез станет первым на земле мыслителем, который “сорвет ум с петель” и подведет свою мысль к той черте, когда от нее уже начинает веять холодом запрелестности...

Говорят, известная грибоедовская пьеса первоначально называлась “Горе ума”. Но то, что не совсем подошло к драме Чацкого, хорошо объясняет, в чем заключалась жизненная трагедия Паскаля. Его ум во много раз превосходил его телесные и душевные возможности. Способный, как выразился один из друзей Паскаля, “оживить медь и вдохнуть жизнь в железо”, он вознесет своего обладателя на высочайший гребень прижизненной и посмертной славы. И он же, космически глубокий, бескомпромиссно честный, принесет ему страдания, по сравнению с которыми головная боль или рези в желудке — легкая щекотка. Ум обявляет Паскаля каждую мысль додумывать до конца, до самого, как говорят, упора. И это дорого стоит мыслителю. Как пишет один из исследователей его творчества, Паскаль в поисках истины и веры “упорно наталкивается на подводные камни, которые благоразумнее бы... обходить, а не открывать и не объявлять о них во всеуслышание”. Этот же исследователь уподобляет мыслящего Паскаля путнику, который, заблудившись в лесу, “то бросается вперед, то устремляется назад, в отчаянии садится на перепутье, испуская крики, на которые никто не отзывается, и, обезумев от душевной боли... призывает смерть, бросается наземь — и, только претерпев все мучения, только изойдя кровавым потом, достигает цели...”

Страдания мыслителя усугубляются еще и тем, что его ум работает в одной упряжке с его совестью. Да, у Паскаля думает и сердце! И для тех, кому это утверждение покажется красивым, но голословным, поведаем еще одну тайну жизни Блеза. Чтобы ни на минуту не забывать о своей личной ответственности перед Богом и истиной за все, что он говорит и делает, Паскаль носит под одеждой железный пояс, утыканный остриями. И когда он чувствует, что, устав или отчаявшись, готов поддаться заманчивому заблуждению или что его мысль, хоть логически и безупречна, но суха и не затрагивает душу человека, он бьет себя по поясу. Ищите истину со вздохом! — советовал он думающим людям. Он, который искал ее со стоном от боли...

Нет, все же, наверное, не зря критики Паскаля так напирали на случай с лошадьми, бросившимися с моста в реку. Он и сам увидит в этом эпизоде знамение судьбы. Уже после его смерти кто-то из слуг обнаружит зашитый Блезом в камзол исписанный листок бумаги, названный впоследствии “Мемориалом” или “Амулетом Паскаля”. “Бог Авраама, Бог Иакова, Бог Исаака, но не Бог философов и ученых... Забвение мира и всего, кроме Бога... Величие души человеческой... Да не разлучись

с ним веки... Отречение полное и сладостное..." Эти сбивчивые, написанные, наверное, в одну из мучительных бессонных ночей слова воспринимаются как клятва Паскаля покончить с суетной (и, прежде всего, со светской) жизнью и думать отныне лишь о благе людей и о своей душе. Недаром время, когда он принимает такое решение, он называет "годом Благодати"...

Теперь он большую часть времени проводит в Пор-Рояле, часами разговаривает с сестрой-монахиней, участвует в собраниях и молитвах янсенистов. Возможно, еще немного и Паскаль бы постригся в монахи. Но именно в это время Людовик XIV начинает (с подачи иезуитов) гонения на "еретический" Пор-Рояль. Над монастырем нависает угроза закрытия. Для сестры Паскаля, монахини Сент-Евфимии, даже мысль о том, что ей придется вернуться в мирскую жизнь, невыносима: Жаклина умирает. И Блез (не простивший друзьям-янсенистам уступок королю и иезуитам) по существу остается один. Он живет теперь преимущественно в Париже. И, выбирая между наукой и верой, год за годом отдавая предпочтение вере. Великий ученый и мыслитель становится великим моралистом. (Что-то подобное у нас, в России, произойдет с Л.Н. Толстым, который, кстати говоря, высоко ценил Паскаля и восхищался его "Мыслями". "Чудное место у Паскаля, — такую запись сделает однажды он в своем "Дневнике". — Не мог не удивиться до слез, читая его и сознавая полное единение с этим, умершим сотни лет назад, человеком. Каких еще чудес, когда живешь этим чудом?") Если прежде Паскаль являл миру шедевры научной и философской мысли, то теперь он, как бы переходя от слов к делу, на самом себе проверяет, от чего человек во имя веры и души может и должен отречься. Когда-то возражавший, чтобы его младшая сестра передала все свое достояние монастырю, Блез теперь раздает бедным людям не только то, что сам имеет, но и залезает в долги, чтобы прийти на помощь голодающим. (В свойственной ему парадоксальной манере излагать мысли он скажет: всякое имущество тем и хорошо, что его можно отдать другим.) Он берет на свое содержание девочку-сироту, но заботится о ней так, что об этом никто на свете, кроме одного священника, не знает. ("Скрытые добрые поступки ценнее всего...") Он велит вынести из дома, где живет последние годы, все, на его взгляд, лишнее: дорогую мебель, посуду, все, кроме религиозных, книги и даже просит содрать со стен красивые обои. Блез категорически отказывается от изысканной пищи, которую ему предлагает самоотверженная сестра Жильберта, мечущаяся между Клермоном, где она живет с мужем и детьми, и Парижем. "Есть, чтобы потакать своему вкусу, дурно, — ворчит на нее Блез, худой, кожа да кости, отодвигая от себя одно блюдо за другим. — Надо удовлетворять потребности желудка, а не прихоти языка..." Однажды он приведет и поселит в своем доме целую семью бедняков. Жильберта этим недовольна, ей кажется, что люди эксплуатируют доброту и причуды ее брата. "Как ты можешь говорить, что я не пользуюсь их услугами? — обижается, не понимает ее Блез. — Мне неприятно жить одному в доме, и вот теперь, ты видишь, я не один"...

Да, под конец жизни он полностью перестает заниматься наукой, во всеуслышание называет любимую математику “бесполезным ремеслом”. Но и тогда его светлая голова не может не работать, не может что-то не изобретать. Не кто-нибудь, а Блез Паскаль, заботясь о бедняках французской столицы, придумывает самый дешевый по тем временам способ передвижения — омнибус. Благодаря ему в Париже появляются многоместные кареты, которые движутся по одним и тем же улицам, останавливаясь в одних и тех местах. Омнибусом Паскаля открывается эра общественного транспорта. И это был последний дар клермонца Блеза человечеству...

Когда многочисленные болезни окончательно прикуют его к постели, жизнь Блеза станет еще невыносимей: выработанные им принципы морали теперь уткнутся в него подобно остриям военного железного пояса. Ему кажется нечестным, несправедливым, что вокруг него топчутся лучшие врачи Франции (лечившие самого Мазарини!), тогда как тысячи и тысячи бедных парижан вообще не знают, что такое медицинская помощь. И вот, пытаясь как-то утишить муки совести (хотя в чем его вина?), бедный Блез просит положить в его комнате больного из числа бедных людей, чтобы те же самые врачи лечили и его...

И еще Паскаля одолевает смертный страх, что он умрет, не покавшись в своих грехах, не получив причастия. Время от времени его навещает приходской священник. Выслушивая исповеди Блеза, он порой ушам своим не верит: Паскаль своим грехом считает даже то, что, с точки зрения других, является чуть ли не добродетелью. Впоследствии, вспоминая, как был кроток, терпелив, невинен умирающий, священник (с блистающими между строк слезами) напишет: “Это — ребенок, и был он покорен как дитя...”

Из всего, что сказано о Паскале как о человеке, это суждение, может, самое верное. У Блеза не было детства. Не будем говорить, почему и по чьей воле так случилось, но он выменял его на квадраты и конусы евклидовой геометрии, на чистую и холодную красоту чисел, и, даже став взрослым, до самой смерти оставался во всем ребенком: гениальным и наивным, упрямым и невинным — одновременно...

**ВМЕСТО ЭПИЛОГА.** Через сто тридцать лет после его кончины случится то, что Паскаль, возможно, предвидел и чего опасался. В годы Великой французской революции кому-то в голову придет мысль (если, конечно, это можно назвать мыслью) вскрыть могилу с прахом гениального сына Франции и из его костей добыть... философский камень. Да, да, тот самый камень, который по существовавшему тогда поверьям, мог простые металлы превращать в чистое золото.

По этому поводу хочется сказать: смешные мы, люди, существа! Не то в жизни ценим, не за тем в ней гоняемся... “Все тела, небесная твердь, земля и ее царства не стоят самого ничтожного из умов, ибо он знает все это, а тела не знают ничего, — такую мысль, вылитую из чистейшего золота мудрости, выскажет однажды бессмертный Паскаль. — Но все тела, вместе взятые, и все умы, вместе взятые, и все, что они сотворили, не стоят единого порыва милосердия...”

Об этом просит нас Паскаль не забывать никогда. Об этом...



# "мама, мне страшно!..."

**Татьяна КОЗЛОВА**

Ваш ребенок боится спросить у продавца, сколько стоит игрушка и под любым предлогом отказывается идти в гости. Робеет отвечать у доски, при этом краснеет и заикается. Вам приходится чуть ли не силой выгонять его из дома, чтобы хоть немного погулял на свежем воздухе, общаясь со сверстниками. Но стоит ли волноваться из-за такой "малости"? Стоит.

Хотя обычно такие особенности поведения сына или дочки особой родительской тревоги не вызывают. Папы и мамы лишь привычно досаждают на "несовременный" характер своего отпрыска: "Сегодня, чтобы преуспеть в жизни, нужны решительность и настойчивость, а он такой стеснительный!.." Тем не менее, говорится это, как правило, не без тихого удовлетворения: часто родители склонны видеть в застенчивом поведении своего ребенка плоды хорошего домашнего воспитания. И дай-то Бог, чтобы они не заблуждались на этот счет. Потому что необычайная, отличающая их ребенка от остальных сверстников стеснительность может оказаться проявлением нервного заболевания — **социофобии**.

## Скромная одноклассница

Мне всегда нравились одноклассники сына. В этом году они закончили школу, но встречаясь со мной, по-прежнему издалека кричат по-детски: "Здрасьте!" Кроме одной девочки. Той, с которой встречаться приходится чаще всего, потому что живем мы в одном подъезде.

Наташа всегда была очень стеснительной. Увидев меня, переходила на другую сторону улицы или просто опускала глаза, делая вид, что не замечает... Я старалась при наших случайных встречах улыбнуться однокласснице сына и поздороваться с ней первой. Но девочке от этого, по-моему, делалось еще более не по себе: лицо каменело, принимая почти злобное выражение. Как-то вскользь спросила у классной руководительницы: что это, — природная диковатость или просто пробелы воспитания?

— Дело здесь не в воспитанности, а в Наташиной гиперстеснительности, — ответила Татьяна Андреевна. — Она ведь и на уроках боится слово произнести. Я-то, чтобы лишний раз не травмировать, разрешаю ей отвечать письмен-

но. Другие же учителя просто ставят "двойки". Мать возмущается, уверяет, что каждый вечер проверяет у дочери домашнее задание, просит пересказать выученные параграфы. Делает это Наталья не блестяще, но, тем не менее, всегда готова ответить. И мама никак не может понять, что же все-таки происходит в школе, откуда эти двойки? Пытаюсь объяснить ей, но она отмахивается: считает, учителя просто не стараются найти к ее дочери подход. Может, мать и права, но с девочкой, и в самом деле, очень трудно — с этой ее болезненной застенчивостью.

Со временем дочкина "стеснительность" все-таки насторожила мать: женщина уже ясно видела, как тягостит ее ребенок своим характером. "Когда Наташа волнуется, то даже начинает заикаться, — жаловалась мне соседка. — Может, нужно с логопедом позаниматься? Или лучше — гипнозом, как вы думаете?" К сожалению, в то время я ничего посоветовать не могла, поскольку, как и она, не подозревала, что помогать Наташе должен специалист совсем из другой области медицины.

Вспомнила о болезненно стеснительной бывшей однокласснице сына, попав на пресс-конференцию с психиатром, который рассказывал о проблемах детской психиатрии, нервных заболеваниях подростков, их симптомах и о роли взрослых в развитии болезни. Тогда-то и услышала впервые: социальная фобия — страх испытать внимание окружающих, войти с ними в контакт, и потому непреодолимое желание избежать любого общения. Когда состояние хронической "застенчи-

вости" становится нормой поведения, когда человек не в силах бороться со своими страхами и просто "выключается" из жизни, сводя контакт с обществом к минимуму — это уже болезнь, разрушающая личность. Именно такое грозит замкнутым, необщительным де-

тям, тем, которых родители называют "стеснительными".

После пресс-конференции захотелось узнать о "странной" болезни побольше, и я встретила со старшим научным сотрудником московского Центра психонейроэндокринологии, доктором медицины Александром ЛИТВИНОВЫМ.

**СОЦИАЛЬНАЯ ФОБИЯ**  
(боязнь общества, социума) — болезнь сравнительно новая, официально внесенная в Международный реестр болезней только в 1960-м году. По последним данным ученых-медиков, сегодня ею страдают от 10 до 15 процентов населения планеты.

## Когда маме пора встревожиться?

Психиатры, рассказал Александр Винторович, отмечают, что болезнь в подавляющем большинстве случаев начинается в детстве. Ей одинаково подвержены мальчики и девочки. Причины, как правило, разные, но чаще всего связаны с близким ребенку человеком: матерью, бабушкой, отцом, воспитателем в детском саду, учительницей... Когда-то кто-то из этих взрослых обидел ребенка, допустил некую бестактность, — вполне возможно, даже не давая себе в том отчета и не придав конфликту никакого значения. Например, мама в сердцах бросила: "Я тебя больше не люблю. И не приходи ко мне!.." Хлынувшие вслед за этим слезы, истерика ребенка — вовсе не упрямство или наприз. Это — страх. Одно из самых сильно воздействующих на человека чувств. Надо суметь вовремя разглядеть его и не "топить" ребенка, не позволить ему поверить в то, что жесткие слова сказаны всерьез (а зачастую именно так взрослые и поступают,

стараясь довести наказание провинившегося малыша до конца и "не пойти у него на поводу") — не дать малышу усомниться в собственной бесценности для родителей.

— У больных социофобией, — говорит доктор Литвинов, — заниженная самооценка. Они боятся быть неправильно понятыми, критически оцененными определенной — как правило небольшой — социальной группой (класс, где учатся, компания, отдел учреждения, в котором трудятся). Опросы уже взрослых людей, подверженных социофобии с детства, позволяют сделать вывод, что дети, которых балуют родители, часто хвалят и ставят в пример, попасть в число больных не рискуют.

Зародившись в душе ребенка одержимости, страх очень живуч. Он может притаиться и, словно магнит, притягивать к себе все новые и новые приступы страха, обиды, сомнений. Начинается что-то вроде цепной реакции: приступы наслаиваются один на другой. Юное существо оказывается уже не в состоянии защищать себя от того, что медики называют паническими атаками. Каждому из нас знакомо такое: учащается сердцебиение, лицо краснеет или бледнеет, "сердце уходит в пятки". И если вовремя не разглядеть в поведении ребенка начинающуюся болезнь, не помочь ему, периодичность атак возрастает: он может начать переживать их уже не один-два раза в неделю — когда, например, предстоит ненавистный урок географии, — а каждый день, потому что социофобия распространяется на все новые и новые сферы его отношений с окружающим миром.

Но так ли уж это легко: суметь различить — когда поведению дочки или сына свойственны действительно, обычная возрастная застенчивость или природная трусоватость, нерешительность, проходящая по мере взросления маленького человека; а когда все эти

"особенности характера" есть не что иное, как проявившиеся симптомы болезни? Любящим и внимательным родителям довольно просто понять: есть ли для их тревог основания?

Для того, чтобы трезво оценить ситуацию, достаточно лишь честно ответить себе на следующие вопросы.

#### **Бойтся ли ваш ребенок:**

— *разговаривать по телефону с малознакомыми или просто "солидными" людьми, особенно в присутствии посторонних?*

— *участвовать в деятельности небольшой группы?*

— *принимать пищу в общественных местах?*

— *смотреть в глаза собеседнику?*

— *отвечать у доски?*

— *ходить в школу, внешкольные заведения или посещать какие-то конкретные уроки?*

— *ходить в гости или принимать малознакомых людей в своем доме?*

— *оказываться в центре внимания или выступать с речью?*

— *вступать в контакт с персоналом любых учреждений (билетер в кинотеатре, продавец в магазине, гардеробщица в детской поликлинике и т.д.)?*

— *выполнять работу под чьим-либо наблюдением?*

— *вступать в спор или отклонить неприемлемое для себя предложение?*

Но даже если ответы на эти вопросы оказались положительными, не стоит впадать в панику. Просто следующим вашим шагом должен быть поиск квалифицированного детского врача-психиатра или обращение за помощью к психологу. Обычно, чтобы помочь ребенку справиться с развивающейся болезнью, бывает достаточно провести с ним курс психотренинга и легкого медикаментозного лечения. При этом, пожалуйста, помните: страдающего социофобией маленького человека вылечить гораздо легче, чем взросло-

го, когда его болезнь уже приняла запущенные формы.

## Тихий агрессор

В кабинете директора шло бурное обсуждение "тихого мальчика". Вызванная классная руководительница, не питая особых чувств к этому своему воспитаннику, тем не менее никак не хотела верить, что именно он исписал стены туалета нецензурными словами. Она доказывала директору и уборщице, якобы поймавшей ученика с полочным, что этот мальчик и слова-то лишнего не скажет, что он тише воды, ниже травы. Насупившись и глотая слезы, подросток скупно выдал: "Это не я", — еще больше разжалобив тем классную даму.

— "Тихие" дети, действительно, внешне не агрессивны, — говорит доктор Литвинов. — Они не в состоянии на кого-либо накричать, дать обидчику сдачи, они даже не могут спокойно объясниться в простой ситуации, требующей выражения элементарного мнения по пустяковому вопросу, как это делает любой обычный ребенок. И это при том, что внутри них пронесаются эмоциональные смерчи. Но постоянно терзающие таких ребят страх и безотчетная обида, конечно, не могут пройти для них бесследно, требуют выхода, выплеска.

Разряжаются от измучивших их негативных эмоций дети, как правило, когда никто их не видит (опять-таки по причине панического страха не только быть пойманным, осужденным, но еще и ока-

заться в центре внимания). Кто-то испускает нецензурными словами панели лифта, кто-то мелко пакостит соседу по парте, кто-то втихаря режет чужое пальто в раздевалке.

Практически все подростки, страдающие социофобией, обожают смотреть кровавые кинобесовники. Смотрят они их не просто с интересом, а всем своим существом переживая за супермена, смеющегося всех на своем пути. Вместе с

**По данным западных специалистов, самыми частыми коморбидными (сопутствующими психическим расстройствам) состояниями у больных социофобией являются: строгие фобии — 59% (страх высоты, замкнутых пространств, темноты, общения с глазу на глаз и т.п.), агорафобия (страх открытого пространства) — 45%, алкоголизм — 18%, большая депрессия — 17%, злоупотребление лекарствами — 17%, суицид — 12%.**

"крутыми" киногероем наш "тихий" герой выплескивает порции адреналина, облегчая свое состояние.

Ребята постарше, бывает, находят способ снять нервное напряжение с помощью алкоголя или наркотиков. (Это, разумеется, отнюдь не означает, что все юные наркоманы и малолетние алкоголики больны социофобией.) Страшнее же всего то, что, когда по каким-то причинам подростку, страдающему этим заболеванием, никак не удастся получить нервную разрядку, он может предпринять попытку самоубийства. Суицид — часто встречающееся явление среди больных социофобией.

## Можно ли "вылечить характер"?

Когда-то в редакции, где я работала, появилась молоденькая бухгалтерша. Очевидно, она не совсем представляла тот круг людей, с которым ей нужно было общаться. Робким людям в среде газетчиков приходится трудновато. Наша же Любаша была не просто робкой, она была тем маленьким песчарином, который при малейшем колебании воды залегал на дно и за-



крывал глаза: стоило кому-то обратиться к ней за чем-то, бумажки в ее руках начинали трястись и рассыпаться, она не могла сообразить, что от нее требуется и где это нужно искать. Такое общение стало по-настоящему раздражать наших "акул пера", и свои визиты в бухгалтерию они заменили телефонными звонками. Любаша каждый раз вздрагивала от этих звонков, делала вид, что ужасно занята, и просила ного-нибудь из сидящих за соседними столами бухгалтеров поднять трубку. В результате, девушка (внешне, кстати, очень милая) уволилась и, как рассказывали, пошла в сторону.

Десять из десяти пациентов, страдающих социофобией, говорит доктор Литвинов, признаются, что болезнь крайне отрицательно сказалась на их трудоспособности и, как следствие, на продвижении по служебной лестнице. Подверженным социальной фобии юношам и девушкам трудно найти

партнера. Более того, обострение болезни может произойти как раз на почве знакомства: сразу возникает немотивированный страх быть отвергнутым или осмеянным. Болезнь может помешать добиться успехов практически в любой жизненной сфере.

— Неужели, — спросила я у доктора Литвинова, — ничего нельзя изменить в жизни этих людей?

— Все не так плохо и безнадежно, — успокоил Александр Викторович. — После того, как диагноз поставлен, хороший специалист-психиатр сможет помочь обратившемуся к нему пациенту. Самое трудное в этом заболевании не лечение. Трудность в другом. Ведь чтобы врач мог

поставить диагноз, человек должен прийти к нему на прием и сказать: "Доктор, мне кажется, я болен". Но в подавляющем большинстве случаев страдающим социофобией даже в голову не приходит, что они больны, не догадываются об этом и окружающие их люди.

Тем более, болезнь далеко не всегда носит острые формы, и все больные социофобией имеют полный "букет" страхов. Кто-то панически боится телефонных звонков и разговоров; кто-то, наоборот, считает телефонное общение единственным для себя приемлемым: не нужно смотреть собеседнику в глаза.

Кто-то из парней нормально разговаривает с приятелями, но краснеет, бледнеет и заикается при разговорах с девушками. У кого-то развился "синдром боязни начальников", и такой человек испытывает паническую атаку при общении не только со своим непосредственным руководителем, но и с каждым "чуним" — директором школы, где учатся дети, или, скажем, ЖЭНовским начальством. То есть, такой человек, живя в остальном

полноценной жизнью, боится каких-то определенных ее сфер, испытывает страхи (фобии) в очень конкретных ситуациях. И если подобные состояния носят устойчивый характер и отличаются постоянством, врачи определяют это уже как болезнь. Но, как уже было сказано, на прием к врачу эти люди, как правило, не приходят. "На что жаловаться? — спрашивают они. — На то, что мне кусок в горло не лезет, если на меня кто-то смотрит? Такой вот характер дурацкий! А характер, как известно, не лечится." К врачу же обращаются лишь в том случае, если "характер" начинает заметно прогрессировать. Об одном таком случае рассказал доктор Литвинов.

**Еще один недуг, сопровождающий социальную фобию, — ФОБОФОБИЯ. Это своего рода страх перед страхом. Больные фобифобией боятся уже самой панической атаки, того, что им будет душевно дискомфортно и они потеряют контроль над собой в ситуации, которую избежать, тем не менее (и они это прекрасно осознают), — невозможно.**

Сорокалетняя Анна замужем, у нее большая семья. Устала жить в постоянном страхе за мать, мука, детей. Панические атаки она испытывала еще в раннем детстве. Они были связаны с уходом мамы на работу или одной только мыслью о ее предстоящем уходе. Состояние тревоги со временем стало сопровождаться головокружением, болью в груди, чередованием жара и холода, усиленным потоотделением и жутким предчувствием трагедии. С годами фобия потеряла силу, но проявилась еще более остро после рождения первого ребенка. Каждый раз, когда близкие увозили его в коляске на прогулку, мать не находила себе места и бежала вслед. По этой же причине она не смогла отдать его в детский сад, часами поджидала сына у дверей школы, стыдясь своего страха. После рождения второго ребенка Анна оказалась уже не в состоянии справиться с постоянным нервным напряжением и обратилась к психиатру. В ходе долгих и весьма подробных экскурсов в прошлое, когда опытный психоаналитик "разматывал" историю ее жизни, словно клубок пряжи, наконец, "докопались" до рокового эпизода.

... Крохотной Ане сказали, что она уже взрослая, что мама теперь будет ходить на работу, а с ней будет сидеть няня. Девочке это показалось настолько чудовищным и страшным, что она закатила истерику, пыталась не спать ночь, чтобы утром "не прозевать" маму и никуда ее не пустить, но все-таки уснула и проснулась лишь от звонка няни в дверь. Мама была уже готова уйти. Аня вцепилась в ее подол, умоляла, кричала, но приехал лифт, "напризную" девочку оторвали от матери, мама вошла

в темную кабину и за ней с шумом закрылась дверь.

"С тех пор я в лифте боюсь ездить", — призналась в одной из бесед с доктором женщина. Рассказывая эту историю, она и не думала, что психоаналитик именно в ней обнаружит корень всех ее фобий. И теперь, чтобы избавить Анну от "страхов разлуки", нужно помочь ей подавить тот старый страх, шлейфом протянувшийся за ней из детства. У врачей для этого есть довольно сложные методики — от бесед с психоаналитиком до гипноза и специальных гимнастик, в том числе и дыхательных. Для специалистов главная проблема в том, чтобы, как в случае с Анной, найти первопричину фобии. Лечить же ее не представляется сложным. Хотя, как говорит доктор Литвинов, если бы в то далекое время мама и няня не допустили бы у малышки Ани того нервного срыва, смогли бы осторожно и загодя подготовить ее к жизненной перемене, — спустя

десятилетия взрослой женщине не пришлось бы обращаться к врачу.

Суть же лечения всех фобий сводится к довольно простой и мудрой формуле: "Измени отношение к тому, что тебя волнует, и оно перестанет тебя волновать." Простой-то простой, но без помощи профессионала следовать ей очень трудно, когда тебе противостоит болезнь.

## Английский сплин или русская хандра?

Избегая социальных контактов, люди порой объясняют свое поведение тем, что общение не доставляет им никакого удовольствия и радости, что они в нем попросту не нуждаются. Если это и в самом деле так, то речь, скорее,

**СОЦИАЛЬНАЯ ФОБИЯ —** болезнь молодых. Чаще всего она начинается в раннем возрасте, когда личность человека лишь формируется и он только учится строить свои отношения с другими людьми. Но болезнь может проявиться и в 20-25 лет.

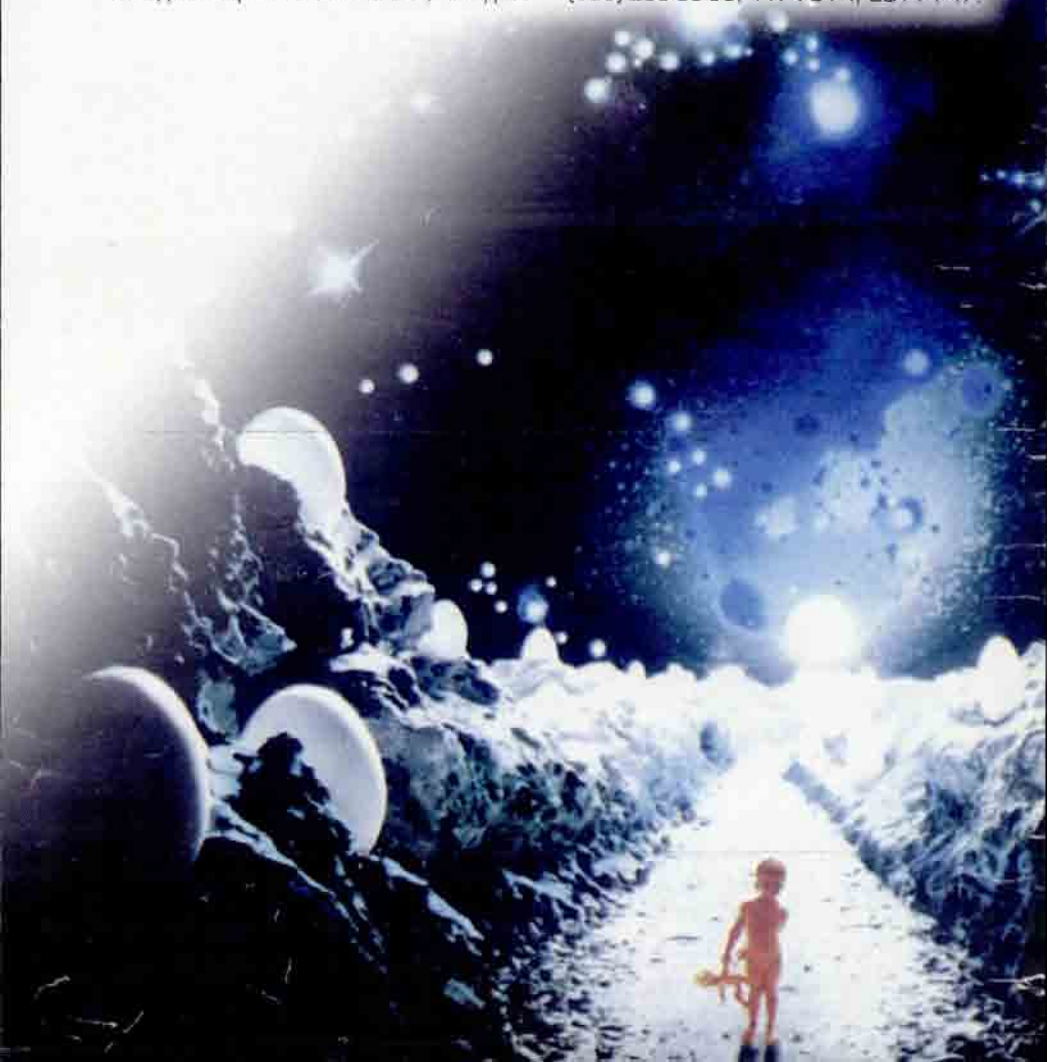
нужно вести не о социофобии, а о действительно замкнутом характере или о депрессии. При социальной же фобии причиной замкнутости служит все-таки страх, а не отсутствие интереса. Малейшая ухмылка или безобидная шутка в адрес психически нездорового человека может вызвать у него приступ паники.

Потому будьте, пожалуйста, внимательны к себе и своим близким. А если рядом с вами растет застенчивый ребенок, который болезненно реагирует на каждый окрик и замечание, найдите

для него другие способы воспитания. Помните, болезнь зарождается при подавлении слабой личности более сильной. Для "тихих" детей выражения типа: "Ты на себя-то посмотри... И в кого такая бестолочь уродилась!.." действуют разрушающе. Лучше лишний раз похвалите такого ребенка.

Впрочем, ласковое слово разве когда-нибудь бывает "лишним"? ■

Центр помощи больным социофобией:  
(095) 203-09-36, 117-70-74, 291-71-47



**Владимир СТРАШНЮК**

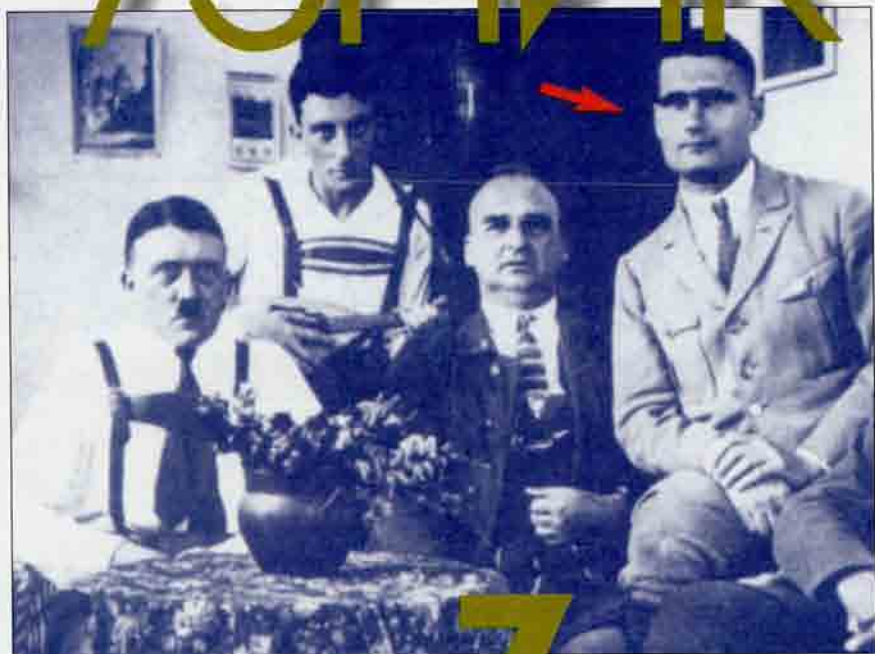
### **Иллюзии**

*Заглянешь в воду и увидишь небо  
и облака, плывущие в воде.  
Поверишь взгляду, и затянет невод  
иллюзии, рожденной в забвенье.*

*Душа очнется и захочет света,  
и кинется искать его везде,  
и вспомнит, что иной преграды нету,  
чем эти отраженья на воде.*



# УЗНИК



## №7

**Борис СОПЕЛЬНЯК**  
**Анатолий БАРСУКОВ**

*“Написано за несколько минут до моей смерти. Я благодарю вас всех, мои дорогие, за все хорошее, что вы для меня сделали. Скажите Фрайбургу, что мне причинило безграничную боль то, что я, начиная с Нюрнбергского процесса, должен был делать так, будто я ее не знаю. Мне не оставалось ничего другого, иначе все попытки выйти на свободу были бы безуспешны. Я был так рад снова увидеть ее, я получил ее фотографию, так же, как и всех вас.*”

**Ваш Большой”.**

Это короткое письмо было написано дрожащей старческой рукой 17 августа 1987 года. Оно адресовано каким-то таинственным директорам, и просил их старик только об одном: переслать письмо домой. Но откуда он знал, что через несколько минут умрет? Ведь за его жизнь головой отвечали сотни людей, и все они ни на секунду не спускали глаз со старика. Но он их перехитрил! Что-что, а это делать он умел: ведь это он сорок шесть лет назад сумел обвести вокруг пальца своего ближайшего друга, который в те годы был одним из могущественнейших людей мира, и ускользнул от его опеки.

Ускользнул он от опеки и на этот раз. И как сорок шесть лет назад этот поступок вызвал массу пересудов и кривотолков. Главный вопрос, на который надо было ответить, довольно прост: помогли старику уйти на тот свет или он это сделал сам? Ответ на него породил целую лавину всевозможных справок, заявлений и докладных записок. Вот один из таких документов, оказавшийся в нашем распоряжении.

*“Для служебного пользования. Дело № 53052/7.*

### ЗАЯВЛЕНИЕ

*Я, Энтони Джордан, нахожусь в должности надзирателя в Межсоюзной тюрьме Шпандау, Берлин. Моими основными обязанностями являлись контроль за допуском в тюрьму Шпандау и наблюдение за заключенным № 7. Заключенному № 7 девяносто три года. Он может ходить без посторонней помощи и полностью себя контролирует.*

*В понедельник 17 августа 1987 года я начал смену около 07.45. Я стоял на посту у ворот и выполнял эти обязанности до 11.40. Сразу после обеденного перерыва я взял ключи от блока, где находится заключенный № 7, и перешел туда, чтобы следить за заключенным и его деятельностью. Заключенный № 7 был в очень хорошем настроении и выглядел приветливым.*

*Между 13.30 и 13.40, я не уверен в точном времени, заключенный спросил, может ли он выйти в сад. Я дал разрешение и он ушел одеваться. Обычно он собирается от 45 минут до часа, но в этот день он собрался гораздо быстрее. Я помню, что на нем были рубашка, спортивный пиджак и коричневый плащ.*

*В лифте мы спустились из камерного блока в сад. Затем я оставил его в лифте, а сам пошел и открыл двери садового домика. Когда заключенный вошел в домик и закрыл за собой дверь, я встал под деревом на расстоянии около десяти метров от стены, с той стороны, где нет окон. Это — обычное явление, у всех надзирателей есть привычка сидеть или стоять у этого дерева.*

*Я подождал около пяти минут, а потом, как обычно, пошел проверить заключенного. Я посмотрел в окошко и сразу увидел, что он лежит на спине. Я понял, что что-то случилось и вбежал в домик. Одним плечом заключенный привалился к стене, а его ноги были на полу. Я увидел, что вокруг его шеи обвит электрический провод, другой конец которого закреплен на оконной ручке. Провод был натянут и, казалось, поддерживает заключенного.*

*Я подбежал и поднял заключенного, чтобы ослабить натяжение провода, затем стянул его с шеи. Глаза заключенного были открыты, каза-*

лось, он был жив. Я заговорил с ним. Он пошевелился, будто понял, что я сказал. Я на сто процентов уверен, что в тот момент он был жив. Когда я снял провод, то слышал, как он вздохнул. Затем я уложил его на спину, а под голову положил одеяло, чтобы ему было удобнее. Потом расстегнул рубашку и ослабил одежду.

В этом положении я оставил заключенного № 7, а сам побежал к телефону и попросил срочно вызвать медицинскую помощь. Когда вернулся в садовый домик, заключенный был в том же положении, но, казалось, что он уже не дышит.

Затем в садовый домик пришел старший надзиратель, за ним — американские военные санитары, а потом приехала санитарная машина, и я видел, как заключенного № 7 положили в нее. Я же вернулся в садовый домик, собрал все, что могло быть полезным для следствия, и закрыл на ключ все двери...

Настоящее заявление полностью правдиво. Я сделал его по своей воле и без принуждения”.

А на следующий день подробнейшие объяснения своих действий дали американские медицинские специалисты Кеннет Лафонтейн и Роберт Лига.

— С момента заступления в караул я видел заключенного № 7 только один раз, это было 15 августа около 16.00, — рассказывает Лафонтейн. — А 17-го в 14.40 я принял сообщение по радио: “Нам срочно нужен санитар. Беги и не забудь свою укладку”. Когда мы с надзирателем побегали к летнему домику, я спросил, что случилось? “Он не может дышать. Он вообще не дышит”, — ответил надзиратель.

Когда я вошел в домик, то увидел, что заключенный № 7 лежит в углу. Слева от двери. Его глаза были открыты, рубашка расстегнута, грудь обнажена. Я потряс его руку — никакой реакции. Потом приблизил свое лицо к его рту и носу, чтобы почувствовать дыхание — и не обнаружил никаких признаков жизни. Проверил пульс, прослушал грудную клетку — и снова никаких признаков жизни.

На шее заключенного, чуть ниже подбородка от уха до уха, был хорошо виден розовато-красный след шириной около дюйма. Через несколько секунд появился личный санитар заключенного и начал делать дыхательный рот в рот, а я занялся стимуляцией работы сердца с помощью активных сжатий грудной клетки. Я давил очень сильно, но ничего не помогало. Потом заключенному дали кислород, поставили капельницу, вводили бикарбонат натрия — ничего не помогало. Хорошо помню, что во время массажа сердца я время от времени слышал хруст в груди заключенного: думаю, что от усердия я сломал ему несколько ребер... Когда санитарная машина уехала, я вернулся к исполнению своих обязанностей.

Данное заявление правдиво, я сделал его по своей воле и без принуждения, — закончил свой рассказ специалист 4-го класса Кеннет Лафонтейн.

Примерно то же самое изложил в своем заявлении и Роберт Лига, принимавший самое активное участие во всех реанимационных мероприятиях.



Но на этом хлопоты вокруг тела заключенного № 7 не прекратились: 19 августа профессор судебной медицины Лондонского университета Кэмерон, срочно вызванный в Берлин, произвел вскрытие и посмертное исследование тела заключенного № 7. Немаловажный факт: вскрытие производилось в присутствии четырех директоров тюрьмы и трех военных врачей, представлявших Францию, США и Советский Союз. Были там и довольно высокие чины из британской военной полиции.

Так кто же этот таинственный человек, самоубийство которого вызвало такой переполох в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Москве? Что это за узник, которого нельзя было называть по имени, а только по номеру 7? Кто он, тот странный заключенный № 7, ради которого четыре великие державы взвалили на себя бремя содержания внушительных размеров тюрьмы и солидного штата охранников и надзирателей? Заключенный № 7 — это “нацист номер три”, заместитель Гитлера по партии и одновременно его преемник после Геринга, член Тайного совета Рудольф Гесс.

Как известно, двенадцать нацистских военных преступников в Нюрнберге были приговорены к смертной казни через повешение, а семеро — к различным срокам заключения, в том числе Гесс, Функ и Редер — к пожизненному заключению. Было решено, что все узники Шпандау лишаются права называться по имени, им присвоили номера по порядку их выхода из автобуса. Ширах получил № 1, Дениц — № 2, Нейрат — № 3, Редер — № 4, Шпеер — № 5, Функ — № 6, Гесс — № 7.

Так как же “нацист номер три” потерял свое собственное имя? Как оказался в стенах Шпандау? Почему наложил на себя руки? Чтобы ответить на эти вопросы, нам не обойтись без краткого рассказа об истории германского нацизма и, конечно же, о жизни купеческого сынка Рудольфа Гесса.

## **“Полновластный представитель Фюрера”**

Так называли в Германии Рудольфа Гесса. И это не было преувеличением: ни одно распоряжение правительства, ни один закон рейха не имели силы, пока их не подписывали Гитлер или Гесс.

Но прежде чем добраться до захватывающих дух вершин власти, Рудольф до 14 лет жил вместе с родителями в Египте, потом уехал в Швейцарию, где по совету отца поступил в реальное училище, по окончании которого перебрался в Мюнхен и устроился на работу в торговую лавку. Как знать, быть может, из юного Гесса получился бы преуспевающий коммерсант, но вскоре грянула война и, одурманенный патристическими лозунгами, Гесс вступает добровольцем в Баварский пехотный полк.

Два года он храбро сражается на Западном фронте, получает ранение в ногу и звание вице-фельдфебеля. Осенью 1917-го пуля простреливает ему легкое, а командование, в качестве компенсации, присваивает звание лейтенанта. И тут в судьбе Гесса происходит неожиданный вираж: он поступает в школу летчиков, успешно ее оканчивает и получает на-

правление на фронт. Но ни одного вражеского самолета Гесс сбить не успел — война окончилась позорным поражением Германии.

Погоны пришлось снять, штурвал самолета оставить — и Гесс решил вернуться к коммерческой деятельности. Но сначала он поступает на экономический факультет Мюнхенского университета. Там судьба свела его с профессором Хаузхофером, который читал курс геополитики. Мало кто знал, что тот был не только крупным геополитиком, но и крупным разведчиком. По стопам отца пошел и его сын Альбрехт, ставший ближайшим другом Гесса. А Хаузхофер-отец оказал на Гесса такое сильное влияние, что он стал убежденным антикоммунистом, реваншистом и антисемитом.

Справедливости ради надо сказать, что Гесс не забыл “услуг”, оказанных Карлом Хаузхофером: когда нацисты пришли к власти и Гесс стал правой рукой Гитлера, он специально для учителя создал институт геополитики, а несколько позже поручил руководство подчиненной непосредственно Гессу диверсионной и шпионской организацией “Немцы за рубежом”.

Гесс усердно писал конспекты лекций по геополитике и бегал в пивные, где проходили бурные собрания крохотной, но чрезвычайно скандальной нацистской партии. В 1920-м он впервые услышал выступление Гитлера. Его речь так потрясла Гесса, что он испытал нечто похожее на наслаждение, понял, что нашел в лице Гитлера не только единомышленника, но и кумира, и тут же вступил в нацистскую партию и получил партийный билет № 16. А вскоре ему представился случай доказать свою преданность Гитлеру не на словах, а на деле. Во время одного из бурных митингов кто-то запустил в Гитлера пивной кружкой. Перехватить ее Гесс не успевал. И тогда он, не задумываясь, подставил свой лоб. Кровь — ручьем, шрам — на всю жизнь. Но эта отметина дорогого стоила, и Гесс ею гордился.

Несколько позже он произнес крылатые слова, ставшие известными всей Германии: “Гитлер — это олицетворение чистого разума. Каждый из нас чувствует и понимает, что Гитлер всегда прав и что он всегда будет прав”. Кстати, почтительно-восторженное обращение, с годами ставшее названием должности — фюрер, что значит — вождь, тоже придумал Гесс.

На этом он не остановился, и в одной из статей довольно подробно описал черты характера и качества, которыми должен обладать будущий фюрер Германии. Когда статью прочитал Гитлер, то с радостью обнаружил, что облик будущего фюрера списан с него. Такие люди были ему нужны и он приблизил Гесса к своей персоне.

А вскоре состоялся хорошо известный “Мюнхенский пивной путч”, поставивший своей целью свержение веймарского правительства. Один из студенческих отрядов возглавлял Гесс. Закончился путч печально: рядовые нацисты были разогнаны, а Гитлер и Гесс оказались на скамье подсудимых. Гитлер получил пять лет, а Гесс полтора года лишения свободы.

В Ладсбергской тюрьме они оказались в одной камере. Это их еще больше сблизило и они начали писать программную книгу фюрера

“Майн Кампф”. Точнее говоря, Гитлер диктовал, а Гесс писал. Мало кто знает, что первоначально название книги было совсем другим, оно было длинным, витиеватым и скучным: “Четыре с половиной года борьбы с ложью, тупостью и трусостью”. Редактор, а им был уже известный нам профессор Хаузхофер, посоветовал название изменить — так и появилась “Моя борьба”.

В тюрьме узники пробыли недолго. Уже в декабре 1924 года Гитлера освобождают под честное слово, а следом за ним вышел на волю и Гесс. Партия была разогнана и стояла вне закона. Гитлеру запрещались публичные выступления, больше того, ему грозила депортация в Австрию. Его сторонники передрались и ожесточенно сражались по идеологическим вопросам. В этой ситуации каждый верный человек был на вес золота. Гесс был именно таким человеком, и Гитлер назначает его своим личным секретарем.

Что было дальше, хорошо известно. 30 января 1933 года Гитлер стал канцлером рейха, и произошло это не без активнейшего участия Гесса: именно он вел сверхсложные переговоры с промышленниками и финансистами, которые в конце концов решили отдать власть нацистам. Германия торжествовала! И лишь один дальновидный человек направил президенту Гинденбургу пророческую телеграмму. Это был известнейший в Германии военачальник генерал Людендорф. Он писал: “Назначив Гитлера канцлером рейха, Вы отдали нашу священную германскую отчизну одному из величайших демагогов всех времен. Я предсказываю Вам, что этот злой человек погрузит рейх в пучину и причинит горе нашему народу необъятное. Будущие поколения проклянут Вас в гробу”.

К этому времени Гесс стал для Гитлера незаменимым человеком и он назначает его своим заместителем с правом принимать решения по вопросам партийного руководства от своего имени. Преданно проявил себя Гесс и в “ночь длинных ножей” 30 июня 1934 года, когда Гитлер решительно избавился от давних друзей-соперников во главе с Ремом и Штрассером: одних сомневающихся в непогрешимости фюрера пристрелили, а других по-бандитски зарезали.

Став членом Тайного совета и министром без портфеля, Гесс был допущен к разработке самых секретных и грандиозных планов рейха. Именно он был одним из вдохновителей агрессии против Польши, Норвегии, Дании, Бельгии, Нидерландов и Франции. Именно он требовал присоединения Австрии и Чехословакии, и добился своего, подписав в марте 1938 года закон “О воссоединении Австрии с Германской империей”, а в апреле 1939-го — декрет о введении системы управления Судетской областью как неотъемлемой частью Германской империи.

Подписывал он и другие декреты, которые иначе, как человеконенавистническими, назвать нельзя. Например, поляки, евреи и французы в соответствии с этими декретами были поставлены вне закона.

Не остался Гесс в стороне от разработки плана нападения на Советский Союз, а также захвата Британских островов. Но об этом — разговор особый.

Казалось бы, грандиозные идеи и великие планы должны были безраздельно поглотить Гесса, но именно в это время он начал навещать ас-

трологов, прося предсказать судьбу по звездам, собственноручно готовить для себя и фюрера “биодинамическую” пищу.

А чего стоила его страсть к разговорам на оккультные темы! Первое время Гитлер разделял эту страсть и они могли часами вести беседы о всякого рода чертовщине. Но были и другие темы. А Гесс уже не мог преклоняться. В конце концов Гитлер не выдержал и прекратил эти пустопорожние собеседования, прилюдно заявив, что любой разговор с Гессом вызывает у него невыносимо тягостное напряжение.

Но главным качеством Гесса была его деловая хватка и верность фюреру. Гитлер это ценил и доверял ему безраздельно. Так было до весны 1941 года. А 10 мая произошло то, что вызвало “непередаваемый, почти звериный рев” фюрера и он приказал расстрелять Гесса, как только тот вернется в Германию.

## Полет к Британскому льву

Все началось с того, что на Олимпийских играх 1936 года в Берлине Гесс познакомился с первым пэром Шотландии герцогом Гамильтоном. Они так подружились, что герцог даже побывал в доме Гесса. Герцог не скрывал своих симпатий к нацистам, как не скрывал и того, что он в этих симпатиях не одинок: откровенно прогермански был настроен и тогдашний король Англии Эдуард VIII. И от престола ему пришлось отречься не только потому, что он решил жениться на разведенной американке, но и по причине своих прогерманских воззрений. Когда герцога Виндзорского отправили губернатором на Багамские острова, по дороге он остановился в Португалии. Англия к этому времени уже была в состоянии войны с Германией. Берлинское руководство срочно направило в Лиссабон начальника VI отдела имперской безопасности бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга с поручением убедить герцога Виндзорского прилететь в Берлин и выступить по радио с обращением к английскому народу прекратить борьбу и заключить мир с Германией. За эту радиопередачу герцогу предлагался неслыханный гонорар в 50 миллионов швейцарских франков. Если же он заупрямится, то бывшего короля было приказано похитить и доставить в Берлин силой.

Осуществить этот план Шелленбергу не удалось — слишком плотно герцог охранялся агентами секретной службы. Есть, правда, и другие сведения: то, что не удалось Шелленбергу, удалось Гессу. В Мадриде он встретился с герцогом. Предложил Англии почетный мир и... совместный поход против Советского Союза. А затем промелькнули сообщения о том, что герцог Виндзорский тут же передал эти предложения брату-королю и премьер-министру Черчиллю, убеждая их принять предложения Гесса. Уже одно то, что английское правительство поспешило опровергнуть факт этих переговоров, говорит о том, что что-то тут было...

Не удалось в Лиссабоне, не получилось в Мадриде... Но Гесс был не из тех, кто сдаётся при первой неудаче. К тому же его активно поддерживал профессор Хаузхофер, который считал трагедией для немцев и англичан, “братьев-арийцев по крови”, вести войну друг против друга. Зная внушаемость Гесса и его веру в астрологию, профессор поведал ему о сво-

ем вещем сне: якобы он трижды видел, как Гесс управляет самолетом, который летит в неизвестном направлении. Несколько позже он указал и направление: большой остров к северо-западу от Германии.

Гесс все понял. В тот же день его секретарша Хильдегард получает указание собирать секретные данные о состоянии погоды на Британских островах и в Северном море. Одновременно Гесс занялся поисками подходящего самолета. Сперва он обратился к самому известному асу Германии генералу Удету. Генерал был не прочь оказать услугу правой руке фюрера, но существовал приказ Гитлера, запрещающий Гессу летать — и Удет самолета не дал. Тогда Гесс обращается к Мессершмитту. Тот с пониманием отнесся к просьбе Гесса и даже усовершенствовал истребитель М-110, приделав дополнительный бак с горючим.

Пока готовили самолет и ждали подходящей погоды, активной деятельностью развернул профессор Хаузхофер. В Швейцарии была организована тайная встреча английского посла Келли с гитлеровским эмиссаром Максом Гогенлоз. Суть немецких предложений прежняя: чтобы сосредоточить свои усилия на востоке, Германия нуждается в мире с Англией. Потом профессор связался с “кружком старых друзей” в Англии: он требовал гарантий безопасности для Гесса. Ответного письма довольно долго не было, а Гесс буквально рвался в небо и еще в 1940-м сделал несколько тренировочных полетов.

Наконец, в апреле 1941-го Хаузхофер сообщил, что англичане дали зеленый свет. Гесс тут же начал собираться в дорогу. Раздобыв карту, проложив маршрут и завершив неотложные дела, Гесс взялся за письмо к Гитлеру. Это было очень непростым делом: ведь ничего не сказав, надо было сказать все, и в то же время никоим образом не бросить тень на фюрера. В конце концов он написал:

“Мой фюрер, когда Вы получите это письмо, я буду уже в Англии. Как Вы знаете, я нахожусь в постоянном контакте с важными лицами в Англии, Ирландии и Шотландии. Все они знают, что я всегда являлся сторонником англо-германского союза... Но переговоры будут трудными. Чтобы убедить английских лидеров, важно, чтобы я лично прибыл в Англию. Я достигну нового Мюнхена, но этого нельзя сделать на расстоянии. Я подготовил все возможное, чтобы моя поездка увенчалась наилучшим образом. Разрешите мне действовать.”

Официального разрешения он ждать не стал и, видимо, поэтому сделал весьма недвусмысленную приписку: “Если мое предприятие провалится, переложите всю ответственность на меня, сказав просто, что я сумасшедший”.

И вот наступил вечер 10 мая 1941 года. Погода по трассе приличная, так что можно взлетать. Лишних людей на аэродроме не было, а те, кто готовили самолет, знали лишь, что готовят его для капитана Люфтваффе Альфреда Хорна. Правда, Хорн очень похож на одного очень известного в Германии человека, но мало ли кто на кого похож...

Около шести вечера самолет взмыл в небо. Впереди были 1300 километров пути, и впереди был хорошо разыгранный гнев фюрера (а то, что это был самый настоящий спектакль, довольно быстро прояснилось). Гнев фюрера выразился не только в его зверином реве, но и в приказе

арестовать всех сотрудников штаба Гесса — от шоферов до личных адъютантов. На самом деле, приказ был отдан в такой форме, что исполнители прекрасно поняли — этот приказ выполнять не надо. Никто, кроме одного из адъютантов и сына профессора Хаузхофера — Альбрехта, арестован не был. Да и тех довольно быстро отпустили. Абсолютно ничего не предприняло гестапо и в отношении семьи Гесса. Больше того, по личному указанию Гитлера не было конфисковано имущество Гесса, а его жена стала получать правительственную пенсию.

Все это делалось тайно. А официальная пропаганда поспешила реализовать ту самую, недвусмысленную приписку Гесса. В официальном коммюнике говорилось коротко и ясно: “Член партии Гесс, видимо, помешался на мысли о том, что посредством личных действий он все еще может добиться взаимопонимания между Германией и Англией... Гесс был душевно больным идеалистом, страдавшим галлюцинациями вследствие ранений, полученных в первой мировой войне”.

И хотя это сообщение передали все радиостанции Германии, к делу подключился министр иностранных дел Риббентроп. Прекрасно понимая, что его слова тут же разойдутся по всему свету, в беседе с зятем Муссолини графом Чиано Риббентроп заявил: “Гесс попал под влияние гипнотизеров. Его поведение может быть объяснено каким-то мистицизмом и состоянием его рассудка, вызванного болезнью”.

Между тем, полет Гесса близился к завершению. Он благополучно достиг берегов Шотландии и уже был в районе планируемой посадки, как вдруг его обнаружил ночной истребитель “дифайэнт”.

До родового имени лорда Гамильтона оставалось всего четырнадцать километров — и Гесс решил не рисковать. Чтобы новейший “М-110” не достался англичанам, он решил его разбить, а сам выброситься с парашютом. Снизу его уже заметили. Первым увидел Гесса фермер Дэвид Маклин. Услышав рев падающего самолета, он выскочил из дома и увидел спускающегося парашютиста. Благополучно приземлившись, на довольно приличном английском парашютист сказал: “Я немец. Я гауптман Альфред Хорн. У меня важное послание к герцогу Гамильтону”.

Так как немец прыгал на одной ноге — судя по всему, при приземлении он подвернул лодыжку, — Маклин решил оказать ему первую помощь и повел в свой дом, а соседа послал за солдатами. Вскоре нагрянули полицейские, потом — солдаты. И парашютиста увезли в штаб местной самообороны. Там его обыскали. В карманах было обнаружено письмо, адресованное герцогу Гамильтону, и визитные карточки Карла и Альбрехта Хаузхоферов.

Примчавшийся в казармы Гамильтон не стал делать вид, что не знает, с кем имеет дело, тем более, что когда они остались одни, парашютист не без гордости назвал себя. “Я имперский министр Гесс”, — надменно представился он. Тут же стало ясно, зачем он 1300 километров тащил с собой визитные карточки отца и сына Хаузхоферов: они были чем-то вроде верительных грамот или рекомендательных писем. Ведь это Хаузхоферы состояли в переписке с Гамильтоном и имели с ним личные контакты.

После предварительной беседы Гамильтон решил доложить о неожиданном визитере Черчиллю. Субботним вечером 11 мая Черчилль находился в загородном поместье Дитчли. Как раз в то время, когда он смотрел американскую комедию с участием братьев Маркс, раздался звонок из Шотландии. По одним источникам, Гамильтон рассказал ему о Гессе по телефону, по другим — прилетел в имение на самолете и, отведя Черчилля в сторону, сообщил ему, что за парашютист пожаловал в Англию. Но все сходится в одном: Черчилль досмотрел фильм и только потом занялся Гессом.

Искушение побеседовать с Гессом с глазу на глаз было велико, но, как следует подумав, Черчилль решил, что сохранить эту встречу в тайне будет трудно: ни народ, ни армия, ни члены парламента не одобряют контакта своего премьера с нацистом № 3 — и потому поручил заняться Гессом министру иностранных дел Идену и Айвору Кирпатрику, который в недавнем прошлом служил сотрудником английского посольства в Берлине и был знаком с Гессом.

Уже в первой беседе с Кирпатриком, состоявшейся 13 мая, Гесс заявил, что Англия несет ответственность за развязывание как первой мировой войны, так и нынешней, так как препятствовала удовлетворению интересов Германии. Эту войну Англии ни за что не выиграть, так как в Германии самая развитая и самая современная в мире авиационная промышленность и самый могучий подводный флот. Что касается сырья, то его предостаточно в оккупированных странах. Напрасны надежды и на революцию: немецкий народ слепо и безгранично верит фюреру. Поэтому самым разумным было бы заключение мира между Англией и Германией.

Когда же Кирпатрик поинтересовался планами Гитлера в отношении Советского Союза, то Гесс ответил: «Германия имеет определенные требования к России, которые должны быть удовлетворены либо путем переговоров, либо в результате войны. Но слухи, будто Гитлер готовит в близком будущем нападение на Россию, не имеют никакого основания».

Сопоставив даты, не составляет никакого труда уличить Гесса во лжи, а, может быть, и в преднамеренной дезинформации. Ведь окончательную дату нападения на Советский Союз — 22 июня 1941 года Гитлер утвердил еще 30 апреля, и Гесс не мог об этом не знать.

Во второй беседе Гесс вел себя еще более вызывающе. Он заявил, что в случае несогласия Англии на мир, Гитлер организует такую плотную блокаду островов, что население будет обречено на голодную смерть.

Заявления Гесса и его поведение были настолько неординарны, что было решено подвергнуть его медицинской экспертизе на предмет выяснения психического состояния. Эксперты признали его нормальным, дееспособным и отвечающим за свои слова. После этого к беседам подключили члена кабинета лорд-канцлера Саймона. В целях соблюдения тайны и он, и Кирпатрик явились к Гессу под видом врачей-психиатров.

Пострадав англичан голодом, бомбежками и блокадой, Гесс глубоко-мысленно заметил:

— Англия имеет возможность покончить с этим на наиболее благоприятных условиях. Я не знаю, известны ли доктору Гатри (то есть, Сай-

мону) условия мира. Но я предполагаю, что он хочет иметь их в официальной форме. И передал Саймону и Кирпатрику документ, который назывался “Основа для соглашения”. При этом он торжественно изрек:

— Даю честное слово, что все, мною здесь написанное, фюрер мне не раз говорил.

Кирпатрик начал читать.

— Пункт первый. Для предотвращения в будущем войн между Англией и Германией будут определены сферы влияния. Сфера интересов Германии — Европа. Сфера интересов Англии — ее империя.

Саймон тут же уточнил, включается ли в сферу интересов Германии какая-либо часть России.

— Европейская Россия нас интересует, — ответил Гесс. — Азиатская — нет.

Далее подробно излагалась участь Италии, Греции, Норвегии и других европейских государств, германских колоний и многое другое. Закончилась встреча довольно неожиданной просьбой Гесса:

— Теперь я хотел бы сказать для правительства кое-что в дополнение, но только одному доктору Гатри.

Лишь много лет спустя из весьма осведомленных английских источников стало известно, что Гесс сообщил Саймону точную дату нападения на Советский Союз.

Когда стенограмма беседы с Гессом легла на стол Черчилля, он недвусмысленно заметил:

— Если бы Гесс прилетел год тому назад и сказал о том, что Германия сделает с нами, мы были бы несомненно испуганы. Но чего нам бояться теперь?

Бояться, действительно, было нечего. Англичане уже пережили безжалостные бомбардировки фашистской авиации, испытали на себе последствия морской блокады, но они также видели, как горят сбитые немецкие самолеты, радовались победе моряков, сумевших потопить гордость гитлеровского флота линкор “Бисмарк”. Из Северной Африки шли вести о первых победах над дивизиями Роммеля, а 20 мая англичане узнали о тяжелых потерях фашистских десантников, пытавшихся высадиться на остров Крит.

А вот ультимативное заявление Гесса о том, что Германия ни в коем случае не будет вести переговоры с нынешним британским правительством, так как Черчилль и его сотрудники не являются теми лицами, с которыми фюрер мог бы вести переговоры, изрядно позабавило английского премьера.

Формально переговоры с Гессом были прерваны, и заявление об этом сделал не кто-нибудь, а министр авиации Арчибалд Синклер, но на самом деле встречи с рейхсминистром продолжались. Больше того, Черчилль приказал следить за его здоровьем и обеспечить ему комфорт, питание, книги, письменные принадлежности и возможности для отдыха.

Гесс оценил это и несколько позже поделился своими воспоминаниями о гостеприимстве английских властей.

“Герцог Гамильтон позаботился о том, чтобы я был переведен в хороший военный госпиталь в подчасе езды от города, в замечательных при-



родных условиях Шотландии... После 14 дней пребывания в нем меня отвезли в Лондон. Маленький домик, в котором я жил, его обстановка в стиле XVII столетия — все это было замечательно. Там я был окружен большими, ярко пахнущими глициниями. Столовая и музыкальная комната были на первом этаже и выходили прямо в парк.”

Глицинии — глициниями, но этот домик строгайше охранялся и был напичкан подслушивающей аппаратурой: Черчилль приказал “предпринять все усилия, чтобы изучить склад ума Гесса и получить от него всю полезную информацию”. Кроме того, он опасался контактов рейхсминистра с теми влиятельными лицами, которые были за немедленный мир с Германией. Нельзя упускать из виду и другого: Черчилль знал дату нападения Германии на Советский Союз и прекрасно понимал, что гитлеровский поход на восток будет извлечением для Англии.

И вот наступило 22 июня 1941 года. Личный секретарь Черчилля был разбужен телефонным звонком: ему сообщили, что Германия напала на Советский Союз. Эта новость была из тех, которую надо немедленно довести до премьера. Но Черчилль раз и навсегда запретил будить его раньше восьми часов. Приказ можно было нарушить только в одном случае: если бы немцы высадились в Англии. Четыре часа маялся секретарь, пока наконец решился разбудить патрона.

— Так значит, они все-таки напали, — это было первое, что сказал Черчилль.

В тот же вечер Черчилль выступил по радио.

— У нас, в Великобритании, только одна цель: мы полны решимости уничтожить Гитлера и малейшие следы нацистского режима... Мы поможем России и русскому народу всем, чем только сможем. Опасность для России — это опасность для нас и для Америки, и борьба каждого русского за свой дом и очаг — это борьба каждого свободного человека в любом уголке земного шара, — сказал он.

А что же Гесс, что в это время делал он? Интерес английских спецслужб и чиновников к бывшему рейхсминистру заметно снизился, а потом вообще пропал. Игры в сенаратный мир закончились, теперь надо было воевать. Но Гесс считал себя настолько важной персоной, что не мог допустить такого поворота дел. Чтобы напомнить о себе, с ноября 1941-го он начал симулировать потерю памяти. Врачи обследовали Гесса, сказали, что он совершенно здоров и посоветовали не валять дурака. Тогда он инсценировал попытку самоубийства. Охрана эту попытку предотвратила. Гесс выждал момент и снова попытался покончить с собой. Эта попытка тоже оказалась неудачной.

Кто мог тогда знать, что будет еще одна, куда более удачная попытка, когда много лет спустя он перехитрит английскую охрану?! А пока что Гесс отсиживался то в Таузере, то в домике с видом на глицинии и ждал окончания войны.

## **Место жительства — тюрьма**

Летом 1945-го его переправили в Нюрнберг, и он оказался на скамье подсудимых. Виселицы он, кстати, избежал чудом: Советский Союз тре-

бовал для него смертной казни, и только более мягкая позиция Англии, Франции и США позволила сохранить ему жизнь. Он получил пожизненный срок и стал заключенным № 7 Межсоюзной тюрьмы Шпандау.

Так случилось, что к 1966 году в тюрьме остался один Гесс. Оди, в том числе Нейрат, Редер и Функ, были освобождены по состоянию здоровья, а у Деница, Шираха и Шпеера истек срок заключения. С тех пор сложнейшая тюремная машина стала работать на одного Гесса.

Тюрьма имела свой Устав, Верховную и Высшую исполнительную власть, свой правовой комитет и четырех директоров, которые встречались для обсуждения текущих вопросов не реже одного раза в неделю. Первого числа каждого месяца происходила смена военного караула внешней охраны тюрьмы, в этот же день менялся и так называемый председательствующий директор. Расписание было утверждено раз и навсегда.

Тщательнейшим образом были разработаны все нюансы медицинского обеспечения, питания, взаимоотношения с охраной, цензуры писем, свиданий с родственниками и пр.

В Шпандау “нацист № 3” оставался верен себе. В первые же дни он решил испытать бдительность и доверие друг к другу союзников по антигитлеровской коалиции. Начал он с проверенного метода — симуляции потери памяти и психического нездоровья. Врачи быстро уличили Гесса в симуляции, и ему пришлось признаться, что на самом деле он притворялся. А вскоре подоспела новость, которой Гесс не мог не воспользоваться: приговоренные к смерти гитлеровские бонзы были повешены, а Геринг, приняв яд, успел покончить с собой. Гесс тут же вспомнил, что после Геринга именно он является прямым преемником Гитлера — и провозгласил себя “будущим фюрером новой Германии”. Он даже написал программу государственного и общественного устройства этой новой Германии... Но союзники наживку не проглотили и в ответ на эти демарши тюремный режим сделали еще более строгим.

Тогда Гесс категорически отказался выполнять какую-либо работу, перестал производить уборку в своей камере и при каждом удобном случае старался в той или иной форме поиздеваться над представителями администрации.

В официальной справке, подписанной представителями администрации тюрьмы, говорится: “С 1979 по 1986 год Гесс написал пять прошений об освобождении. Эти прошения обосновывались его возрастом и плохим состоянием здоровья, но не было даже признаков раскаяния. Три западных правительства дали согласие удовлетворить просьбу Гесса об его освобождении. Советское правительство через своего директора дало отрицательные ответы на первые два прошения, остальные были игнорированы.

Несмотря на длительное время пребывания в тюрьме, состояние здоровья Гесса остается хорошим для его возраста. Он обладает здравым рассудком, очень логичен в суждениях, до сих пор свободно владеет английским и французским языками. Живо интересуется политическими событиями, увлекается изучением карты Луны, проявляет повышенный интерес к вопросам долголетия, читает научную литературу. Каждое у-

ро делает гимнастические упражнения, во время прогулок старается больше двигаться. Обладает очень хорошим аппетитом. В своем поведении старается показать себя твердым, независимым человеком. Пытаясь добиться для себя определенных выгод, не пренебрегает ложью”.

Что верно, то верно — ложь, вранье и притворство стали второй натурой Гесса. Причем, он не придавал никакого значения тому, что его измышления тут же разоблачались: судя по всему, чувства стыда он вообще не испытывал. И писал все новые и новые слезные письма с просьбой об освобождении. Вот одно из них.

“До сих пор я был слепой на три четверти, но оставшаяся здоровой половина левого глаза была безупречной. В пятницу, 17 августа 1984 года, я обнаружил, что не в состоянии прочесть обычный газетный текст. После интенсивного обследования американский врач установил отслоение сетчатки глаза. Он объяснил, что в моем возрасте прикрепление сетчатки с помощью лазера не представляется возможным. Отслоение будет продолжаться до тех пор, пока я полностью не ослепну...”

Я страдаю ослаблением памяти из-за плохого снабжения мозга кровью, являющегося следствием нарушения кровообращения. У меня отечность ног, которую можно улучшить лишь круглосуточно держа их в приподнятом положении. Из-за мышечной слабости бедер у меня подкашиваются колени и я падаю. У меня двусторонняя грыжа, для вправления которой нельзя найти подходящего бандажа... Круглосуточно мне причиняют боль многократно повторяющиеся желудочно-кишечные спазмы.

Я хотел бы воочию увидеть своих внуков, которым от 4 до 7 лет, и которых я знаю только по фотографиям и фильмам, чье посещение на пару часов в тюрьме не было бы заменой ежедневного общения в привычном для них окружении...

Я в скором времени могу ослепнуть и поэтому обращаюсь с просьбой к четырем правительствам освободить меня, дать 90-летнему старику, отбывшему 42 года заключения, возможность увидеть внуков.”

На что рассчитывал Гесс, сочиняя это письмо, одному Богу ведомо! Американский врач-окулист, обследовавший Гесса, установил, что никакого отслоения сетчатки нет. Не было проблем и с грыжей: французы предоставили ему прекрасный бандаж, которым, как он сам писал, “я полностью удовлетворен”.

Но больше всего поражают его ложь и лицемерие, касающиеся любви к внукам. В официальной справке руководства тюрьмы говорится, что правом посещения Гесса пользовались: его жена Ильзе, сестра Маргарет, сын Вольф-Рюдигер, жена сына Андреа, племянник Виланд и племянница Моника, а также свояченица Ингеборг Прель. А вот что написано дальше: “В 1986 году директора тюрьмы разрешили посещение Гесса детям его сына — двум внукам и внуку, однако сам заключенный от этих визитов отказался”.

Зато с французским пастором Габелем он общался каждую среду, и не столько по религиозным, сколько — скажем деликатно — по нескольким иным мотивам. Советская администрация вскрыла эти мотивы и лишила Габеля пропуска в тюрьму. Сменивший его пастор Рериг тоже пытался

ся установить с Гессом куда более тесные контакты, чем этого требует управление религиозной службы, но и эти попытки мгновенно были пресечены надзирателем.

В случае необходимости Гесса немедленно переводили в Британский военный госпиталь. За время заключения он побывал там четыре раза, причем отлеживался от нескольких недель до нескольких месяцев. Так что за его здоровьем следили самым внимательным образом.

Сам Гесс продолжал бомбардировать правительства прошениями об освобождении. И хотя, как он уверял, почти ничего не видит, регулярно вел что-то вроде дневника. Кое-какие записи Гесса сохранились, они настолько любопытны, что пройти мимо них нельзя.

“1939-й год. Мы были вдвоем с Гитлером, когда ему сообщили, что Англия и Франция объявили Германии войну: английские корабли вышли в открытое море. Это был единственный случай, когда за двадцать лет нашей совместной деятельности я видел его побледневшим, исключая случай чисто личного характера, когда я должен был сообщить ему ужасную весть. *(Речь идет о самоубийстве юной племянницы Гитлера Гели Раубаль, к которой фюрер испытывал отнюдь не родственные чувства. — Авт.)*”

А вот что, например, писал Гесс о своем ближайшем друге-кумире.

“Гитлер продвигался по служебной лестнице благодаря секретному средству — насилию над духом человека. Он приказывал вселять ужас в концентрационных лагерях и в оккупированных областях, равным образом как и при убийстве евреев. Приказы приводились в исполнение тоже путем насилия над духом человека.”

Гесс писал, читал, гулял, общался с родственниками, беседовал с пастором и адвокатом и знать не знал о том, какие страсти бушуют в кабинетах директоров тюрьмы. Скажем, в соответствии с четырехсторонним соглашением было решено, что питание и содержание Гесса осуществляется за счет средств, выделяемых сенатом Западного Берлина, а вот охрану, надзирателей и другой обслуживающий персонал кормят и поят страны, охраняющие Гесса. Американцы на эти цели ежегодно выделяли 35 тысяч марок ФРГ и тысячу долларов, англичане — около 32 тысяч марок, французы — чуть более 25 тысяч марок, Советский Союз — 24 тысячи марок ГДР (8 тысяч марок ФРГ).

Трудно сказать, были ли проблемы с выделением этих средств у союзников, а вот глава советской администрации терпел-терпел, да и написал слезное письмо в вышестоящие инстанции.

“С тех пор, то есть с 1961 года, несмотря на неоднократные повышения цен на продукты питания, вышеуказанная сумма не изменялась. В связи с этим объем поставок продуктов приходится сокращать, и у нас возникают определенные трудности в поддержании продовольственного обеспечения тюрьмы Шпандау на должном уровне. В частности, мы не в состоянии закупать в необходимом количестве престижные для русской кухни продукты, в том числе икру, балык, крабы и т.п.

Ожидается, что в дальнейшем эти трудности еще более возрастут. Это связано с тем, что состояние здоровья заключенного № 7 требует усиленного за ним наблюдения, а это возлагается на санитаров тюрьмы. Поэтому

в ближайшее время потребуются увеличение количества санитаров, что в свою очередь повысит расход продуктов питания.

На всех официальных обедах представителей четырех сторон обязательно подаются спиртные напитки. В 1960—70 годах советская сторона неоднократно в одностороннем порядке предпринимала попытки прекратить подачу спиртных напитков, однако это вызвало негативную реакцию западных сторон. Они стали устраивать сепаратные приемы без приглашения советских представителей, их официальные лица стали отказываться от присутствия на церемониях, проводимых советской стороной. По этим причинам мы были вынуждены возобновить подачу спиртных напитков.

После принятия в 1985 году постановления “О мерах по борьбе с пьянством и алкоголизмом” возникла довольно двусмысленная ситуация и нам пришлось обратиться за разъяснениями к начальнику Генерального штаба Маршалу Советского Союза Ахромееву. В соответствии с нашим запросом он дал указание сохранить устоявшиеся традиции и мы получили право поставлять в свои месяцы председательствования 5 бутылок коньяка, 15 — водки, 20 — сухого красного и 25 — сухого белого вина, а также 60 бутылок пива.

Но за последнее время цены заметно выросли и у нас возникли серьезные трудности с приобретением спиртных напитков в прежних объемах...”

Была в этой сверхзакрытой и сверхохраняемой тюрьме еще одна серьезная проблема, о которой как-то неловко говорить. Эта проблема — воровство.

В соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ № 9 те вещи Гесса, которые после его смерти могли быть использованы в качестве сувениров, в том числе форма пилота Люфтваффе и некоторые документы, надлежало уничтожить. А вот его личные вещи, как то часы, карманный фонарик, портсигар, полагалось передать семье. Так вот еще в августе 1986 года выяснилось, что почти все вещи Гесса бесследно исчезли. Пропали китель, ботинки, пилотка и шлем летчика Люфтваффе, печать с монограммой, портсигар. Была похищена даже коробка с его золотыми коронками.

Видимо, опасаясь, что будет разворовано и все остальное, руководство тюрьмы поспешно принимает решение уничтожить хотя бы что-нибудь. 18 ноября 1986 года в присутствии представителей четырех стран были уничтожены носки, платки, кальсоны, брюки, шляпы, кепки, куртки, майки, а также оловянная кружка и футляр для очков с маркировкой “VII”. Заодно сожгли в пустые вещмешки с бирками всех бывших узников Межсоюзной тюрьмы Шпандау.

Гесс обо всем этом, скорее всего, не знал. Не исключено и другое: именно в это время он решил выбраться из Шпандау. Надежды на официальное освобождение уже не было — это Гесс понял, но смириться с тихой кончиной в тюремной камере не мог. Гесс должен был хлопнуть дверью! Он должен был продемонстрировать не сломленную силу духа и доказать, что хозяином ситуации всегда оставался он, нацист № 3.

Чтобы усыпить бдительность надзирателей, Гесс начал себя вести образцово-показательно. Скажем, перед выключением света на ночь у за-

ключенного надо было отбирать очки: Гесс не ждал, когда ему об этом напомнят и отдавал очки сам. По инструкции надзиратель должен был присутствовать при посещении амбулатории и даже во время принятия ванны: Гесс первым напоминал об этом надзирателям и в конце концов добился того, что те стали следить за ним вполглаза. Точно так же он вел себя и на прогулках...

Со временем Гесс понял, что именно во время прогулки он сможет сделать то, что задумал: надзиратели имеют привычку стоять под деревом и им не видно, что происходит в садовом домике. Кроме того, в этом домике есть то, без чего не обойтись — настольная лампа с довольно длинным электрическим проводом.

Когда план был продуман во всех деталях, Гесс стал размышлять, кому же, если так можно выразиться, подложить свинью. И решил: англичанам! Они его не поняли в 1941-м, они усадили его на скамью подсудимых в 1945-м, они не сделали ни одной попытки вытащить его на волю все эти годы — значит, все произойдет в дни дежурства английского надзирателя.

17 августа он написал прощальное письмо, подождал, пока молодой англичанин пристроится под деревом, и накинул на шею провод... ■

Фото на стр. 164: **Гитлер в тюремной камере вместе с другими заключенными нацистами, осужденными за участие в "пивном путче". Второй справа Рудольф Гесс.**

# Одной левой...



**К**ан мужчины, когда нечего делать да еще и под хмельком, меряются силой?.. Локти на стол, сцепились кистями и — под задорные крики зрителей — кто кого уложит..

С недавних пор развлечение из баров, трактиров и со студенческих вечеринок шагнуло на спортивные арены, стало собирать тысячи зрителей и получило имя: армрестлинг. Или, по-нашему, "борьба руками".

Среди отечественных "рукоборцев" один из самых сильных сегодня — Константин ЗАДЫМОВ: чемпион Европы (в весе до 90 килограммов), чемпион мира — в борьбе левой рукой.



фото Игоря Яковлева

— Костя, тебе всего 21 год, а уже такие титулы. Ты "качаешься" с детства?

— С детства я "начался" математикой. Я учился в 18-м интернате имени академика Колмогорова. Это — одна из немногих в стране школ для одаренных детей. Оттуда без экзаменов брали в МГУ. Меня увлекала алгебра, учился я в химиико-математическом классе. А роди-

тели пристально следили за моими оценками: нан только появлялась двойка, отец устраивал порку.

— Может, поэтому ты и поступил в МГУ...

— Причем, на самый "продвинутый" факультет — вычислительной техники и кибернетики. Одновременно занялся спортом по-настоящему. Заслуженный тренер России Евгений Иванович Муса-



нов организовал сенцию армспорта... Армспорт появился в России лет семь назад, а родины его считается небольшой городок Петалума, недалеко от Сан-Франциско, где в 1997 году и проходил чемпионат мира. Я даже видел памятник основателю армспорта Вилли Собранцу — его изваяли с трубкой в руках, с которой он редко расставался.

— *А ты куришь?*

— У меня — строгая диета. Предпочитаю обезжиренную пищу: парное мясо, творог, молоко, овощи. Не ем сахара, масла, маргарина, манарон... А чтобы хватало на пропитание, подрабатываю программистом. Раньше выпивал, но сейчас завязал полностью. и даже в Новый год не пил шампанского. И покуривал, бывало, но уже четыре года не выношу табачного дыма. Не прикасаюсь к кофе. Даже не встречаюсь с девушками перед соревнованиями. (Знаю спортсменов, которые после бессонной ночи с подругой проигрывали ответственные соревнования...)

— *А с чего в России начался армрестлинг?*

— Несколько лет назад в Москву приезжали представители этого вида спорта из США. Состоялись соревнования, в которых с нашей стороны выставили борцов, штангистов... В итоге американцы победили почти во всех весовых категориях. Это в какой-то степени спровоцировало развитие армспорта у нас.

— *Когда к тебе пришли успехи?*

— На чемпионате Москвы-97. Тогда первенство столицы осталось за мной. Это меня "завело", и я стал еще больше тренироваться — по шесть раз в неделю... На чемпионате Европы-97 в Словакии в финале левой рукой пришлось противостоять чемпиону мира и Европы словану Яну Германусу. Левая рука у меня боевая, и Яну на этот раз не повезло. Правой я занял второе место...

— *Кто тебя сейчас тренирует?*

— Раньше тренировался в МГУ, но последние два года "начуюсь" в спортивном клубе "Антей", которым руководит Андрей Юньков. Он — заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира по армрестлингу. Тренирует меня Андрей Антонов — чемпион России в весе свыше 100 килограммов. Он часто выступает моим спарринг-партнером. В 1997 году Андрей выиграл турнир "Золотой медведь" в абсолютной весовой категории.

— *Путь к победе — "качаться, качаться и качаться"?*

— У дилетантов к армспорту отношение такое: мол, сила есть — ума не надо... Это не так. Технику надо ставить в молодости. Я ведь недаром занимаюсь этим видом с 16 лет... На одном турнире померяться силой с моим "играющим" тренером вызвался местный богатырь. И ушел из-за стола с закрытым переломом плечевой кости...

— *А тебе самому хочется стать самым сильным армрестлером в мире?*

— Американец Джон Брэнн — восьмимирный чемпион мира в абсолютной весовой категории. За последние пять лет он не проиграл ни одной встречи. Мне еще здорово надо потренироваться, чтобы победить легендарного Джона...

— *У тебя есть хобби?*

— Люблю читать: Ньюля Верна, Дженна Лондона, Рэя Брэдбери, Марна Твена... Еще люблю компьютеры. Свободно владею английским — мне нравится путешествовать по "Интернету". С удовольствием читаю там и в зарубежных журналах материалы об армспорте. У нас о нем пишут мало. Считают, видно: о чем там говорить — напрягся и победил "одной левой"... А в армрестлинге столько напряжения, внутреннего драматизма — на три хонкея хватит... ■






# небо падших

*Должен предупредить, что я записал его историю почти тотчас по прослушании ее, и, следовательно, не должно быть места сомнениям в точности и верности моего рассказа. Заявляю, что верность простирается вплоть до передачи размышлений и чувств, которые юный авантюрист выражал с самым отменным изяществом...*

**Аббат Прево.** "История кавалера де Грие и Мион Леско"

**Юрий ПОЛЯКОВ**

## 1. Московский вокзал



На Московский вокзал я приехал за полчаса до отправления и бродил по платформе в ожидании, пока подадут состав. Я думал о том, где взять деньги на ремонт старенькой «шестерки», которую разбила моя жена, отправившись за покупками на оптовый рынок. Надо было также платить за дочь, поступившую на курсы визажистов. Холодный мартовский ветер продувал насквозь мой финский плащ, купленный десять лет назад на закрытой распродаже, устроенной специально для делегатов съезда советских писателей.

Подали состав. Проводница глянула в мой билет и, буркнув: «Первое купе, второе место...», — спрятала его в специальный раскладывающийся планшет с карманчиками. В теплый вагон я вошел первым. Узкий проход устлала ковровая дорожка, а со стены свисали вечнозеленые пластмассовые растения. Диванчики в двухместном купе были аккуратно заправлены крахмаленным бельем, испускавшим едкий запах искусственной свежести. В изголовьях, точно наполеоновские треуголки, стояли подушки. Я переоделся в спортивный костюм, меховые тапочки, а стоптанные башмаки вместе с дорожной сумкой из потрескавшегося дерматина затолкал подалеже под сиденье. И стал смотреть в окно, для развлечения пытаюсь угадать своего будущего соседа по купе.

Был даже момент, когда я вознадеялся провести эту дорожную ночь с юной длинноногой особой. Пьяно покачиваясь, она долго рылась в сумоч-

ке. Я подумал о том, что эротическую комедию можно начать с того, как в купе к скромному отцу семейства входит рыжеволосая красотка... Наконец она нашла билет, недоуменно помотала головой и повлеклась дальше вдоль состава.

Без одной минуты двенадцать грянул гимн — поезд дернулся и пополз. Когда я уже решил, что остался в одиночестве, дверь купе резко отъехала в сторону: на пороге стоял лысеватый мужчина боксерской наружности. Несмотря на зрелый возраст, одет он был вполне по-молодежному: синие джинсы, черная кожаная куртка и спортивные туфли. Боксер внимательно осмотрел купе, ощупал взглядом меня и спросил:

— Это ваше место?

— Исключительно! — ответил я с достоинством.

Он легко закинул в багажную нишу огромный чемодан на колесиках, поставил на свободный диванчик саквояж из натуральной рыжей кожи, потом отступил в коридор и позвал:

— Пал Николаевич! Здесь...

В проеме появился невысокий молодой человек в распахнутом черном кашемировом пальто.

«Павел Николаевич! — сердито подумал я. — Меня в его возрасте никому и в голову не приходило величать по имени-отчеству...»

— Здравствуйте, — сказал он весело и звонко, — вам придется перейти в другое купе!

Скажу честно, я человек совершенно неконфликтный, даже уступчивый, но одного просто не переносу — когда мне приказывают. Жена моя, кстати, давно уже это усвоила и никогда не говорит: «Сходи в магазин!» Нет, она, даже если я просто лежу на диване, говорит: «Милый, хочу тебя попросить... Конечно, если у тебя нет других дел!» В следующий миг, отложив все дела, я уже мчусь в булочную с сумкой в руке.

— Толик, помоги, пожалуйста, господину перенести вещи! — не дожидаясь моего ответа, приказал Павел Николаевич боксеру.

И только тут до меня дошло, что Толик — телохранитель. Мне стало не по себе. Конечно, умом я понимал, что нужно обратить все в шутку и перейти в другое купе — ведь подобные обмены местами дело в поезде обычное. Но в душе уже набухало злое, не подчиняющееся разуму упрямство. Если бы он не произнес это мерзкое словосочетание «вам придется», мне, разумеется, пришлось бы согласиться — и в таком случае повесть эта никогда не была бы написана.

— Товарищ, кажется, не слышит! — высказался Толик.

Я молчал, упершись взглядом в пол. Узкие черные ботинки моего внезапного утешителя были такими чистыми, точно носил их ангел, никогда не ступавший на грешную землю.

— Где ваши вещи? Давайте пособию! — предложил телохранитель.

— Я на своем месте и никуда не пойду! — ответил я несколько истерично, но достаточно твердо.

— Не понял? — удивился Павел Николаевич.

— А что тут непонятного? — Я посмотрел на обидчика в упор.

Лицом он походил на студента-отличника из фильма семидесятых годов: румяное круглое лицо, вздернутый нос и большие очки. Но в зачесан-

ных назад волнистых темных волосах отчетливо проглядывалась просесть, совершенно неуместная в его розовощеком возрасте.

— Повторяю еще раз: вам придется перейти в другое купе! Толик, помоги господину!

Я обратил внимание, что, сердясь, Павел Николаевич сжимает свои и без того тонкие губы в строгую бескровную ниточку.

— Почему? Вы не желаете со мной ехать? Вы меня боитесь? — спросил я с иронией и пожалел об этом.

Глаза у студента-отличника оказались совершенно свинцовые, а взгляд равнодушно-безжалостный.

— Я никого не боюсь. Толик, не сочти за труд — сходи за проводницей!

Телохранитель ушел, а Павел Николаевич снял и бросил на диванчик пальто, потом дорогой пиджак с металлическими пуговицами, развязал галстук и остался в тонких черных брюках и белоснежной сорочке, обтягивающей наметившийся животик.

— Вы напрасно уперлись, — с укором проговорил он, снял очки и — лицо его стало совершенно детским. — Вам все равно придется перейти в другое купе... Я с незнакомыми людьми не езжу.

— Тогда купите себе самолет и летайте со знакомыми!

— Самолет у меня есть. Но сегодня я вынужден ехать поездом, — серьезно объяснил он.

Явилась проводница. Было видно, что за вмешательство ей уже заплачено или, во всяком случае, обещано — и немало.

— Гражданин, перейдите, пожалуйста, в другое купе! — потребовала она.

— Почему?

— Потому что молодой человек хочет ехать со своим другом!

— Не перейду!

— Хотите, чтобы вас перенесли? — вяло удивился Павел Николаевич.

— Если до меня дотронетесь — у вас будут большие неприятности! — предупредил я.

— Да он пьяный! — показывая на меня пальцем, крикнула проводница. — Предъявите документ! Я сейчас наряд вызову!

— Наряд? Очень хорошо! — Я достал из кармана и помахал в воздухе «корочкой» с надписью «Пресса».

Это было удостоверение одной популярной и очень скандальной молодежной газеты, где я вел рубрику «Архивная мышь». Вообще-то удостоверение мне, как договорнику, не полагалось, но ответственный секретарь, мой давний приятель, выписал «корочку», чтобы я мог посещать их очень дешевую редакционную столовую.

Проводница растерялась: деньги деньгами, а с прессой лучше все-таки не связываться. Она пообещала договориться с пассажирами из другого купе и ушла.

— Не люблю журналюг! — весело сообщил Павел Николаевич. — Продажные вы все людишки!

— А вы покупали?

— Неоднократно.

— Ну, меня вы пока еще не купили! И потом, я не журналист, а писатель.

— Писатель? Ну, это еще дешевле. Как ваша фамилия?

— Скабичевский...

— Странно. Мне показалось, что вы — Панаев...

Некоторое время мы молча сидели друг против друга. Телохранитель тем временем аккуратно повесил на плечики одежду своего шефа и стоял в дверях с каменным лицом, ожидая дальнейших указаний.

— Хорошо, — вдруг прервал молчание Павел Николаевич. — Я даю вам пятьсот баксов — и вы переходите в другое купе. Договорились?

Он махнул рукой — Толик раскрыл дорожный саквояж, вынул оттуда черную визитку и протянул хозяину. Тот достал толстую, перетянутую резинкой зеленую пачку и отсчитал пять стодолларовых бумажек.

— Нет, — ответил я, отводя глаза от денег.

Павел Николаевич молча добавил еще столько же.

— Возьмите, вам же хочется. Смелее! В первый раз всегда страшно. — Он улыбнулся, и на его круглых щеках обозначились трогательные ямочки.

Мне и в самом деле очень хотелось. Это была как раз та сумма, какую запросили с меня на автосервисе за полное восстановление «шестерки». Но я потребовал:

— Уберите деньги!

— Ладно, отдаю все! — Он бросил на столик пачку и ребячливо подмигнул телохранителю.

— Зачем вы валяете дурака? Все равно всех этих денег мне не отдадите!

— Отдам!

— Не отдадите!

— Конечно, не отдам.

Он надел очки и снова стал взрослым. Ямочки на щеках исчезли, как и не было.

— Зачем тогда издеваетесь?

— Я вас искушал. И вы мне понравились. Давайте лучше выпьем! Толик, будь другом, накрой поляну. Мы тут с господином писателем о жизни побеседуем.

Телохранитель вынул из саквояжа две бутылки бордо 93-го года, бутерброды с икрой и рыбой, уложенные в пластмассовую коробочку. В другой коробочке оказалась клубника. Потом посмотрел на свет стаканы, стоявшие на столике, поморщился, ушел и воротился через минуту с другими — чистыми. Сопровождала его радостная проводница.

— Я договорилась в третьем купе!

— Спасибо, голубушка, за хлопоты, — кивнул Павел Николаевич, — но мы уже подружились...

Толик тем временем достал из кармана складной нож со штопором, откупорил бутылку и уверенным официантским жестом, несмотря на покачивание вагона, разлил рубиновое вино по стаканам.

— Спасибо, иди спать! — сказал Павел Николаевич и, глядя вслед уходящему, добавил: — Отличный мужик. Горбачева охранял. Теперь вот со мной. Уже пять лет. Стреляет, как бог! А удар!..

— Вы не бойтесь, что он когда-нибудь в вас выстрелит? — ехидно спросил я.

— Нет, не боюсь. Эти люди стреляют или во врага, или в себя. Странный народ. Кстати, давайте выпьем за русский народ! Знаете, когда все это началось, я думал, через год, максимум через два, нас всех на вилы поднимут. Ничего подобного. Наоборот, сын трудового народа Толик меня и охраняет. За народ!

— Нет, за это я пить не буду.

— Вы со всеми такой вредный или только со мной?

— Нет, не со всеми. Но если бы народом был я...

— Я бы давно уже был на вилах! — засмеялся Павел Николаевич. — Какой вы злой! Наверное, просто бедный? Но за ненависть мы пить не будем. Выпьем за любовь! Вы допускаете, что такой мерзавец и мироед, как я, способен испытывать это чувство?

— Отчего ж не допустить! Самых трогательных романтиков я встречал в зоне, когда писал очерк к двухсотлетию Владимирского централа.

— Романтика? При чем тут романтика? Любовь добывается из такого же дерьма и грязи, что и деньги. Ее так же, как деньги, легко потерять. Может, когда-нибудь люди будут на кредитных карточках копить не баксы, а любовь.

— Ого! Вы не пробовали сочинять? — довольно ядовито спросил я.

— Пробовал. Даже литературную студию при МАТИ посещал. Стихи писал... концептуальные. Прочитать?

— Не стоит.

— Знаете, бизнесом, творчеством и любовью у человека ведает одна и та же часть мозга, поэтому среди хороших поэтов не бывает хороших бизнесменов. И наоборот. Кстати, влюбленный бизнесмен тоже не жилец... Вы-то бизнесом пробовали заниматься?

— Никогда.

— И не пытайтесь! Я знал одного сценариста. Он с нефтью связался, да еще влопался в киноактрису... Страшная история — нашли с чеченским кинжалом в сердце.

— Я, кажется, читал об этом в газетах...

— В газетах? — Он посмотрел на меня с упреком. — Вы читали, а я хоронил... Давайте все-таки выпьем!

Вино, как и следовало ожидать, оказалось замечательным. Некоторое время мы сидели молча. Я отогнул краешек накрахмаленной занавески: мелькающие столбы отмеривали проносающуюся за окнами ночь.

— Знаете, иногда хочется все бросить, спрятаться в деревне и по вечерам, слушая сверчка, писать книгу... — мечтательно произнес Павел Николаевич.

— О чем?

— О дерьме.

— Из которого все добывается?

— Да. У меня очень много сюжетов. Хотите, подарю вам один? Настоящий! Не из газет.

— Спасибо, но у меня своих сюжетов достаточно.

— Ленивы и нелюбопытны... А потом еще на читателя жалуетесь!

— Я не жалуюсь... Читатель всегда прав. Критики — другое дело. Учитывая тематику вашей будущей книги, я тоже могу вам дать несколько сюжетов о критиках...

— Да ладно уж, ничего я никогда не напишу. Мне бумагу марать так же опасно, как сценаристу торговать нефтью... Слушайте, а вы когда-нибудь на заказ писали?

— Конечно. Двум маршалам мемуары сочинил. При советской власти за это неплохо платили. Не то что сейчас...

— Отлично. — Павел Николаевич от возбуждения взъерошил рукой волосы, и сединок у него оказалось даже больше, чем показалось мне вначале. — Я заказываю!

— Что вы заказываете? Меня?

— Не надо так шутить. Это не смешно. Вы прекрасно понимаете, что я хочу заказать. Но я не знаю, что может выйти из моего сюжета — рассказ, повесть, роман... О гонораре не беспокойтесь. Я не жадный.

— Погодите, может быть, мне ваш сюжет еще и не понравится...

— Опять привередничаете!

— Но ведь и вы заключаете не каждую сделку из тех, что вам предлагают, — возразил я.

— Ленивы, но изворотливы. Давайте лучше выпьем!

— За что?

— Теперь ваш тост.

— Тогда — за ту часть мозга, которая не может одновременно заниматься бизнесом и творчеством!

— И любовью! — добавил Павел Николаевич.

— А ваш сюжет про любовь?

— Конечно! А про что же еще?! — Он засмеялся, и на его щеках снова возникли ямочки.

— Ну, не знаю, — я невольно улыбнулся в ответ. — Может, про первичное накопление!

## 2. Гаврош капитализма

— Об этом тоже можно целую книгу написать! Эпосею о гаврошах русского капитализма... О тех, кто был ничем, а стал всем! — Павел Николаевич полуригел на диван, явно приотвлавываясь к обстоятельному рассказу. — Вы знаете, мне долгое время казалось, что я просто играю главную роль в мыльной опере про богатых, которые плачут, смеются, жрут, трахаются и занимаются прочей жизненно важной чепухой. Мне казалось, вот сейчас закончится очередная сцена, вырубятся «юпитеры» — и костюмер заберет у меня тысячедолларовый смокинг, а бутафор отгонит в студийный гараж мой «джип». Я переоденусь в потертые джинсы, свитерок и курточку из дубеющего на морозе кожзаменителя, сяду в синий троллейбус, подберу с затоптанного пола более менее свежий билетик (чтобы в случае чего отовратиться от контролера) и поеду в институтскую общагу. А вечером, натолкав в сумку учебники и конспекты, побегу на Ходынку — сторожить авиационный музей под открытым небом. “А что там сторожить?” — спросите вы. Понятное дело, первый сверхзвуковой истребитель на себе не утащишь и даже отвинчивать нечего — все, что можно, уже открутили. Главная задача — не допустить превращения вертолетных кабин в сортиры.



За это мне полагалось сорок рублей в месяц. А еще за пятерку можно было в большой грузовой вертолет пустить бездомную парочку — покурить на брезенте. Плюс повышенная стипендия. Если сложить все вместе, то выходило совсем неплохо. А иначе иногороднему студенту в Москве не прожить.

Собственно, с этого большого грузового вертолета, оборудованного под шалаш любви, и начался мой бизнес. Мы с напарником стали запасаться водкой и продавать ее посетителям с ночной надбавкой. Дело процветало — мы благоустроили еще пару вертолетов и Ил-14, а водку на поддельные талоны закупали ящиками. Охраняли нас от неприятностей — разумеется, не бесплатно — миллионеры из соседнего отделения. Начальник музея, отставной авиационный генерал, брал с нас натуральный налог девочками и помалкивал... Замечательное, романтическое время, когда разбогатеть можно было неожиданно и легко.

Но бордельный бизнес меня никогда не привлекал. Я начал с того, что за сравнительно небольшие взятки и на сравнительно законных основаниях арендовал вышку для прыжков с парашютом по соседству с авиамузеем. Она тогда никому не была нужна. Ошалевший народ, вдруг потеряв все, что нажито непосильным трудом, прыгал с балконов вниз головой. А тут вышка! Просто никому в голову не приходило, что в Москве найдется куча людей с деньгами, которые захотят прыгнуть с этой самой вышки. Мне это пришло в голову, и я организовал кооператив «Земля и небо».

Бизнес, как и настоящая любовь, захватывает целиком. Я ушел из авиационно-технологического института с четвертого курса. Особенно радовался этому преподаватель кафедры научного коммунизма Плешанов, с которым я всегда спорил на лекциях, а однажды даже сказал, что марксизм — это попытка осмыслить жизнь не с помощью мозговых извилин, а с помощью прямой кишки! Меня чуть не исключили из комсомола. Великая была организация! Поскреби нынешнего российского миллиардера — найдешь или комсомольского функционера, или активиста. Моя парашютная вышка была филиалом спортивно-массового отдела райкома комсомола, а первым чиновником, получившим от меня взятку в конвертике, был секретарь райкома Серега Таратута. Вторую взятку, но уже не в конверте, а в кейсе, я дал его тестю — начальнику управления гражданской авиации.

Так появился «Аэрофонд».

Я, кстати, потом решил все-таки закончить институт. Сначала пытался учиться честно: каждому экзаменатору вручал конверт с баксами, а они мне зачетку с «пятеркой». Потом мы под ручку выходили из институтской проходной. Любимый профессор шел на автобус, а передо мной шофер предупредительно распахивал дверцу джипа. Жаль, что Плешанова я в институте уже не застал. Он к тому времени опубликовал нашумевшую статью «Крылья ГУЛАГа» и стал большим человеком у демократов.

Но игра в образцового экстерна мне быстро надоела, да и времени не хватало. Кончилось тем, что я проплатил оборудование новой институтской лаборатории, выдал всему профессорско-преподавательскому составу премии к Новому году, спонсировал ремонт личной дачи проректора по науке — и получил диплом. Дешевле, конечно, купить подделку, но я еще

в ту пору верил, что однажды стану президентом этой страны. Казалось, главное в жизни — это больше и выше! Оказалось, главное — это просто в очередной раз отбиться от прокуратуры и бандюков. Отбиться и уцелеть. Странное время! Вы знаете, зачем я ездил в Питер? Давал показания. Как свидетель. Пока как свидетель. Это с одной стороны. А с другой, я член-корреспондент Международной авиационной академии. Мой «Аэрофонд» — одна из самых заметных времянок на руинах советской авиации. У меня деловые отношения с пятнадцатью странами. Возьмите справочник «Кто есть кто в мировой авиации». Откройте букву «Ш» и найдите фамилию «Шарманов» — тогда вам станет все ясно...

— Вы, кажется, говорили, что ваш сюжет про любовь, — упрекнул я.

— А я вам о чем рассказываю! — Павел Николаевич от обиды даже вскочил с дивана. — Просто иначе вы не поймете, откуда взялась на мою голову Катерина...

### 3. Стотрины

...Мне постоянно приходилось мотаться за границу — переговоры, соглашения о намерениях, подписание контрактов. Некоторое время я всюду таскал с собой бывшего военного переводчика, преподававшего в моем институте сразу три языка. Полиглот и горький пьяница, он надирался уже в полете. Обычно стюардесса, совершив к нему полдюжины ходок с бутылкой виски, в конце концов не выдерживала и, махнув рукой, оставляла бутылку в его полное распоряжение. Когда я орал на него, он оправдывался тем, что на трезвую голову с трудом понимает даже по-русски, не говоря уже о прочих языках. Но не это было главной неприятностью — взяв свою дозу, переводил он великолепно. Дело в другом: бизнесмен на переговорах без эффектной помощницы всегда вызывает сочувствие, переходящее в недоумение. Серьезный контракт без красивой секретарши подписать просто невозможно, как нельзя его подписывать шариковой ручкой за десять центов.

Я выгнал переводчика и, посоветовавшись со своим заместителем Сергеем Таратутой, дал объявление в газете:

«Владельцу авиационной фирмы требуется привлекательная помощница (до 30 лет), умеющая работать на компьютере, без комплексов, со знанием этикета и двух иностранных языков (английский обязательно). Высокая зарплата и постоянные выезды за рубеж гарантируются.»

Боже мой, что тут началось! Больше сотни дам и девиц жаждали стать моими помощницами. Откровенно говоря, я обалдел от такой массовки и пришлось даже снять на несколько дней для стотрин польский культурный центр.

Разочарования начались сразу же. Из явившихся на конкурс мало кто владел компьютером, разбирался в этикете и знал два языка, но зато все явились одетыми по форме: мини-юбка, блузка, подчеркивающая наличие требуемого для такой работы бюста, и ажурные чулочки-завлекалки. Кто только не приперся: и прожженные путаны, и замученные нищенской зарплатой преподавательницы английского, и потрепанные гидши развалившегося Интуриста. Была даже одна восьмиклассница, уверяв-

шая, что подучить язык — ей раз плюнуть, а все остальное она уже умеет на «пятерку». Но я чту уголовный кодекс!

Сергея Таратута, насобачившийся еще в комсомольские времена, организовав конкурсы красоты, устроил все очень грамотно. Группа соискательниц поднималась на освещенную сцену, а мы с ним, как жюри в КВНе, сидели в глубине зала за специальным столиком с микрофоном.

— Вы знаете, как отбирают стюардесс в бразильских авиакомпаниях? — спрашивал Сергей в микрофон.

— Как?

— А вот так. Нужно положить руки на затылок, а локти свести вместе. После этого нужно медленно подойти к стене.

— Зачем?

— Затем... Если ваши локти коснутся стены раньше, чем ваш бюст, стюардессой в Бразилии вам не быть!

— Но мы же не в Бразилии!

— Вот именно! Что такое Бразилия? Страна третьего мира. А Россия — великая держава. К тому же, «Аэрофонд» предполагает открыть филиал в Буэнос-Айресе! — вдохновенно врал Таратута.

После такого заявления несколько соискательниц, понурясь, сами сошли со сцены и удалились. Оставшиеся заполняли специальные анкеты. Самых страшеньких мы отправляли домой, объясняя, что не удовлетворены их анкетными данными. Нельзя же девушке прямо сказать, что с такими, к примеру, зубами и прыщами, надо бежать к протезисту и дерматологу, а не на конкурс секретарш.

Потом Сергей, окончивший в свое время спецшколу, а также иняз, разговаривал с девушками по-английски. Двух трех вопросов и ответов было достаточно, чтобы убедиться: выучить язык за месяц, даже при помощи Илоны Давыдовой, невозможно. Потом соискательницы набирали текст делового письма на компьютере. Делавшие ошибку в слове «презентация» тут же отправлялись домой, хотя для некоторых, подходящих под стандарты бразильских авиакомпаний, мы делали временное исключение. Наконец, оставшиеся девушки варили и подавали нам кофе.

К концу дня определялись финалистки. Им-то и предлагалось проследовать в сауну для демонстрации того, как они умеют организовывать мужской досуг. Иные, бледнея от возмущения, отказывались сразу же. Что ж, я уважаю женщин, полагающих, что путь к сердцу шефа лежит исключительно через мозг, но в моем офисе таким особам делать нечего. Большинство заранее знало, что их ждет, и соглашалось.

Для проверки всеотзывчивости девушек я пригласил кое-кого из своих друзей и партнеров. Первым, разумеется, примчался Гена Аристов — Герой России, летчик-космонавт, железный и бесстрашный мужик, боящийся в жизни только одного — своей жены Галины Дорофеевны. Появившись, он сразу же попросил Толика проверить — нет ли за ним хвоста.

В результате многократного тестирования и последующего бурного обсуждения за четыре дня удалось отобрать шестерых девушек. Кто-то из них прилично владел английским, но не более, кто-то знал основы этикета, кто-то окончил компьютерные курсы, но все шестеро хорошо заварива-

ли кофе, касались стены грудью раньше, чем локтями, а главное — относились к своему телу как к общественному достоянию, проявляя при этом сноровку, выдумку и дисциплинированность. Двоих я сам взял секретаршами на телефон, остальных разобрали друзья и деловые партнеры. Гена тоже сначала хотел взять себе референтом одну маленькую черненькую девчущку с Украины, но потом все-таки решил не искушать Галину Дорофеевну. Кто же знал, что через три года он втрескается до полной потери бдительности в длинноногую Оленьку — студентку академии современного искусства имени Казимира Малевича.

Но та, ради которой все и было затеяно, не появилась.

— Нет женщин в русских селеньях! — горько вздохнул Серега.

Катерина появилась на пятый день. И буквально потрясла нас. На ней был строгий белый костюм с глухим воротником и удлиненной юбкой. Гладко зачесанные назад золотые волосы она собрала на затылке в маленький строгий пучок, удерживаемый изящной заколкой. Почти незаметная косметика делала ее идеально овальное лицо еще свежее, губы еще чувственнее, а светло-карие глаза еще ярче.

— Знаете, как подбирают стюардесс в Бразилии... — начал оживающий прямо на глазах Серега.

— Знаю, — холодно ответила она. — В Турции отбирают так же. Меня приглашали, но у них слишком маленькое жалование...

— Ого! Тогда вот анкета.

Анкета, которую она заполнила каллиграфическим почерком, поразила нас еще больше. Диплом МГИМО. Лицензия Высшей парижской компьютерной школы. Два языка — английский и французский. Куча выездов за рубеж. Она даже родилась в Венеции.

— Родители поехали туда на Рождество. Папа в то время работал атташе по науке в Париже.

— Скажите что-нибудь по-английски! — потребовал Серега.

Она улыбнулась и мягким голосом прочитала какое-то стихотворение.

— Не понял! — опешил Таратута.

— Это на староанглийском времен Чосера. На старо-французском чего-нибудь не желаете? — предложила Катерина, насмешливо глядя мне прямо в глаза.

Она сразу почувствовала во мне главного. Ее умение в огромной толпе мужиков мгновенно определять самого сильного и главного потом не раз поражало меня.

— Спасибо, не надо! — спешно поблагодарил Серега. — Теперь — этикет...

— Этикет? — Переспросила она у меня, не обращая на суетящегося Таратуту никакого внимания. — Кто вам завязывает галстук? Жена?

— Толик, — сознался я.

— Такие узлы давно не в моде... Серьезные люди могут вас неправильно понять.

Она легко встала из кресла, медленно, чуть покачивая бедрами, подошла — и оказалась выше меня на полголовы. «Это — каблучки!» — успокоил я сам себя. Касаясь прохладными пальцами моей шеи, Катерина распустила галстук, а потом быстрым и умелым движением завязала снова.

— Теперь с вами можно иметь дело! — полюбовавшись на свою работу, сказала она и вернулась к креслу, сев на него, как садятся на трон.

— Это то, что нужно, — зашептал мне на ухо Таратута. — Я пошел с ней в сауну!

— Угоришь! — ответил я и повернулся к Катерине. — Вы хотите у нас работать?

— Все зависит от того, сколько вы будете мне платить.

— А сколько вы хотите?

Она написала что-то на листке бумаги, сложила и помахала им в воздухе. Сереге ничего не оставалось, как поработать почтальоном. Сумма, увиденная мной, была огромной! За такие деньги тогда, в 93-м, полагаю, можно было купить ядерный чемоданчик Президента или полдюжины агентов влияния. Но в ту пору дела «Аэрофонда» шли прекрасно.

— Хорошо, подходит.

— Как, без сауны? — зашептал мне на ухо Серега.

— Я вас беру!

— Без сауны? — вдруг спросила Катерина, покачивая туфелькой.

— Я вас беру! — твердо повторил я.

— Кто знает, может быть, это я вас беру! — улыбнулась она.

#### *4. Семейная история*

Хорошая секретарша — это посерьезнее, чем еще одна жена. Во всяком случае, времени с ней проводишь гораздо больше, чем с законной супругой. А с Катериной я проводил все время, потому что моя благоверная вместе с дочерью проживала на Майорке.

Женился я, кстати, еще в институте. Была у нас на курсе милая, но очень уж худенькая девушка по имени Таня, которая громче всех хохотала, когда я глумился над доцентом Пleshановым, а во время институтских вечеров обязательно приглашала меня на белый танец. Робко положив руку на мое плечо, она каждый раз настырно вызывалась проведать меня в ходынской сторожке, отлично зная, что там уже перебивались многие студентки, аспирантки и даже одна хорошо сохранившаяся докторантка. Напросилась...

Через месяц уже весь институт знал, что Танька ждет от Шарманова ребенка. Отпираться и валить на кого-то другого не хотелось: в сторожку она и в самом деле явилась невинной, как засургученный пакет, дошедший, наконец-то, до своего адресата. В общем, минимум удовольствия и максимум неприятностей! Нет, она не устраивала мне сцены, не жаловалась в деканат, не натравливала на меня своего отца, скромного инженера-станкостроителя, или того хуже, мать, врача-анестезиолога, не приглашала меня на объяснительный обед в их малогабаритную трехкомнатную квартиру в Печатниках. Она просто позеленела от интоксикации, как кузнечик, и прямо с занятий была увезена в лечебницу, где с небольшими перерывами и пролежала на сохранении до самых родов. Навещая ее, я иногда сталкивался то с отцом-станкостроителем, отводившим при встрече взгляд, то — с матерью-анестезиологом, пытливо смотревшей мне прямо в глаза.

В любой ситуации главное — рассуждать здраво и логично. Вопрос о московской прописке, рассуждал я, все равно рано или поздно придется решать. А зачем вляпываться в разные там фиктивные непотребства, когда девушка из интеллигентной столичной семьи вот уже третий месяц слабым больничным голосом уверяет, что любит меня больше всего на свете?

Я поколебался и принял решение. Свадьба была тихой, семейной, даже без криков «горько», так как невесту тошнило от всего, а меня — от целеуев. Я не стал вызывать на свадьбу своих давно уже разведенных родителей, а просто известил их телеграммой. Они, очевидно, сочли, что речь идет о временном браке ради прописки и не обиделись. Когда же я проинформировал их о рождении Ксюхи, мама все-таки прилетела, подержала внучку на руках и с чувством выполненного долга воротилась к своим испытательным стендам в Арзамас-16.

Татьяна оказалась идеальной женой: детский диатез или понос волновал ее гораздо больше, чем то, где и с кем шляется ее муж. Я как раз раскручивал кооператив «Земля и небо», домой приходил поздно, а то и вообще на несколько дней пропадал в местных командировках.

Дела в кооперативе шли все лучше. У меня появилась первая секретарша и большой кожаный диван в рабочем кабинете. Затем я завел любовницу, девчонку из модельного агентства, и снял холостяцкую квартиру поблизости от офиса. Татьянины родители, конечно, все видели, понимали и даже интеллигентно намекали на то, что я испортил жизнь их дочери. Но трудно осуждать зятя, по крайней мере вслух, если он зарабатывает за неделю столько, сколько вы оба за год. Сейчас они живут в моем загородном доме на Успенке, и когда я изредка туда наезжаю, тесть, которого я устроил в поселке сторожем, все так же молча отводит взгляд, а теща все так же пытливо смотрит мне в глаза.

Зато Татьяна довольно быстро освоилась в новой богатой жизни. У нее была теперь своя машина с шофером-телохранителем, работавшим прежде каскадером. День она начинала с массажа, а заканчивала тем, что строго отчитывала Ксюшкину бонну за разные мелочи. Но часом ее торжества стал евроремонт в пятикомнатной квартире, которую я купил у вдовы маршала Говоркяна. Подрядчик прямо-таки серел от страха, сдавая моей супруге очередную отремонтированную комнату. Татьяна была неумолима: когда ей показалось, что пол в ванной нагревается неравномерно, она заставила строителя все переделать. Стоило огромных трудов убедить ее в том, что вода в «джакузи» бурлит равномерно и пускает пузыри именно тех размеров, какие указаны в проспекте.

Потом у жены возникла идея, довольно странная для девушки, выросшей в квартире с типовой мебелью из ДСП: она решила все комнаты обставить в разных стилях. Модерн, барокко и так далее. Татьяна моталась по мебельным и антикварным магазинам, рылась в каталогах — и ей было не до меня. Когда же все закончилось и мы устроили дома первый прием, то лучшей наградой для нее были вытянувшиеся лица и вымученные похвалы жен моих приятелей и партнеров. Надья Таратута, между прочим, дочь бывшего руководителя «Роскожгалантереи», вообще не выдержала и, не дойдя даже до нашей розовой спальни с зеркальным потолком, уехала домой, буркнув, что у нее аллергия на свежую краску.

Но пожить в новой квартире Татьяне не довелось. Из-за Большого Наезда. И слава Богу! Гостиная в стиле Людовика XIV ей быстро надоела, кухня а ля рюс выводила ее из себя, а двухместная «джакузи» оказалась тесновата... Намечался новый ремонт. Я срочно под охраной бывшего каскадера отправил жену с дочерью на Майорку, где традиционно отсиживается немало семей рискованных бизнесменов. Уютный островок: за год всего одно деловое убийство и то, кажется, по ошибке. Когда же все успокоилось, Татьяна особенно домой не рвалась, да и я настаивать на их возвращении не стал, а по праздникам летал к ним в гости.

## 5. *Девушка моей мечты*

Но пора вернуться к Екатерине, с которой я проводил дни и ночи. Если бы за мастерство в сексе давали, как в искусстве, звания и премии, — то моя новая секретарша была бы народной артисткой, лауреатом государственных премий и героем труда. С ней за одну ночь можно было осудить себя коллекционером девственниц, султаном Брунея, обнимающим одну за другой своих лучших жен, или мальчуганом, попавшим в лапы матерой нимфоманки, пропустившей через себя мужское население средней европейской столицы.

«Зайчуганом» Катерина назвала меня в первый же вечер, когда я прямо со смотрин повез ее к себе домой, чтобы, как говаривал один политик времен перестройки, без промедления «углубить» наши отношения.

— По-моему, ты торопишься... Не хочешь за мной немного поухаживать? — спросила она в лифте, останавливая мои руки.

— Тебе это надо?

— Мне? Это нужно тебе...

Трясаясь от нетерпения, я начал раздевать ее прямо в прихожей. В ответ она посмотрела на меня с недоуменной улыбкой — точно на человека, использующего «пентиум» для игры в крестики-нолики, и сказала с мягким укором:

— А ты еще совсем Зайчуган.

Как и следовало ожидать, я оказался постыдно краток и неубедителен.

— Я же говорила, не надо спешить! — вздохнула Катерина, материнским движением вытирая мне пот со лба. — А у тебя, когда ты улыбаешься, ямочки... Ты знаешь об этом?

— Знаю. Я не спешил. Понимаешь, у меня сегодня деловой ужин с одним американцем. Ты будешь переводить!

— Хорошо. Дай мне свой носовой платок!

— Зачем? — спросил я, протягивая.

— Глупый, чтобы ты во мне подольше оставался! — ответила моя новая секретарша и, вмяв платок меж бедер, натянула трусики.

Вечером был деловой ужин с одним американцем.

Весь ужин Катерина сидела со строгим лицом, переводила и холодно выслушивала восторги заокеанца по поводу ее безукоризненного произношения. Беседа была абсолютно бессмысленной — настоящие переговоры состоялись накануне, и я, чтобы оправдаться перед своей новой секретаршей, просто-напросто вытащил фирмача из гостиничной койки на внезап-

ный ужин, — а пожрать на халяву дети Статуи Свободы любят похлеще нашего! Заокеанец скалил свои пластмассовые зубы и рассуждал о будущем вхождении дикой России в семью цивилизованных народов с таким простодушием, точно Достоевский — вождь племени команчей, а Гагарин — звезда черного джаза. Катерина переводила с еле уловимой гримаской презрения. Изредка, поймав мой взгляд, она опускала лукавые глаза лону, напоминая о носовом платке и той части меня, которая в этот самый миг хранится в ее нежных недрах.

Когда мы вернулись домой, я набросился на нее с такой убедительностью, что у кровати чуть не отвалились гнутые ножки.

Утром я проснулся один. Сначала мне показалось, будто все случившееся просто сон. Но рядом, на подушке лежал смятый носовой платок. Я уткнулся в него лицом, и мне почудилось, что в этом скомканном кусочке хлопка с помощью еле уловимых запахов запечатлена вся наша неутолимая ночь! Мне даже подумалось: если бы у меня был какой-нибудь особый «проигрыватель», то можно было бы вложить в него этот платок и воспроизвести, восстановить, вернуть все, что мы испытали, — прикосновение за прикосновением, поцелуй за поцелуем, объятие за объятием, стон за стоном, изнеможение за изнеможением...

Я вскочил и помчался в офис. Катерина скромно сидела в приемной. На ней был темно-серый твидовый костюм и белая блузка с отложным воротничком. На плотно сомкнутых коленях лежал изящный дамский портфельчик.

— Я могу приступить к работе? — спросила она, вставая.

— Ты уже приступила...

Я где-то читал, что у кочевников-скотоводов не пропадает ни один кусочек, ни одна косточка, ни одна капля крови зарезанного животного — все идет в дело. Катерина так же относилась к своему телу — в нем не было ни сантиметра, ни миллиметра, не отданного мне в услужение. Впрочем, нет, не в услужение — в чуткое, трепетное, отзывчивое рабство!

Иногда, обалдев от работы, я нажимал кнопку селектора и говорил:

— Екатерина Валерьевна, зайдите ко мне — нужно сделать перевод с французского!

— Устный или письменный? — невозмутимо спрашивала она.

— Устный! — сделав паузу, говорил я.

И уже представлял, как она встает из-за своего стола и под ревнивыми взглядами сотрудников строгой походкой весталки направляется в мой кабинет.

— Не беспокоить! — по селектору приказывал я секретарше в приемной, когда Катерина появлялась на пороге и закрывала дверь на защелку.

...Потом она возвращалась на свое рабочее место.

— Ну как шеф? — обязательно спрашивал кто-нибудь поехиднее.

— Ему гораздо лучше, — невозмутимо отвечала Катерина.

А вечером мы ехали куда-нибудь в ресторан — и потом ко мне. Иногда, засидевшись с бумагами допоздна, мы любили друг друга в опустевшем, гулком офисе прямо на длинном столе заседаний.

Абсолютно лишенная комплексов, Катерина обладала при этом особенным чувством собственного достоинства. Зная все Катькино тело на



ощупь, на запах, на вкус — я мог только догадываться о том, что же на самом деле происходит в ее душе, и поэтому особенно дотошно расспрашивал о том, как она жила до меня, какие у нее были мужики и что она чувствовала с ними.

— Зачем тебе это?

— Хочу знать о тебе все!

— Все? Ну и забавный же ты, Зайчуган! Ничего нельзя познать, познавая женщину. Запомни — ничего!

Поначалу мне удалось выведать у нее совсем немного. Отец Катерины был карьерным дипломатом, так и застрявшим в советниках. Во время событий 91-го посольство имело глупость поддержать ГКЧП — и все полпредство разогнали к чертовой матери. Отец стал консультантом в российско-турецком совместном предприятии. Помните рекламные клипы про турецкий чай, который ни хрена не заваривается? «Чай готов!» — хлопает в ладоши черноглазая девочка. «Не спеш!» — мягко осаживает ее мать. — Пусть настоится...»

Вот этим мелко нарезанным дерьмом ее папаша и занимался. Он-то и пристроил Катерину на работу в турецкое посольство. С отцом у нее были сложные отношения. Тот в свое время настоял, чтобы дочь в девятнадцать лет вышла замуж за сыночка одного мидовского крупняка. Парня ждала блестящая карьера полудипломата-полушпиона. Вместо этого он стал конченным наркоманом — таскает на толкучку остатки барахла, накопленного родителями, покупает дозу и улетает...

— Он тебя любил? — спросил я как-то.

— Он считал меня своей вещью. А я не могу принадлежать одному мужчине. Мне скучно.

— Это как раз нормально. Я тоже не могу принадлежать одной женщине. Семья — это всего лишь боевая единица для успешной борьбы с жизнью. Люди вообще не могут принадлежать друг другу. Моя жена спит с охранником. Ну и что? Это же не повод, чтобы все сломать. Все-таки дети...

— Детей у нас не было. Я не хотела.

— Почему?

— Ребенок делает женщину незащитной... Послушай, а если я изменю тебе с Толиком, ты меня выгонишь?

— Выгоню.

— Вот и муж меня выгнал. Понимаешь, мне, как назло, нравились не вообще другие мужики, а конкретно его друзья.

— А вот это свинство! — возмутился я.

— Интересно! Переспать с полужнакомым членовредителем можно, а с другом дома, родным почти человеком, нельзя. Я не понимаю. Но если ты против, Зайчуган, я буду изменять тебе только с незнакомыми мужчинами!

— А вообще не изменять ты не можешь?

— Не пробовала...

— Ну ты и стерва!

— Да, я стерва. И со мной надо быть поосторожнее! — предупредила она. — Я очень опасна.

— Чем же?

— Например, тем, что ты однажды захочешь на мне жениться...

— А ты этого хочешь?

— Нет, конечно, ведь жена получает от тебя гораздо меньше, чем я. Правда, Зайчуган? — И она с каким-то естественно-научным любопытством заглянула мне в глаза.

Иногда я сам себе казался жуком, которого Катерина нанизала на булавку и рассматривает с сочувственным интересом. Я мстил, как умел. Я мог где-нибудь в Рио или Копенгагене, подвыпив в ночном клубе, шептать ей:

— Катюша, влюблен в тебя по уши! Ни с кем и никогда мне не было и не будет так хорошо! Знаешь, я разведусь, и мы поженимся...

— Зайчуган, ты совсем пьяный!

— Да! И ты родишь мне ребенка. Сегодня мы будем делать с тобой ребенка!

— Если это произойдет сегодня, то я рожу от тебя бутылку бренди.

— Бутылку бренди! — Орал я бармену.

Со временем удалось узнать о ней еще кое-что. Меня и Катерину довольно грубо не допустили на международную конференцию по малой авиации, проходившую в Стамбуле. Я, конечно, первым делом заорал, что если бы раздолбаи Романовы взяли Царьград в 1916 году, вообще никаких проблем не было! Но успокоившись, я решил выяснить причины такого пренебрежения к моему «Аэрофонду». Дураку ясно, что Турция — всего лишь одно из многочисленных ранчо Дядюшки Сэма, а с за океанцами у меня затевался серьезный бизнес. Мой приятель, работавший в МИДе, обещал разобраться. И разобрался. «Аэрофонд» был тут ни при чем. Винаватой оказалась Катюшка.

— Гони эту стерву от себя к чертовой матери! — посоветовал мой осведомленный приятель.

А случилось вот что. Оказывается, в турецком посольстве Катерина получила не только хорошую языковую практику. На нее сразу же положил глаз посол: турки вообще просто чумеют от натуральных блондинок с хорошими бюстами. Ломаться не приходилось: с работы в случае чего могла вылететь не только она, но и папаша, тем более, что дела у него шли неважно. Народ уже разныкал и был готов пить даже грузинский чай, лишь бы не турецкий. В конце концов, оказаться любовницей посла — дело неплохое, а тот поначалу делал подарки и обещал в два раза повысить жалование.

Но время шло — подарки становились все дешевле, пока не превратились в грошовые сувениры, а о повышении жалования уже и речь не шла. И это при том, что посол стал предоставлять безотказную секретаршу для секс-разминок чиновникам, приезжающим с проверками и делегациями из Анкары. Те считали это само собой разумеющимся, как ежедневный пакетик с шампунем в гостиничном номере, и платить за услуги тоже не собирались.

Катерина справедливо решила, что за такие деньги быть сексуальной отдушиной для всего турецкого МИДа не стоит, и начала, как говорится, искать варианты — тут-то ей и подвернулось наше объявление в газете. Посол очень огорчился, заслышав о ее уходе, стал уговаривать остаться,

снова обещал повысить жалование, но Катерина была неумолима. На прощанье он, сквалыжник бусурманский, подарил ей расшитую феску с кисточкой из сувенирных запасов возглавляемого им учреждения, а также свою фотографию с осторожной надписью: «На память о сотрудничестве». Катерина преподнесла ему заварной чайник, сработанный гжельскими умельцами. На том и расстались.

Тут надо отметить, что посол любил фотографироваться с высокими гостями, наезжавшими к нему в Москву. А будучи европейски образованным человеком, часто делал это в духе известной картины «Завтрак на траве». Проще говоря, Катька голышом снималась в обществе одетых мужчин. Кроме того, человек опытный и дальновидный, посол с помощью специального оборудования фотографировал своих гостей и тогда, когда они без одежды оказывались с ней в постели. Не знаю, как ей удалось запечатлеть эти фотографии, но через месяц после того, как она перешла ко мне, супруги всех этих чиновников получили по почте письма на безукоризненном протокольном английском:

#### **Уважаемая госпожа имярек!**

Имея высокую честь весьма близко знать вашего супруга, прошу Вас обратить внимание на тот факт, что сексуальная неудовлетворенность мужчины в семье ведет к неразборчивым половым контактам на стороне и может явиться причиной преждевременного старения организма. Рекомендую активнее использовать сексуальный потенциал Вашего мужа в супружеской спальне. Если же по каким-либо причинам это невозможно, готова, исключительно из женской солидарности, как и прежде, оказывать Вам посильную помощь.

*Всегда к Вашим услугам. Екатерина.*

К каждому письму прилагалась фотография, демонстрировавшая, как именно Катька использовала неостребованный потенциал того или иного чиновника. Полный комплект фотографий получил и министр иностранных дел Турции. Вышел громкий скандал — посла тут же отозвали и выгнали на пенсию. Вскоре почтальон принес ему конверт, в котором помещалась карточка Катерины с надписью: «На вечную память о сотрудничестве!» Врачи, спасшие жизнь бывшему послу, так и не поняли, почему снимок мило улыбающейся молодой женщины стал причиной обширного инфаркта...

— Зачем ты это сделала? — возмущался я. — Ты же их уничтожила!

— Ну и что? С ними было так скучно! Имею я право получить хоть немного удовольствия?..

В сущности, то, что происходило между мной и Катериной, вполне можно назвать совместной жизнью. Мы не расставались ни на день. Конечно, я понимал, что судьба свела меня со смертельно опасной женщиной. Но видит Бог, я был влюблен в нее насмерть. Помните, смерть Коцея таилась в игле? И у каждого из нас есть такая игла, но только мы не знаем, где она спрятана. А любовь — это, когда ты вдруг понимаешь: твоя игла зажата в кулачке вот у этой женщины. И от нее теперь зависит твоя жизнь!

Кстати, и помощницей Катерина оказалась незаменимой. Стоило однажды ей слечь с гриппом — и все пошло кувырком: графики встреч сбились, зарубежная почта лежала не разобранной, я даже был вынужден отменить серьезные переговоры в Швейцарии, потому что присутствие на них случайного, не посвященного в мои секреты переводчика, было исключено. И она отлично понимала свою незаменимость:

— А если мне захочется от тебя уйти?

— Я посажу тебя на цепь!

— Золотую? — Она засмеялась.

Когда Катерина смеялась, кожа на переносице у нее собиралась крошечными милыми морщинками, а глаза по-восточному сужались:

— Бедный Зайчуган, ты же сам однажды меня прогонишь!

— Нет, я без тебя не смогу...

— Человек не может только без себя... И это отвратительно!

Она была подчеркнуто верным соратником и вызывающе неверной любовницей. Но, честно говоря, поначалу я наивно думал, что такое поведение — всего лишь не совсем обычный способ заполучить меня в качестве богатого и перспективного мужа. История бизнеса, словно поле боя костями, усеяна историями о том, как боссы женились на своих незаменимых секретаршах, прощая им бурное добрачное распутство. А те, получив звание официальной жены, добродетельничали прямо на глазах. Я сам был свидетелем нескольких подобных историй. А почему бы нет? Татьяна явилась ко мне в сторожку девственной, как заполярный снег. Ну, и что в результате получилось?

— А почему ты никогда не говоришь, что любишь меня? — спросил я однажды Катерину.

— Тебе этого хочется?

— Конечно.

— Хорошо, буду теперь говорить. Кто платит, тот заказывает слова... Я тебя люблю!

— Значит, за деньги можно купить любовь?

— Нет, только слова и любовстрастие...

— Любовстрастие? Странное слово — никогда раньше не слышал. А за что тогда можно купить любовь?

— За любовь, если очень повезет... Или за смерть, если не повезет...

## 6. Столкновение

Что нужно для того, чтобы в воздухе столкнулись два аса-пилотажника, два закадычных друга? Совсем немного. Нужно, чтобы красивая баба пообещала обоим и не дала в итоге никому. Продинамила. Но так продинамила, чтобы каждый был твердо уверен в том, что сладкого он лишился исключительно из-за подлого вероломства и вызывающе нетоварищеского поведения своего недавнего друга.

Еще многие помнят потрясшее весь мир столкновение двух реактивных МИГов под Лондоном. Тогда все ломали голову, как такое могло случиться? Специальная международная комиссия проблемляла что-то о нештатной ситуации, словно самолеты — это лимузины, хряснувшие на

нерегулируемом перекрестке. Никому даже в голову не пришло, что все случилось из-за бабской стервозности. Ни один журналюга своим остреньким крысиным носом и загребущими лапками так и не докопался тогда до того, что все это вышло из-за Катерины. Но виноват прежде всего я сам. Ни в коем случае нельзя было отправлять ее на репетиции нашей пилотажной группы одну. Но я был занят пробиванием бюджетных денег в Минфине, а Катерина до того злополучного дня просто гениально справлялась со всем, что ей поручалось. И я дрогнул. В Лондон она полетела моим полномочным представителем с точнейшими инструкциями, которые я нашепывал ей ночью перед отлетом. Потом я звонил ей каждый день и получал победные реляции:

— Сделано. Готово. Заканчиваем.

И вот я прилетел. В аэропорту Хитроу Катерина встречала меня вместе с наряженным в белую парадную форму подполковником. Военный аташе — генерал-лейтенант, ветеран главного разведывательного управления — поднимался из своего кресла только, чтобы встречать больших людей. Для народца попроще, вроде меня, предназначался его заместитель, маршалский сынок, ласково именуемый «атташонком».

Устраивая эту встречу, Катерина преследовала, как я понимаю, сразу две цели. Прежде всего, она знала, что такой почетный караул мне понравится. Когда человек занимается тем, что потихоньку оборочивывает собственное Отечество, любые дружеские жесты со стороны власти ему приятны. Во-вторых, грех было не воспользоваться случаем и не цапнуть наманикюренным коготком мое мужское самолюбие. Она стояла рядом с атташонком, чуть касаясь его бедром. А когда я был на середине трапа, Катерина, привстав на цыпочки, что-то шепнула ему в ухо, отчего подполковник запунцовел и потупился. Вполне допускаю, именно в этот момент она сообщила ему мои физиологические параметры и прочие мужские характеристики. Я давно заметил, что фирменное блюдо моей незаменяемой секретарши — слоеный пирожок: один слой меда, второй — хрена...

В момент рукопожатия атташонк отвел глаза, а Катерина бросилась мне на шею, словно я вернулся с фронта после четырехлетнего отсутствия. Нет, я к тому времени уже не сердился — а ее измены воспринимал как мечь за то, что со мной она должна быть лучше и дольше, чем со всеми остальными. Женщина — это в сущности ручная хищная птица. Сколько зайцев она закогтит, пока отпущена на волю, ее проблема, но по первому же хозяйскому свисту она должна усесться на господскую руку, на всякий случай защищенную перчаткой из толстой кожи. Усесться и ждать приказа.

— Ребята заканчивают последнюю тренировку, — после обычных приветствий и церемонных представлений сообщил атташонк. — Завтра начинается «показуха».

— Не последнюю, а заключительную! — жестко поправил я.

— Простите?

— В авиации случайных слов нет. Слишком близко к Богу.

— Ах, да, конечно, заключительная. Простите!

— А знаете, у меня есть идея! — чтобы замять неловкость, предложила Катерина. — Пойдемте куда-нибудь в паб! Только в настоящий, старый...

И чтобы бармен был с диккенсовскими бакенбардами! Я знаю один такой...

— Принимается! — согласился я, хотя с большим удовольствием утащил бы ее в отель.

Должен признаться, я всегда с нетерпением ждал того момента, когда она из гордой, насмешливой, знающей себе цену женщины, — превращалась в рабыню, заглядывающую в глаза своему повелителю. Иной раз превращение давалось ей непросто, а мне как раз это и доставляло особое удовольствие. Странно, но у меня в кабинете или в совершенно внезапно месте это превращение происходило достаточно быстро, даже мгновенно, но в спальней, в почти супружеских обстоятельствах... Я внимательно следил за тем, как медленно, словно оттягивая время и приговаривая себя к неизбежному, она раздевается, старательно раскладывает на креслах одежду. Мне даже иногда казалось, будто Катерина шепчет какие-то заклинания и мучительно ждет превращения, а оно все не наступает. «Отвернись! — иногда, очень редко, просила она. — Ты мне мешаешь...» Я, превозмогая любопытство, отворачивался. Но зато потом...

— А ты знаешь, какой у нас номер? — шепнула Катерина, когда мы ехали в машине.

— Какой?

— Для молодоженов!

«Интересно, — подумал я, разглядывая широкую спину расположившегося на переднем сиденье атташонка, — успел он уже побыть «молодоженом» или все-таки нет?»

...Мы сидели в пабе «У трех львов» на высоких стульях и тянули холодный черный, как кофе, «гиннес». Атташонк рассказывал о лондонской скучище, а я незаметно поглаживал Катькино колено. Иногда мы встречались с ней взглядами.

— Эх, ты, — не могла потерпеть неделю! — молчаливо укорял я.

— Боже мой, Зайчуган, ну какое это имеет значение! — так же без слов отвечала она.

У нас за спиной работал телевизор, и моего английского хватало лишь на то, чтобы по интонации и особой информационной скороговорке понять, что идут последние новости. Неожиданно Катька и атташонк как по команде обернулись и уставились в телевизор. Я последовал их примеру. На экране чуть подрагивал стоп-кадр — огненный шар взрыва. Из слов диктора я уловил только то, что во время тренировочного полета на авиабазе в Фарнборо столкнулись два МИГа и оба летчика погибли. В сердце образовалась бездонная оторопь. Так бывает, если звонишь кому-нибудь, чтобы поздравить с днем рождения, а тебе говорят, что человек полгода как умер.

— Когда? — спросил я.

— Два часа назад, — ответил кто-то из них.

— Может, чехи? У них тоже МИГи, — с надеждой предположил побледневший атташонк.

— Нет, не чехи!

Я-то сразу все понял. Это могли быть только наши. Чехи выступали большой группой, делая обычный проход плотным строем над аэродромом. И двумя тут дело не обошлось бы.

— Их больше нет, — прошептала Катерина, по-детски закрыла лицо руками и заплакала.

Этот плач мне сразу не понравился.

— Подождите, сейчас будут подробности! — заволновался атташок. — Они обещали новые подробности через минуту.

— Боже, какая я дура! — сквозь рыдания шептала моя возлюбленная секретарша.

— Вот! — Подполковник показал на экран телевизора.

Там появилась новая картинка. Медленными рывками один МИГ догоняет другой и... таранит его. Такого еще не было! Неторопливо разрастается взрыв — и горящие обломки расползаются по всему экрану.

— *Jesus Crise!* — вскрикнул бармен, схватившись за бакенбарды.

И вдруг посреди этого замедленного огненного кошмара неторопливо расцвели два спасительных парашютных купола. Невероятно! Но диктор, с восторгом, каким обычно сопровождается внезапно забитый гол, уже сообщал, что, по уточненным данным, оба летчика катапультировались и живы. Им даже не понадобилась госпитализация. Крепкие русские парни!

Тут я заметил, что Катерина больше не плачет, а смотрит на экран с каким-то непонятым стервозным восторгом. Мне стало окончательно ясно: без нее дело не обошлось.

Атташок, наскоро попрощавшись, ринулся к шефу за инструкциями. Как я понял, главным для него в эту минуту было добиться, чтобы из Москвы не присылали комиссию, а все разбирательство доверили ему. Иначе — прощай скучный Лондон и белый китель! Катерину я на всякий случай отправил вместе с ним, а сам помчался в отель, где разместились наша делегация.

Когда я вошел в штабной номер-люкс, все участники событий, кроме руководителя полетов, были в сборе и уже прилично хватанули казенного спирта — медицинская помощь им все-таки понадобилась. Один из катапультиантов, Федор Иванович Базлаков, миниатюрный мужичок с седеющим ежиком, тренькал на гитаре. Второй, Витя Вильегорский, молодой еще парень с румяным лицом отличника боевой и политической подготовки, полулежал на диване. Рядом устроились несколько хмурых механиков. Вся компания грустно и нестройно пела:

Не скоро поля-я-я-ны  
Травой зарасту-у-у-т...  
А город подумал,  
А город подумал,  
А город подумал —  
Ученья иду-у-ут!

Меня они встретили мутными, нехорошими взглядами.

— Ну, ребята, — выдохнул я, не зная, с чего начать.

— Что “ребята”? Это, Шарманов, все твоя сучка-секретарша! — рявкнул Базлаков. — Таких к авиации близко подпускать нельзя!

Как впоследствии выяснилось, он и был главным виновником столкновения: передал ведомому, что газует, а сам вдруг сбросил обороты.

— Ладно тебе — все бывает, — рассудительно отозвался Вильегорский. — Живы — и слава Богу!

— Что значит «все бывает»? Говорю тебе — ведьма! Если б она меня не сглазила, разве ж я подставил задницу? Скажи, Семеныч!

— А то... — предусмотрительно уклонился от участия в споре асов покойной «механ».

Базлаков, набычившись, разлил спирт по стаканам из двухлитровой казенной емкости. Они с Витьком чокнулись и, переглянувшись, как племенные кобели-медалисты, подравшиеся из-за случайной болонки прямо на смотровой площадке, — молча выпили. А я вдруг подумал о том, что если бы в аэропорту не поправил атташонка — это был бы, действительно, их последний полет. Но вслух об этом говорить не стал: психика у людей после аварийного катапультирования обычно налаживается только через несколько дней, и любое неосторожное слово могло привести к самым неожиданным последствиям. Очистительному мордобою, например.

Я просто предложил выпить за главного конструктора катапультных кресел. Тост вызвал буйный восторг.

— А где Перов? — спросил я.

— Стреляться пошел, — сообщил Базлаков.

— Куда?

— В салон...

— Зачем же вы его отпустили?

— А у него все равно пистолета нет, — успокоил Вильегорский.

Потом оказалось, что руководитель полетов Перов тоже был виноват в случившемся. Вместо того, чтобы неусыпно наблюдать за пилотажниками и руководить ими по радию, он уединился в спальне комфортабельного ТУ-134, некогда носившего по свету министра гражданской авиации, ипил коньячок, который ему подавала смазливая стюардесса. Так и профукал ЧП...

— За судьбу! — предложил Базлаков, снова разлив по стаканам спирт.

— Из Москвы еще не звонили? — спросил я, еле отдышавшись.

— Ну, конечно, — ответил Семеныч. — Они пока там не договорятся, кого подставить, не позвонят.

— Я предлагаю тост! — провозгласил Вильегорский, не поднимаясь с дивана.

— Какой?

— Против стерв!

— Это как?

— А вот так! Обычно пьют за дам. И стоя. А я предлагаю выпить против стерв! Мужчины пьют сидя или лежа...

Выпили.

— А вот ты мне лучше скажи, Витька, — ехидно спросил Базлаков. — Продашься ты или нет?

— Нет!

— Врешь!

— Честное партийное.

— А где твой партбилет?

— Дома, в тумбочке...

— На груди надо носить, нехристь!

— А я и носил, пока партия была...



Покуда они пререкались, “механы” рассказали мне, что, выбравшись из катапультного кресла и еще ничего не соображая после удара, Вильегорский достал из кармана летного комбинезона пачку “Винстона”, зажег и закурил. А рядом, как специально, оказался какой-то расторопный телеоператор из CNN. В общем, готовый, не придуманный рекламный ролик получился. Около Вигьки еще врачи суетились, а ему уже принесли факс с предложением от фирмы “Винстон”. И он обещал подумать.

— Продашься!

— Никогда!

— За непр-р... непр-родажность! — выговорив это слово только с третьей попытки, провозгласил Базлаков.

В свой номер я добирался, держась за стены. И еще минут десять простоял, упершись лбом в дверь и пытаюсь проникнуть ключом в замочную скважину. После того, как я с размаху плюхнулся на кровать, мне еще долго казалось, будто я падаю и падаю куда-то вниз. Но мозг, что интересно, работал при этом совершенно ясно и четко.

С самого начала моего бизнеса у меня не было, если не считать Большого Наезда, о котором я вам еще расскажу, такой крупной неприятности. Аварии, конечно, случались, но чтобы потерять в один день две боевые машины, два МИГа... Они хоть и были на балансе ВВС, но выделили мне их для парада благодаря моим личным отношениям с зам. главкома.

— Смотри, Павлик, — предупредил он, подписывая разрешение. — Боевую технику тебе доверяю!

Еще бы не доверять, если за мой счет он уже объехал самые дорогие мировые курорты, да еще я заплатил за обучение его племянника в Сорбонне. Но теперь зам. главкома вряд ли сможет меня отмазать. Вся надежда на атташонка, которому по целому ряду причин комиссия из Москвы тут в Лондоне совершенно не нужна. Я даже представил себе, как этот породистый щенок уже поднял на ноги всю московскую родню, обширную и всепроникающую, точно раковая опухоль в четвертой стадии. Я отчетливо представил себе, как папа-маршал трезвонит по телефону правительственной связи, и шутливо матерясь, просит за сынка. А как ему откажешь? У него большие заслуги перед демократией. Сестра атташонка, будучи на стажировке в Штатах, выскочила замуж за профессора, работавшего, как и все тамашние профессора, на ЦРУ. Наверное, атташонок уж и свояку пожалился в Вашингтон, а если оттуда в Москву звякнут и попросят — комиссию уж точно не пришлют! И больших разборок не будет. Но это только полдела. Теперь нужно прикинуть, сколько придется отвалить тому же доверчивому зам. главкома и другим недоверчивым дядькам, чтобы это столкновение не отразилось на участии «Аэрофонда» в салоне Ле Бурже через три месяца...

Прикидывая в уме сумму, я уснул...

## *7. Страшная тоска*

Проснулся я от наждачной сухости во рту и разрывной боли в затылке. Разлепил веки — и в темноте уловил звуки нежной борьбы и тихие голоса, доносившиеся из прихожей. На мгновение мне показалось, что в

результате неумеренного пьянства слуховые функции организма перешли теперь от ушей к глазам. Я в ужасе зажмурился — но звуки не исчезли.

— Подожди! — умолял мужской голос.

И я узнал Вильегорского, еще недавно предлагавшего тост против стерв.

— Тебе после катапультирования много нельзя! — отвечала Катька. — Ты должен себя беречь!

— Я абсолютно здоров!

— Уверен?

— А почему ты спрашиваешь?

— Ну все-таки... С такой высоты! Я думала, ты разбился — даже заплакала...

— Из-за меня?

— Из-за кого же еще?

— А мне показалось, что тебе Базлаков нравится...

— Глупенький.

— Пойдем ко мне!

— Нет, сладенький, хорошенького понемножку. Он проснется и будет сердиться.

— Не проснется — он у тебя пить не умеет!

— Не будем рисковать. Ты же не хочешь, чтобы я осталась без работы?

— А завтра?

— До завтра дожить надо. Иди баиньки!

Во тьме проскворчал долгий прощальный поцелуй и щелкнула дверь. Потом из ванной донесся шелест душа. Я сжал кулаки и затаился в широкой молодоженовской кровати, как в засаде. Выключив воду и пошуршав одеждой, Катька тихонько вышла из номера.

Спать уже не хотелось, а хотелось расправы, но унизиться до того, чтобы бегать — искать ее по чужим койкам, а потом пинками гнать неверную секретаршу на глазах у всех в номер для молодоженов — я не мог. Гордость не позволяла... Чтобы как-то отвлечься, я включил ночник, сжевал таблетку аспирина, запив ее четырьмя стаканами воды, и, дожидаясь Катькиного возвращения, стал на бумажке прикидывать, кому и сколько придется заплатить, чтобы уж точно попасть в Ле Бурже. Список был составлен, а Катька все не возвращалась. И я предался невеселым воспоминаниям.

В первый раз моя всеотзывчивая секретарша попала с Толиком. Через полгода после того, как она разгромила кадры турецкого МИДа и пришла в "Аэрофонд", ко мне на прием по какой-то укоренившейся, видимо, еще с парткомовских времен привычке заявила жена моего телохранителя. Она жаловалась, что Толик, отец троих детей, совсем отбил от семьи. При выяснении подробностей обнаружилось, что отбил мой телохранитель скорее все-таки не от семьи (зарплату он продолжал отдавать и уроки у детей проверял), а — от брачного ложа.

— У него другая женщина! — плача, доложила несчастная супруга.

— Откуда вы знаете?

— Я подслушала их разговор... по телефону. По параллельной трубке.

— Здорово! — Я был искренне удивлен тем, что бывшие сотрудники «девятки» попадают так же банально, как и обыкновенные мужики. — Он ее как-нибудь называл? По имени или еще как-нибудь?

— Нет.

— А она его?

— Сла-а-денький, — зарыдала женщина.

— Ясно. Идите домой. Растите детей. Больше это не повторится. И рекомендую вам прочитать книжку «Постельные принадлежности. Брак и гармония». Она сейчас везде продается...

Мне надо было сообразить еще тогда, после пикника в лесу. Я сам, идиот, попросил телохранителя показать свое мастерство — и он всадил из пистолета в дерево четыре пули — одна в одну. Катька хлопала в ладоши, и на ее лице появилось выражение хищного восторга. У нее всегда появлялось такое выражение, если ей кто-нибудь нравился. А как у них потом сладилось, догадаться несложно: машина всегда заезжала сначала за телохранителем, а потом за Катькой, если она ночевала дома, а не у меня... Толик поднимался к ней, а шофер ждал и потом говорил мне, что попал в пробку. Шофера я уволил. А Толику ничего специально говорить не стал — просто через несколько дней, когда он делал мне в сауне массаж, я пошутил в том смысле, что нанимал его телохранителем, а не телорасшистителем...

— Я уволен? — хмуро спросил он.

— Ну почему же? Наоборот, считай, что мы теперь с тобой родственники. Но больше этого делать не надо. Никогда.

— Понял.

— А теперь еще раз правую лопаточку! Что-то ломит...

Катерину же я вызвал в кабинет якобы для устного перевода и, когда она опустилась на колени, впервые дал ей пощечину. С отяжкой!

— Это что-то новенькое, — удивилась она и побледнела.

— Догадалась, за что?

— За что?

— Если не отстанешь от охранника...

— Выгонишь?

— Убью.

— А-а... Прости, Зайчуган, я больше так не буду!

Я простил. Если бы мне стало известно, что она и Толика тоже называет «зайчуганом», я выгнал бы ее уже тогда. И не было бы ни взорвавшихся МИГов, ни всего остального. Впрочем, женщину, в кулаке у которой зажата твоя игла, выгнать не так-то просто!

...Услышав, как снова открывается дверь номера, я еле успел выключить свет и затаиться в своей двуспальной арабской засаде.

В прихожей блудливо завозились.

— Ты мне делаешь больно!

— А ты не уходи! — Я узнал голос Базлакова. — Мне понравилось.

— Неужели?

— А я тебе понравился?

— Безумно! А правда, что ты называл меня ведьмой?

— А ты и есть ведьма. Давай вернемся!

— Нет, скажи, вы в самом деле из-за меня столкнулись?

— А из-за кого же? Если бы ты на меня так перед вылетом не смотрела, неужели я бы на вводе в петлю стал обороты сбрасывать?! Я же думал, ты с Витькой...

— Бедный...  
— Пошли!

— А вот этого не надо! Не надо, говорю! Отпусти... Он проснется...

— Ну и хрен с ним!

— Ага, а зарплату потом ты мне будешь платить?

— А сколько он тебе платит?

— Сладенький, если я скажу, ты не переживешь...

— Ну хорошо... А завтра?

— До завтра дожить нужно. Иди — баиньки! Утро вечера мудренее.

Послышался шум борьбы и щелчок дверного замка. Затем снова — шелест душа и тихие влажные шаги по ковру.

— Зайчуган, ты спишь? Зайчуг-а-ан!

Я повернулся и показательно продрал глаза. Обнаженная Катька стояла надо мной, как мраморная богиня в ночном зале музея. И лишь темные пятна сосков да черный, идеально равнобедренный треугольничек нарушали эту ночную мраморность. Правда, я читал, что дотошные греки раскрашивали своих афродит самым достоверным образом там, где положено.

— Я-то сплю, а вот ты где шляешься?

— Я ребят успокаивала, — чистосердечно призналась она. — Им так сейчас тяжело!

— Успокоила?

— Кажется, да...

— А Перов не застрелился, пока я спал?

— Нет, просто очень сильно напился...

— Вот и хорошо! — я повернулся к стене и сделал вид, будто возвращаюсь к прерванному сну.

Катерина легла и прижалась ко мне своим еще влажным после душа телом.

— Ты и меня хочешь успокоить?

— Прости, Зайчуган, я очень устала. Такой трудный день...

— Еще бы!

— Спокойной ночи!

Я долго не мог заснуть, обдумывая подробности завтрашней развязки. Нет, надавать ей по щекам и заставить спать на прикроватном коврике — это не месть! Пилотажики и так смотрят на меня будто на спекулянтника, примазывающегося к их героическому ремеслу. А теперь еще будут всем рассказывать, как по-гусарски оттоптали личную секретаршу Шарманова. Нет, такое не прощается!

... Утром мы завтракали в уютном ресторанном зальчике, специально выделенном для руководства летной группы. Стены были украшены фотографиями знаменитостей, остановившихся в отеле. Я узнал длинноносую Маргарет Тетчер и жизнерадостного губошлепа Бельмондо.

Ели вяло. Меня еще поташнивало от вчерашних излишеств. Но шеф полетов Перов, тот просто страдал нечеловеческой мукой и настолько опух

с похмелья, что даже внешность его описывать бессмысленно. Лучше бы он и в самом деле вчера застрелился. Базлаков и Вильегорский тоже выглядели дохловато, но периодически посматривали победно друг на друга, а исподтишка бросали на меня взоры, в которых странным образом сочетались кобелиное торжество и мужское сочувствие к моей рогоносной участи. И лишь Катерина была, как всегда, свежа и целомудренно невозмутима, словно вообще прибыла сюда на грешную землю с далекой планеты, где половая жизнь сводится исключительно к игре на фортепьяно в чetyре руки, а в бутылках из-под водки продают только родниковую воду.

Обслуживал нас официант с выправкой оперного певца. Я позвал его и приказал принести шампанского. Он, обалдев, переспросил несколько раз, ибо для англичанина выпить за завтраком шампанское, а не апельсиновый сок, это что-то совершенно противоестественное. Разъяснив ему, что я совсем даже не шучу, и отправив выполнять заказ, Катерина удивленно спросила:

— А разве у нас праздник?

— Да, проводы.

Когда перед каждым стоял наполненный бокал, я постучал ножом по графину, призывая к вниманию, и встал:

— Дорогие коллеги! Господа! Товарищи! Прискорбное событие, случившееся вчера, потрясло всех нас до глубины души. Вся Россия без преувеличения содрогнулась от Камчатки до Карпат...

— Карпаты теперь не наши! — подсказал Базлаков.

— Оставим мелочи геополитики, когда речь идет о жизни и смерти! — возразил я. — Но особенно тяжким это испытание было для наших чудом спасшихся героев. Смерть держала их в своих цепких лапах и дышала в лицо мраком вечности...

Перов громко всхлипнул.

— Но с вами была удача. Небо не отдало вас земле! Я долго думал, чем можно отблагодарить вас за мужество, ибо Отечество вряд ли вас наградит за это. Я не мог уснуть и долго думал, как доказать вам, что жизнь, несмотря на все превратности, прекрасна...

Катерина, Базлаков и Вильегорский посмотрели на меня с опасливым недоумением и уткнулись в тарелки. Перов, ничего не понимая, мучительно ждал окончания тоста, с тоской наблюдая глумливую суету шампанских пузырьков в бокале.

— ...Я долго думал, не спал и пришел к выводу: ничто так не взбадривает настоящего мужчину, как хорошая женщина. И я решил вас наградить! Я поручил это непростое дело моей личной секретарше — очаровательной Екатерине Валерьевне! И если кто-то из вас, сладеньких, неудовлетворен, жаждет продолжения, прошу подавать заявки! Катя — девушка очень исполнительная и все быстренько исправит... Хорошенького должно быть помногу! Но спешите, потому что завтра она возвращается в Москву...

Оба катапульта застыли с раскрытыми ртами. И только Перов, по причине похмельного тупоумия не уловивший ничего из сказанного, обрадовался паузе и осторожно повел ко рту спасительное шампанское. Но не тут-то было! Катерина, вскочив, как ужаленная, выхватила у него из тря-

сущихся рук бокал и злобно швырнула в меня. Увидев, однако, что хрусталь прошел мимо цели и, даже не задев опешившего официанта, разлетелся о стенку, она зарыдала с досады и опрометью выбежала из зала.

Еще несколько минут все сидели молча.

— Ну, Павлик, — захохотал вдруг Базлаков. — Ну, ты даешь! Есть конечно, крутые мужики, но ты... За Шарманова! Ты, Пашка, настоящий мужик! Ура!

Официант подал помертвевшему от горя Перову новый наполненный бокал — и все дружно выпили.

Примчавшийся в гостиницу радостный атташенок обнаружил меня в баре, куда я спустился, оттащив в номер тело Перова, напохмелявшегося шампанским до состояния, близкого к параличу. Он весело сообщил, что никакой специальной комиссии из Москвы не будет: разобраться во всем на месте поручено ему. И вообще происшествие воспринято со скорбным спокойствием. В стране каждый день что-то падало, сталкивалось, обрушивалось или взрывалось. Пообвыклись. Зато столичное начальство просто взбесилось, узнав, что Вильегорского собираются показывать по мировой телевизионной сети с пачкой "Винстона". Вдруг мерзавчатый пресс-секретарь подсунет информацию Президенту да еще под плохое настроение, тогда начнется!

— Сказали: головы оторвут и ему, и мне, и вам, если такой позор допустим! Приказали — отговорить.

— Может и не послушаться... Большие деньги все-таки, — усомнился я.

— Для настоящего летчика небо дороже денег — не мне вам объяснять! — твердо произнес атташенок. — Будем работать с кадрами... А где Катерина?

— Сейчас позову. Она о вас все утро спрашивала.

— Нет-нет, мне надо бежать, — сразу заторопился посольский крысенок. — Англичане уже свою комиссию организовали. В два часа первое заседание. Вас, между прочим, тоже приглашают.

— Обязательно приду, если не напьюсь...

В номере я застал Катерину, уже собранную в дорогу: она укладывала в чемодан последние вещи.

— Ко мне претензии есть?

— Нет.

— Тогда давай прощаться!

— Прощай...

— Место у тебя есть на примете или помочь? — великодушно предложил я.

— Спасибо. Я думаю, меня возьмут в «Лось-банк».

Это походило на правду: вице-президентом банка «Лосиноостровский» был Костя Летуев — сын крупного габэшника, специализировавшегося в свое время на борьбе с диссидентами: академика Сахарова как раз он сажал. Когда «контора» кукарекнулась, папаша, пользуясь своими связями, организовал молодому банку мощную службу безопасности, а в качестве гонорара попросил хорошее место для своего тридцатилетнего сопленыша. Тот быстро вошел во вкус и за три года расколотил

четыре банковских лимузина, но ему все сходило с рук. В «Лось-банке» у меня был счет и еще кое-какие полузаконные делишки. Всякий раз, когда я появлялся там, сопровождаемый Катериной, сопленыш Летуев смотрел на нее как пионер, которому в почтовый ящик вместо «Мурзилки» засунули «Плейбой». Все сходилось. Что ж, пусть теперь он позайчуганит!

— Надеюсь, после твоего прихода «Лось» простоят еще хотя бы месяцчко! — улыбнулся я.

— Об этом я не волнуюсь. Я волнуюсь, как ты без меня будешь...

— Да уж как-нибудь... Найду себе другую помощницу, не такую общедоступную.

— В этом я не сомневаюсь... Только вот переживаю, как ты без меня в Ле Бурже будешь!

— А что такое? — насторожился я.

— Понимаешь, я тебе все забывала сказать: когда папа работал в Париже, я училась в одном классе с сыном нынешнего министра авиации. Замечательный мальчик... Антуан. Скромный — папа у него тогда еще в оппозиции был. Мы с ним целовались. Один раз.

— С папой?

— Нет, с сыном. Но дома я у них бывала. Папа, кстати, страшный бабник. А мать — алкоголичка. Типичные аристократы. Я Антуану недавно позвонила, он очень обрадовался и обещал во время салона притащить папашу к твоему стенду. А папаша — личный друг Президента. Но, вероятно, все это тебе уже неинтересно...

— Катька, ну почему ты такая стерва? — с восхищением проговорил я.

— Когда-нибудь расскажу.

— Сам не понимаю, почему не могу на тебя долго злиться?

— Наверное, потому что у нас много общего.

Так для нас закончилась эта история с МИГами. Атташонка, по слухам, вскоре перевели с повышением в аппарат ООН. Базлаков перешел в отряд космонавтов. Вильегорского долго уговаривали, грозили лишить разрешения на полеты — и он отказался от всех предложений фирмы «Винстон», хотя на эти деньги мог, забросив авиацию, жить безбедно лет десять. Он разбился через год, катая на истребителе какого-то любителя острых ощущений...

## 8. Ле Бурже

Парижский авиасалон стал триумфом «Аэрофонда». Мои маленькие спортивные самолетки произвели в небе Ле Бурже фурор — мы даже «сочинили» две новые фигуры высшего пилотажа. Известное дело, если хочешь, чтобы тебя заметили в России, добейся сначала признания в европах. Даже старый мерин Братеев, председатель Национального авиационного комитета, прислал ко мне в шале своего помощника с поздравлениями и приглашением познакомиться лично.

Познакомиться лично!

Вот тварь застойная! Сколько времени я бездарно просидел в приемной у этого окаменевшего номенклатурного говна! На всех совещаниях, куда

меня, естественно, не допускали, он визжал, что в российской авиации никогда не будет частных собственников!

Познакомиться лично?

Да он знает меня как облупленного! Досье, которое этот собачий оглодок собрал на меня, весило раза в четыре больше, чем его высохшая в руководящих креслах задница! Я четыре года отбивался и откупался от насылаемых им технических комиссий, от подсылаемых им ментов и фэзбэшников!

Познакомиться! А кто еще накануне, за два дня, на совещании орал:

— Почему Шарманов попал на салон? Мало вам лондонских обломков?! Разобраться сейчас же!

А чего тут разбираться? Потому и попал, что все чиновники делятся на две неравные категории: берущие гниды и неберущие гниды. Так вот, у не берущей гниды Братеева все заместители были гнидами берущими. Так я и пробился в Ле Бууже.

— Сергей Феоктистович ждет вас на ужин, — повторил приглашение помощник.

— У меня нет никакого желания ужинать с вашим шефом! — ответил я холодно.

— Т-так и п-передать? — парень от изумления начал заикаться.

— Так и передайте!

Да, это был вызов! Очень рискованный ход. Но я рассчитал все верно: через два дня Братеев уже сам плясал вокруг моих «авизток», взяв рассказывая французскому министру о том, ядрена Матрена, что может собственных невтонов рожать и Россия-матушка. Глава французской авиации, неторопливый, ухоженный господин, тратящий на обстоятельные обеды времени раза в три больше, чем на государственные дела, слушал его с тонкой мудрой улыбкой, которая бывает только у людей регулярно читающих донесения спецслужб. Рядом скучал министерский сынок Антуан — тощий красавчик с влажными черными кудряшками и легкой паскудиной в личике. Обычно такие гаденыши и устраивают своим блестящим папашам общенациональные скандалы с наркотой или какой-нибудь выбросившейся из окна малолетней проституткой. Впрочем, и папаша периодически становился героем разнообразных сексуальных скандалчиков.

Братеевские рулады сначала переводила француженка, изъяснявшаяся по-русски с акцентом говорящей вороны. Катерина, скромно стоявшая за моей спиной, подсказывала ей недостающие слова и исправляла совсем уж чудовищные ошибки. Наконец, ворона каркнула и безнадежно запуталась в авиационной терминологии. Она растерянно улыбнулась, надула щеки и издала звук, означающий у французов полное бессилие перед коварством судьбы. Мы обычно в подобных случаях чешем затылок. Катерина вышла из-за моей спины и решительно взяла дело в свои руки.

— Это правда, что у вас не поощряется частный капитал в области высоких технологий? — Спросил министр, кивая на роскошный стенд новых разработок «Аэрофонда», стоивший мне страшных денег.

— Ну, что вы, господин министр! — улыбочиво возразил Братеев. — Вот перед вами владелец абсолютно частной авиационной фирмы. Господину



Шарманову нет и тридцати... Прямо, можно сказать, со студенческой скамьи — в большой авиационный бизнес! И мы, конечно, помогаем ему, чем можем!

Два года назад, когда мой первый самолетик поставил мировой рекорд, этот не выкорчеванный пень застоя орал про меня на всероссийском совещании: «Шарманов ничего не понимает в авиации! Недоучка!» Он и теперь, хорек, намекнул министру на мое незаконченное высшее!

— Господин министр, — вмешался я, особым выражением глаз давая Катьке понять, что если хоть одно слово из моего выступления пропадет, я проеду по ней асфальтовым катком, а потом запечатаю в пластик.

Министр и вся свита уставились на меня с интересом и, как по команде, подюжины операторов развернули в мою сторону свои камеры, оде-тые в специальные чехлы, как таксы на прогулке.

Лицо Братеева застыло в ненавидящей улыбке.

— Господин министр, — продолжал я. — Наши российские чиновники изобрели уникальный способ помощи частному капиталу. Я называю это методом протянутой руки...

Катерина переводила. Министр благосклонно кивал, а следом за ним кивала и вся свита. Братеев от неожиданности засветился гордостью строгого отца за своего смышленного сына.

— Эта рука, — объяснил я, — протягивается, конечно же, не для помощи, а за взяткой. И если предприниматель тут же не вкладывает в эту руку пачку долларов, то его бизнес обречен.

Братеев преданно улыбаясь покоричневел. Министр, выслушав виртуозный Катькин перевод, тепло засмеялся, убедившись в том, что источники благосостояния французских и российских чиновников в принципе ничем не отличаются. И вся свита покатила со смеху. Журналисты взвыли от восторга и тут же начали бормотать в диктофоны собственные комментарии к моему скандальному заявлению.

Тем временем министр вдруг погосударственел и произнес коротенькую речь о том, что Россия только выиграет, если во всех сферах ее экономики будет присутствовать частный капитал, а представители нового поколения, лишённые предрассудков и предубеждений коммунистической эпохи, энергично возьмутся за дело.

Катерина, переводя, успевала строить глазки своему бывшему однокласснику, не забывая проверять мою реакцию на это. А я вдруг подумал о том, что, возможно, министр со своим сынком происходит от какого-нибудь донского казака, завалившего в 1813 году молоденькую вольтерьянку. Ничего удивительного. По семейным преданиям, я сам происхожу от пленного французского улана, который, узнав поближе русских женщин, воскликнул «Шарман!» — и навсегда остался в России. Кстати, почти все журналисты обыграли потом в своих репортажах французский смысл моей фамилии.

Я ликовал. Мой дерзкий ответ обошел все телевизионные программы и газеты. Попутно комментаторам пришлось объяснять, что такое «Аэрофонд», кто такой Шарманов и почему министр, личный друг Президента, оказался у его выставочного стенда. Видела бы меня моя мама, всю жизнь просидевшая в своем Арзамасе-16, засекреченном до неузнаваемости.

Слышал бы это мой папа, талантливый конструктор крылатых ракет, который мог бы стать вторым Королевым, но всю свою творческую энергию потратил на семейное строительство. Теперь он в четвертый раз воздвиг очередные брачные чертоги, а его сын моложе моей дочери. Возможно, и Татьяна, лежа в постели с каскадером, имела возможность на Майорке поладиться за своего супруга.

В каминном зале арендованного шале я с упоением по десятому разу просматривал записанный на видеопленку триумф знаменитого русского авиатора Шарманова, а Катерина бесилась. Еще бы. Как она все тонко рассчитала! Так изящно свалить от меня: министерский сынок, когда-то сидевший с ней за одной партой, ложится с ней в одну постель. А уж как она умеет привязывать к себе мужиков двойным морским узлом, мне известно. Потом я бы, как сявка, умолял ее поспособствовать развитию совместного франко-российского авиабизнеса, а она бы наслаждалась моим унижением!

Не вышло. Антуан помахал Кате ручкой и удалился вслед за папашей в неведомый мир галльского разврата, утонченно-отвратительного, как сыр «рокфор».

## 9. Любимый помощник Президента

Лет десять назад наше участие в любом авиационном салоне вызывало фурор, так как СССР обычно выкатывал два-три абсолютно новых самолета, каждый из которых тянул на мировую сенсацию. По количеству экспонатов мы забивали любую страну, а то и всех участников вместе взятых. Давая интервью западным журналистам, наши авиачальники, вроде Братеева, без всякого блефа объясняли, что смогли привезти и показать только то, что уже рассекречено. А настоящие новинки можно пока увидеть лишь на полигонах.

Наши делегации были самыми многочисленными, но и самыми дисциплинированными: пили только по вечерам и только со своими, закрывшись в номерах. Каждый специалист имел строжайшее, утвержденное где надо задание по изучению иностранной техники. А половина делегации и вообще состояла из сотрудников спецслужб, но выделялись они лишь тем, что легче остальных переносили похмелье. Кстати, противополохмельные таблетки — это, пожалуй, единственный еще не разболтанный секрет КГБ. А ведь озолотиться можно!

Теперь же от былых имперских времен осталась только одна стадная многочисленность делегаций, но пьют уже где попало, а депутаты демократической ориентации еще и норовят наблевать в нагрудный карман своему зарубежному коллеге. Привозят же с собой эти шумные официальные оравы всего лишь деревянные макеты гениальных задумок прошлого, забракованных когда-то разными высокими и тупыми комиссиями. Привозят и безбожно врут об успешных испытательных полетах, выпрашивая, как цыгане, инвестиции и подачки под обещания продать все секреты. Я даже иногда думаю, что же у нас в России закончится раньше — полезные ископаемые или бесполезные секреты?

Но в последние годы появилась одна, прежде неведомая традиция. Официальную делегацию возглавляет обычно замухрышка, вроде Братее-

ва, а в самый разгар выставки появляется какая-нибудь настоящая пишка со свитой, напоминающей по количеству дармоедов похоронную процессию за гробом рок-звезды. Организаторы авиасалонов теряются в догадках, как принимать неофициально свалившихся им на голову заоблачных российских чиновников. А русские конструкторы, покорные от многодневного пьянства, выстраиваются вдоль своих достижений и с холопскими ужимками жалуются залетному начальству на нехватку денег и тихое умирание отечественной авиации.

— Уж прямо и умирает? — качает обычно головой высокий гость. — Вон сколько добра наволокли!

Людам с хорошим пищеварением любая смерть, в том числе и авиации, кажется надуманной проблемой. Но нет худа без добра: в России-то им недосуг заняться проблемами авиации, а в Лондоне или Париже, из них, позирующих перед телекамерами, иной раз и удается выудить какое-нибудь обещание, вроде:

— Ладно, разберемся!

На сей раз в Ле Бурже прибыл Второй Любимый Помощник Президента России — высокий, по-теннисному подтянутый, твердолицый человек лет пятидесяти. Он давно уже ездил за границу без жены, которая безвылазно сидела дома и стерегла, как он любил выразиться, на всякий случай домашний очаг, чтобы в старости было на чем щи подогреть.

Вообще-то, помощника звали Владимиром Георгиевичем, но за глаза именовали попросту «Оргиевичем». И совсем даже не случайно. В какую бы часть света ни отправлялся Второй Любимый Помощник, опережая его, по спецсвязи летело закодированное по всем шифровальным правилам и обладающее семнадцатью степенями защиты указание организовать к приезду высокого гостя «хорошенькую бордельеру». Оргиевич в свои пятьдесят лет был полон мужских и государственных сил, а полноценную ночную оргию переносил с легкостью студента, до утра зубрившего сопромат.

Понятное дело, заботы по организации сексуального досуга Второго Любимого Помощника поручались российским дипломатам. Поначалу, конечно, находились и такие, что пытались возражать, даже возмущаться. Но им резонно отвечали:

— В ЦК КПСС жалуйтесь! — и добавляли: — Если не можете организовать такую малость, то на хрен вы вообще нужны здесь Державе!

И тогда седовласые дипмужи вызывали сотрудников помолоче и, отводя глаза в сторону, давали задание по организации «бордельеры».

— Так нужно... для России! — объясняли они.

Юные дипломаты, особенно карьерные, не прошедшие комсомольскую школу времен позднего застоя, частенько проваливали такие мероприятия — и это уже стоило места двум посольским работникам, отправленным на преподавательскую работу, вероятно, с тайным расчетом, что, обжегшись, они введут-таки в МГИМО спецкурс по организации и проведению «хорошеньких бордельер» для высоких московских гостей.

Наш посол во Франции как раз накануне, к счастью для себя, уехал в отпуск. На дипломатическом хозяйстве остался временный поверенный, бывший полковник внешней разведки — юркий седовласый губастик в ог-

ромных очках, с трудом удерживающихся на красной лоснящейся носопырке. За день до прибытия высокого гостя он специально приехал на выставку, подошел к стенду «Аэрофонда» и отозвал меня в сторону:

— Павлик, вся надежда на тебя! Найди девочек...

— А мальчиков не надо?

— Таких указаний не было, — растерялся он. — А что, есть информация?

— Шучу. Оргиевич — нормальный мужик!

— Ну, и шутки у тебя! Значит, девочек. И лучше русских, их тут много по ночным клубам пляшет. Местных не надо — они нас тут же пресс сдадут. Да, — чуть не забыл, — ужин тоже тебе придется оплатить. Сам знаешь, как посольства теперь финансируются, — скрепки купить не на что!

— А что я с этого буду иметь?

— Лично представлю тебя Оргиевичу!

— Мало. Знаете, во сколько мне влетит эта «бордельера»?

— Что еще?

— Братеева там быть не должно!

— Ну ты и мстительный.

— Козлов надо наказывать.

— Согласен.

Познакомиться в непринужденной обстановке с самим Вторым Любимым Помощником, о чем еще можно мечтать! Человек, удачно выпивший вместе с десятком клерком, который в администрации Президента промокашки носит, получает иной раз возможность заработать столько, что и отдаленные потомки не будут знать, куда еще засунуть наследственную зеленку.

Но пораскинув мозгами, на организации «бордельеры» я еще решил и заработать. К стенду «Аэрофонда» уже несколько раз подходил французский хмырь, обсыпанный перхотью, как конфетти. Он имел в России серьезные интересы и разношал о предстоящем визите. Я навел справки и выяснил, что хмырь был чуть ли не последним Бурбоном, наследником французского престола, и славился деловыми связями, а также грандиозными пьянками, которые регулярно устраивал в своей огромной квартире на Елисейских полях. Я заслал к нему Катерину. Бурбон не только согласился полностью профинансировать «бордельеру» у себя в квартире, но и предложил мне сто тысяч франков за посредничество. Возможность нажраться и покуролесить в обществе Второго Любимого Помощника, попутно решив деловые вопросы, дорогого стоит!

С прикомандированным ко мне советником по культуре, чья жена отбыла на похороны любимой бабушки и не могла помешать выполнению задания особой важности, мы объехали лучшие ночные клубы и отобрали дюжину танцовщиц — милых, изящных дев, с крупами — нежными, как шелк, и твердыми, как курс на рыночную экономику. Мы брали только «экстра-класс» и никого из серии: «Мужчина, не хотите ли познакомиться с моей киской?» Эх, вот почему, как верно заметил Серега Таратута, нет женщин в русских селеньях — они все давно в парижских и гамбургских борделях.

Проинспектировать девушек я поручил Катерине. Она осмотрела девиц с дотошной ненавистью эсэсовки, отбирающей славянок для господ офицеров.

Советник по культуре, в прежние годы курировавший по линии КГБ проституток, кормившихся вокруг Интуриста, провел суровый инструктаж:

— Шаг влево, шаг вправо — и поедете на родину. Ясно?

— Ясно!

— Человек с вами будет большой, очень большой! Забудете о нем, как только все закончится. Ясно?

— Ясно!

Мне их стало немного жаль, и я приободрил:

— Гонорар тройной, как на Северном Полюсе. Не бойтесь, девушки, кому не достанется Большой Дядя, — я всегда к вашим услугам!

Екатерина усмехнулась.

— А ты, милая, будешь сидеть в шале и греть мне постельку! — поставил я на место свою любимую секретаршу.

— Как скажешь, Зайчуган! — покорно шепнула она.

Ведь знал же, что ее покорность заканчивается обычно большой пакостью, но прошляпил и на этот раз!

Временный поверенный был в восторге от того, как выполнено задание. А Второй Любимый Помощник удовлетворенно улыбнулся, оглядев стол, в гастрономическом отношении представлявший собой совершенно бессмысленное, но эффектное смешение французской и русской кухни: седло ягненка под соусом из трюфелей соседствовало со стопкой блинов и ведром красной икры. Посреди стола на огромном серебряном блюде в позе андерсеновской русалочки сидела одна из девушек, обложенная по окружности королевскими креветками. Вдоль одной стены выстроились одетые во фраки официанты, напоминавшие стрижей на телеграфном проводе, а вдоль другой — голые девочки, прикрытые для пикантности листиками кудрявого салата.

— Да, временный, быть тебе послом. Угодил! — Повторял Оргиевич, потирая руки. — А бабы-то, бабы! Знатная «бордельера» сегодня будет! Налетай, мужики! — Махнул он рукой свите, расположившейся у него за спиной.

А в свите, кроме референтов, охранников, прикормленных журналистов и раскормленных шутков, именующихся почему-то ведущими деятелями российской культуры, наблюдались еще две весьма колоритные личности — Гоша и Тенгизик. Это были знаменитые воры в законе, о которых с восторженным испугом писала вся отечественная пресса. Западная печать тоже не молчала. «Фигаро», возмущаясь, уверяла, что если бы не дипломатические паспорта, французские власти ни за что не допустили бы их в страну.

«Бордельера» началась. Бурбон произнес пространный тост в духе Генона о глубинных евразийских связях между Россией и Францией и выразил восторг по поводу того, что имеет счастье принимать под своим кровом такого высокого гостя. Далее последовало аллаверды. Второй Любимый Помощник долго говорил о многовековой любви России к Франции и даже

умудрился представить войну 1812 года чем-то наподобие совместных натовских учений.

Вечер удался! Девчонки отплясывали на столе «калинку-малинку». Сам я дважды выпил с Оргиевичем на брудершафт. Бурбон, получив от высокого гостя самые радужные заверения, вплоть до обещания вернуть ему французский трон, в доказательство своей беззаветной преданности России лакал водку прямо из горла. Временный поверенный с лакейской угодливостью подливал Гоше и Тенгизику «столичную», еще с доперестроечных времен хранившуюся в посольских подвалах. Свита жрала и пила так, словно ее только что по дороге жизни доставили из блокадного Ленинграда. Известный сатирик, лауреат Бейкеровской премии, которого Второй Любимый Помощник всюду возил с собой в качестве дорожного тамады, каждый тост говорил стихами:

*Заявляю кратко я:*

*«Будь здорова, Франция!»*

А потом начался русский блуд, бессмысленный и беспощадный.

...Катерина появилась в самый разгар «бордельеры». Длинное черное бархатное платье плавно и целомудренно облегло ее стройную фигуру. На высокой загорелой шее сияло подаренное мной кольцо. Строгая, викторианская прическа делала мою гулену изысканно-беззащитной. Войдя, она застыла в оцепенении, точно юная виконтесса, зашедшая пожелать маленьке спокойной ночи и обнаружившая ее в объятиях горбуна-конюха.

— Добрый вечер! — робко произнесла Катерина и попятилась.

— Добрый вечер, — механически отозвался Любимый Помощник.

Разглядев вошедшую, он смутился и опрокинул бокал. Даже Гоша с Тенгизиком засмутились. А я, предчувствуя, что это появление может вызвать ярость у Оргиевича и безвозвратно погубить все мои заманчивые планы, постарался сделать вид, что не имею к вошедшей никакого отношения. Второй Любимый Помощник преисполнился, наконец, подобающей значительности, оглядел залу и молвил:

— Что-то у нас тут непорядок в смысле питания...

Бурбон, ударив кулаком по подносу, закричал на официантов, и они бросились приводить в порядок сервировку. А Катерина тем временем подошла ко мне, материнским движением заправила в брюки рубашку и платочком стерла с моего лба испарину.

— Тебя же просили, — зашил я. — Уходи немедленно!

— Зайчуган, в номере так скучно...

Тем временем ко мне, натываясь на стулья, подскочил лишившийся своих очков временный поверенный и потащил к Оргиевичу.

— Твоя? — грозно спросил тот, кивая на Катерину, задумчиво нюхавшую веточку сельдерея.

— Моя, — чувствуя, как холодеют уши, ответил я.

— Жена?

— В каком-то смысле... Знаете, такая ревнивая...

— Знаю. Уступи!

— Не связывайтесь, Владимир Георгиевич! — на всякий случай предупредил я.

— Уступи — не пожалеешь!

— О чем речь, Владимир Георгиевич! — радостно крикнул временный поверенный, словно речь шла о его секретарше. — Берите!

— За Прекрасную Даму, навестившую наш скромный уголок! — провозгласил Второй Любимый Помощник, поднимая бокал.

Катерина потупила глаза и покраснела от удовольствия.

Официанты под руководством суеязящегося Бурбона тем временем на длинном подносе внесли огромного угря. Зазвенели ножи и вилки. А через четверть часа, Катерина, смерив меня победно-насмешливым взглядом, уже уводила из зала Второго Любимого Помощника. Оргиевич на пороге оглянулся и наставительно сказал:

— Вы тут не балуйтесь без меня! Нам с Катей поговорить надо. Мы скоро вернемся...

— М-да-а, — молвил временный поверенный, подслеповато глядя им вслед, — здорово ты это, Павлик, подстроил.

— Ничего я не подстраивал!

— Ну не надо! Своим-то не надо...

Оргиевич и Катерина в ту ночь так и не вернулись...

— Ну, и стерва она у тебя, — заметил временный поверенный, подозрительно вытирая вернувшиеся к нему очки.

Мы ехали домой по пустынным парижским улицам. Было утро, и листва каштанов выглядела серой, как на черно-белой фотографии. Да и вообще весь мир был послезавратно сер и тошнотворно пресен.

— Стерва, — согласился я. — Но ты думаешь, ей сейчас с ним хорошо? Нет. Она не от этого тащится...

— А отчего?

— Не дай Бог тебе узнать!

Именно в то утро я начал смутно понимать, что истинное удовольствие Катька получала лишь в одном случае — когда видела разъяренное лицо мужика, орущего в бессильной злобе:

— Стерва! Я ненавижу тебя! Ненавижу!!

## 10. Государственная измена

На следующий день Второй Любимый Помощник, свежий и бодрый после утренней сауны с массажем, начал деловой обход российской части авиационной выставки. В этом государственном муже, сосредоточенном, резко отдающем команды референтам, трудно было признать вчерашнего Оргиевича, завершившего «бордельеру» в постели моей секретарши. Катерина была при нем, и по взглядам, которыми они обменивались, мне стало ясно: мерзавка выступила с показательной программой и по всем видам получила высшие баллы.

Я шел следом за ними, стараясь удерживать на лице счастливую улыбку кормилицы, выдающей свое дитячко замуж за хорошего человека. Но в душе была тоска, ноющий нарыв, вдруг дергавший так, что в глазах темнело от отчаяния: «Как же я теперь буду без этой стервы, суки, гадины, предательницы? Как я буду без нее?» У нее же в кулаке моя игла! Я и представить себе не мог, что мне будет так тяжело терять Катьку.

— Не переживай ты так, Павлик, — успокоил, заметив мое состояние, временный поверенный. — Вернется. У Оргиевича никто долго не держится.

Свита медленно двигалась вдоль стендов, пялясь непроставшимися глазами на чудеса загибающейся российской авиации.

— А это еще что за прокладка с крылышками? — спросил Второй Любимый Помощник Президента.

— А это, Владимир Георгиевич, — гнусно воспользовавшись моим состоянием, попытался влезть в разговор Братеев, — последнее слово отечественной...

— Что значит последнее? Что вы тут все ноете! И вообще я не тебя спрашиваю, а Павлика!

Я превозмог обиду, собрался с мыслями и стал обстоятельно рассказывать о наполовину придуманных успехах «Аэрофонда» в деле строительства малой российской авиации. Он благосклонно слушал мои разъяснения, изредка бросая уничтожающие взгляды на Братеева, который, не получив приглашения на «бордельеру», за одну ночь похудел от расстройства килограммов на десять. А теперь, после такой публичной оплеухи, сидел прямо-таки на глазах. Я решил окончательно добить старого врага и скорбно поведал Оргиевичу о моем проекте городского аэротакси, забракотанном братеевским комитетом еще два года назад. Тут Второй Любимый Помощник окончательно возмутился и рявкнул:

— Павел — мой друг! — Он для наглядности даже положил мне на плечо руку. — У меня на него большие виды. Будешь мешать — удавлю!

Гоша и Тенгизик инстинктивно подались в сторону Братеева.

— Смотрите, — продолжал Второй Любимый Помощник, похлопывая меня по плечу. — Вот у кого надо учиться — парень в авиации четыре года, а о нем уже весь мир говорит! А вы... Куда вы ходите? И не надо жаловаться на реформы. Да, стране трудно, но мы фашистов победили! Магнитку построили! Нам мужики нужны, пахари! А не временные импотенты и слюнтяи с «вертушками»!

Братеев стал цвета хорошего вызревшего баклажана, а временный поверенный потупился. Ко мне же весело подвалили Гоша с Тенгизиком и, похлопав по плечу, сказали хором:

— Здорово, братан! Как оно, ничего? А то, Павлентий, давай к нам!

Это простецкое предложение имело огромный смысл: по их понятиям, они как бы приглашали меня под свою гостеприимную и надежную крышу.

— Спасибо, мужики! — с максимальной искренностью ответил я и на всякий случай прослезился от благодарности.

Питекантропы удивительно чутки ко всякой фальши — и с ними надо быть предельно натуральным. А Катерина под ревнивыми взорами Оргиевича подошла ко мне и погладила по голове.

— Иди к нему! — зашептал я.

— Ты же вчера мне запрещал!

— Иди к нему! Сука! Ненавижу тебя!

— Ну если ты настаиваешь, дорогой... Кстати, он почему-то уверен, что я твоя жена.



- Все правильно.
- Но ведь мы не женаты!
- Если надо будет, поженимся! Иди к нему!

Второй Любимый Помощник в сопровождении Катерины, свиты и нескольких еще более-менее сохранившихся после бурной ночи девиц отправился осматривать достопримечательности Парижа. А вечером ко мне в шале ворвался взбешенный временный поверенный. Он был так разъярен, что красненький носик его побелел, точно отмороженный. Я лежал на растеленной перед камином искусственной тигровой шкуре. Полчаса назад от меня ушли две косоглазенькие специалистки по тайскому массажу.

— Где ты взял эту стерву? — прямо с порога заорал бывший полковник так, что огромные очки его подскочили ко лбу.

— А что случилось-то?

— Что случилось!? Да я теперь... Да она у меня...

А случилось вот что. Катерина, пошебетав с девочками, принимавшими участие в «бордельере», выяснила, что временный поверенный так за всю ночь ни разу и не сумел поднять в атаку своего пластуна. Интриганка преподнесла эту информацию Оргиевичу в том смысле, что теперь, мол, понятно, почему российская внешняя политика проявляет на международной арене полную беспомощность. В связи с этим, утреннее высказывание Помощника о «временных импотентах» обрело новый смысл, имевший непосредственное отношение к кадровой политике МИДа. Более того, Оргиевич похлопал поверенного по пояснице и посоветовал ему раз в месяц садиться голой задницей на муравейник, что чрезвычайно способствует, особенно если мураши — алтайские. А Алтай, как известно из школьной географии, находится в России, а не в Нормандии. Кроме того, советник по культуре подслушал, как Катерина рассказывала Оргиевичу о своем папаше, который ужасно соскучился по дипломатической службе и мечтает вернуться в Париж, где некогда работал... Выводы ветеран внешней разведки сделал правильные:

— Ну нет — с работы меня твоя сучка не снимет! Она меня плохо знает.

— Будем надеяться, — вздохнул я и поведал ему грустную историю турецкого посла.

— Дурак ты, Паша, а не восходящая звезда российской авиации. Разве можно таких баб рядом с собой держать!

— Нельзя, — согласился я, — а хочется...

...На следующий день в Лувре был прием в честь авиационного Салона в Ле Бурже. Оргиевич появился под руку с сияющей Катериной. Она даже переводила его беседу с мэром Парижа, а это уже являлось настоящим преступлением перед протоколом.

Министр авиации был рассеян и грустно улыбочив. К успешному окончанию Салона в Ле Бурже газеты преподнесли ему подарок — раззвонили о том, что юная топ-модель, которую он спонсировал, сбежала от него к кинорежиссеру, прославившемуся на последнем Каннском фестивале фильмом о транссексуалах. Фильм произвел такое впечатление, что количество людей, жаждущих поменять пол, увеличилось в три раза! Режиссер получил все мыслимые и немыслимые премии. К этому триумфатору и ушла юная топ-модель от своего скучного министра. Антуан, как верный

сын, был в эту трудную минуту рядом с отцом и, судя по выражению лица, развлекал родителя, отпуская разнообразные гадости по поводу присутствующих.

И тут случилось непредвиденное. Оргиевич увлекся беседой со знаменитым актером Робером Оссейном, прекрасно — благодаря своим одесским корням — говорившим по-русски. Сознавшись, что фильм “Анжелика” он любит почти так же, как “Чапаева”, Любимый Помощник, размахивая руками, принялся изображать знаменитый поединок графа де Пейрака с посланником короля Людовика... Этим воспользовался Антуан, еще позавчера проявлявший к Катьке оскорбительное равнодушие. Но обстоятельства изменились: теперь она была уже не просто навязчивой одноклассницей, работающей на какого-то неведомого русского бизнесмена, а любовницей Второго Помощника!

Наглый министереныш увел Катьку в уголок, и они весело болтали, очевидно, вспоминая школьные шалости. Я внимательно наблюдал за ними, еще ничего не понимая. На какое-то время меня отвлек опоздавший к началу приема Бурбон. Он жаловался на недомогание с такой непосредственностью, точно вчера промочил ноги, а не нажрался до того, что пытался обольстить копченого угря. Потом к нам присоединились несколько деловых французов, прискакала ворона-переводчица — и речь пошла об инвестициях в российскую экономику. Я, разумеется, уговаривал этих простаков вкладывать не задумываясь — и обещал чудовищную прибыль. Самое смешное, что они верили!

Когда я снова нашел Катьку и Антуана в толпе, хватило одного взгляда, чтобы понять — моя секретарша готовит международную пакость. На ее лице было знакомое мне выражение хищного восторга, а тело, искусно обнаженное дорогим вечерним платьем, трепетало, готовясь к прицельному прыжку в новую постель!

Зачем? Но тут-то как раз мне все было понятно. Я — вариант отработанный. Оргиевич? Его непостоянство общеизвестно. Зато побывав последовательно любовницей перспективного российского авиатора Шарманова, Второго Любимого Помощника и сына министра Франции, Катька обрела постельную родословную, позволявшую ей в дальнейшем, бросив кудрявого Антуашу, вполне прилично устроиться в Париже. Хотя не исключено, что все это она устраивала просто ради того, чтобы увидеть на лице всемогущего Помощника гримасу бессильного бешенства. Мои гримасы, надо полагать, в тот момент ее уже не вдохновляли и не удовлетворяли. А зря!

Оргиевич закончил дуэль с королевским посланником и увидел Катерину, улывающую из зала с Антуаном. Сынок на ходу демонстративно помахал ручкой папаше. Министр профессионально оценил извилистую Катькину походку и посветлел, почувствовав себя, очевидно, частично отпущенным. У самой двери Катерина полуобернулась, отыскала налитые кровью кабаньи глаза Любимого Помощника и оставила ему на память ласковую улыбку Юдифи, прощающейся с головой Олоферна.

— Сука!

— Простите, недостаточно понял? — оторопел Робер Оссейн.

— Это я не вам.

На следующий день вся бульварная парижская пресса была переполнена издевками над Любимым Помощником. И даже в одной уважаемой газете появилась вроде бы невзначай карикатурка, изображающая лихого галльского петушка, который гвоздями прибывает раскидистые олени рога к мохнатой голове незадачливого русского медведя.

Прощальный вечер, не в пример «бордельере», проходил в трауре.

— Сука! — страдал от бессильной ярости Оргиевич. — Какая же она сука!

— Мы вас предупреждали, — от своего и моего имени вздыхал временный поверенный, нацепивший затемненные очки специально, наверное, чтобы скрыть радость в глазах.

Я же молчал, как человек, потерявший под ударами судьбы веру в справедливость, ипил фужер за фужером. Я, кстати, почти не притворялся, понимая: теперь уж точно судьба развела меня с Катькой навсегда.

— Ну что ты, Павлик, убиваешься! — утешал меня временный поверенный. — Радоваться надо, что от такой заразы избавился!

— Она сломала... — ответил я.

— Что сломала?

— Иглу...

— Какую еще иглу?

— Ты не поймешь...

— Не хнычь, Павло. — Хмельной Оргиевич взял меня за волосы и несколько раз, утешая, стукнул лбом о край стола. — Это мы ее ломаем. Нака-ажем!

— Накажем! — мстительно кивнул временный поверенный.

— Накажем! — подтвердили радостно Гоша и Тенгизик.

## 11. Наказание

Из Парижа я полетел на Майорку. Во-первых, надо было развеяться и отвлечься. Во-вторых, я соскучился по дочери. В-третьих, жена жаловалась по телефону, что каскадер совсем оборзел и ходит налево. Надо было привести его в чувство. Время я провел неплохо, даже в охоточку наведаясь в законные Татьянины объятия и лишний раз убедился в том, что Катерина — потеря невозможная. Я даже не стал бранить каскадера за левизну в сексе, посоветовал ему блудить поаккуратнее, и мы отлично постучали в теннис, причем, он уважительно проиграл мне почти все геймы. Огорчило меня только то, что Ксюха говорила по-русски уже с акцентом...

Москва встретила меня как победителя. Все уже знали о моем триумфе в Ле Бурже и особенно про то, как я закорешил с Любимым Помощником. Телефон звонил непрерывно и совершенно недоступные прежде банки предлагали мне кредиты на фантастически льготных условиях, а крутые воротилы назойливо зазывали в свои команды. Знаменитый телекомментатор Компотов вдруг пригласил меня в свою передачу «Бой быков» и, почесывая неопрятную бороду, уверял, что если бы в России вместо ста пятидесяти миллионов дармоедов было десять миллионов таких парней, как я, то Отечество процветало. НТВ сняло про меня телеочерк под названием

«Взлетающий». О статьях и интервью в газетах и журналах я просто не говорю...

А мне было тошно, хотя сразу несколько смазливых моих сотрудниц выразили настойчивое намерение заменить на посту сбежавшую Катьку. Преснятина.

Так продолжалось до тех пор, пока мой человек в МИДе не сообщил потрясающую информацию. Оказалось, после моего отъезда из Парижа события разворачивались совсем не так, как я предполагал. Министр авиации, еще не оправившийся от измены своей тощей топ-модели, получил от французских спецслужб еще один удар — достоверные сведения о том, что новая подруга его сыночка инфицирована СПИДом. Откуда они это узнали, вычислить было несложно: все-таки временный поверенный, старый лисьяра, не зря столько лет жрал свой чекистский хлеб! Несколько дней, пока проводились тестирования и анализы, Антуанелло трясся, как мартышка, очутившаяся на Северном полюсе. Папаша тоже пострадал: коллеги из правительства перестали из гигиенических соображений подавать ему при встрече руку. Газеты закричали о его политической изоляции и скорой отставке. Впрочем, медики информацию спецслужб не подтвердили, и все обошлось, если не считать, что Антуаша от переживаний угодил в нервную клинику.

Катерину же, сильно избитую, выслали в Россию. Как донес из Шереметьева другой мой человек, у трапа ее встречали Гоша и Тенгизик. Хотя я и любил эту стерву, но спасать ее от гнева Любимого Помощника — то же самое, что останавливать собственной шеей падающий нож гильотины. И все-таки я решил прорваться на прием к Оргиевичу и выпросить у него Катькину жизнь. Но тот, как назло, улетел в Австралию — изучать тамошнюю организацию малого бизнеса. Оставалось ждать и надеяться, что до его возвращения Гоша и Тенгизик ничего ей не сделают. Надеяться...

«Эх, Катька! Ты все-таки доигралась».

И вдруг через несколько дней у меня в офисе раздался звонок особого, аварийного телефона, номер которого был известен очень немногим.

— Привет, Зайчуган! Как поживаешь?

— Привет! — Сердце радостно курлыкнуло, но я сдержался. — Ты откуда?

— Из дома. Ты рад меня слышать?

— Конечно, — ответил я и, чувствуя какой-то подвох, решил сработать под наивного. — Ты же, вроде, в Париже решила остаться?

— Я передумала, — ответила она, не сумев скрыть досаду.

— И давно ты в Москве?

— Недавно, но у меня уже новые друзья!

— И кто же?

— Помнишь Гошу и Тенгизика?

— Ты, видимо, что-то путаешь: insult у Братеева, а у меня с головой все в порядке. Конечно, помню.

— Ну, если у тебя с головой все в порядке, ты, наверное, уже понял, зачем я звоню!

— Ты хочешь попросить прощения и вернуться на работу? Я тебя прощаю.

— Нет, я хочу попросить денег.

— Много?

— Много.

— А если я не дам?

— Дашь.

— Это почему?

— А потому что я рассказала моим новым друзьям о твоих счетах в Швейцарии. Гоша и Тенгизик были просто поражены, что на авиации можно столько заработать!

— Стерва-а-а!

— Спасибо за комплимент! Когда придешь в себя — перезвони. Я дома. Только что из ванны. Мой телефон, как и отношение к тебе, Зайчуган, не изменился.

Минут десять я сидел, уставившись на попискивающую трубку телефона. Приехали! Конечно, женщины для того и существуют, чтобы обирать мужиков. Но есть же цивилизованные способы — дорогие подарки, рестораны, путешествия! А вот так, за горло, да еще после всего, что она натворила в Париже! Это уже какой-то запредельный сволочизм! Сейчас главное — успокоиться. Успокоиться и во всем разобраться. По порядку...

Вполне возможно, она просто блефует. Нет, серьезно, надо все по порядку. Финансовые документы Катька видеть могла? Могла. В переговорах со швейцарскими банкирами участвовала? Участвовала... Значит, не блефует. Говорила мне мама: «Учи, сынок, английский!» Дура-а-ак! Если эти Гоша и Тенгизик захотят меня схавать — никто не поможет, никакие Любимые Помощники. Хорошо — прорвусь я к Оргиевичу. И что я ему скажу? «Гоша и Тенгизик отбирают у меня денежку из швейцарского банка!» «А откуда у тебя, простого российского бизнесмена, деньги в швейцарском банке? — удивится Владимир Георгиевич. — Что ж ты, поганец, возрождающуюся Россию обжуливаешь?» Нет, к Оргиевичу нельзя.

А все остальные для Гоши и Тенгизика — тьфу. Останется толькокупить связку свечек и — в храм: мол, спаси, Всевидающий и Правосудный, — наезжают! А кто я, собственно, такой, если вынуть меня из «мерса», снять с меня «роллес» и перекупить Толика? Никто... Деньги? В наше время, да, наверное, и всегда они зарабатываются такими способами, что их в любой момент можно объявить ворованными. Просто условились одних считать преступниками, а других бизнесменами. Можно и переусловиться! Ну и кто я в таком случае, если переусловиться? Никто. Испуганный мальчик с наметившимся брюшком, жалкий огрызок яблока в огромной помойке по имени «российские радикальные экономические реформы». Я исчезну — никто даже не заметит. Если Гоша и Тенгизик возьмутся за меня, все кончится в лучшем случае информацией в криминальной хронике: «Обнаружен труп... Занимался авиационным бизнесом... Имел связи в криминальной среде...» Как будто что-нибудь можно без этих связей! Как будто без связей в криминальной среде тебе чью-нибудь машину разрешат вымыть!

Стоп. Если есть связи — их надо использовать. Попробовать договориться. С кем — с Гошей и Тенгизиком? С этими пещерными гориллами не договоришься. Что я им могу пообещать? Проценты с прибыли? Но они

же не садоводы, годами окучивающие и лелеющие свое деревце по фамилии Шарманов и обирающие с него каждый год яблочки. Деревце выше — и яблочек больше. Не-ет, они же обыкновенные бомбилы! Жизнь у этих скотов короткая: сегодня в «мерсе» — завтра в морге. Зачем им деньги в авиации держать — они их в наркоту вложат. Вон скоро пол-Москвы “под герой” ходить будет. Только вкладывай, такое деревце вымахает — никому Буратине ни на каком Поле Чудес не снилось! В общем, выпотрошат они сначала мой счет, а потом уже и мне брюхо выпотрошат!

А что им от меня надо получить? Всего-то подписи под двумя-тремя бумажками, да еще звоночек банкиру. Мол, и не сомневайтесь! Когда к затылку приставлен «макаров», скажешь все... Можно, конечно, поиграть в большого дядю — пригрозить связями с «силовиками». Пока будут проверять...

А если они ничего не будут проверять, а просто с самого начала покажут мне бумажку с адресом: “Остров Майорка. Город Мудакос. Улица Двадцати шести майорских комиссаров. Вилла имени Жертв Первичного Накопления.” Что тогда? Каскадер, козел, не успеет даже за пушку схватиться. А дочь! Главное — дочь. Шесть лет, а уже все буквы знает. И похожа на меня, как две капли воды. Ну почему мы так глупо устроены? Почему нам так хочется оставить на этом несущемся сквозь космос куске дерьма свое подобие. Оставить для того лишь, чтобы оно лет через двадцать вот так же дрожало над своим ребенком и так же делало ради него подлости и глупости? Таньку тоже жалко. Танька-то ни в чем не виновата. Она выходила замуж за студента авиационного института, а не за клоуна, бегающего по канату со вставленной в задницу толстой пашкой. Нет. Виновата! Если бы ей не было на меня наплевать, разве бы я связался с Катькой?!

Стоп! А почему, собственно, я решил, что Катька все уже рассказала этим мордоротам? Если бы она пискнула хоть слово — я бы уже давно сидел в подвале какой-нибудь подмосковной дачи на куче гниющей картошки, имея на спине пару остроносых пометин от утюга — в качестве предварительного собеседования. Что же тогда получается: Гоша с Тенгизиком упустили Катьку? Нет, они ее взяли — мне же докладывали. А если взяли, значит, отпустили... Почему? У них приказ — наказать. Хорошо, они ждут возвращения Оргиевича из Австралии для подробных инструкций. Но почему отпустили? Если бы она сказала им хоть слово про мои деньги — тем более не отпустили бы. Зачем им лишний свидетель? Катька должна была это понять, она сообразительная. Но почему все-таки отпустили? Конечно, она — гений охмуряжа и может замурлыкать кого угодно. Но только не Гошу и Тенгизика! Но то, что бандюки не сделают ради бабы, они сделают ради бабок! Скорее всего братки готовят ее на роль приманки для какого-нибудь простодушного инвестора, вроде Бурбона, приехавшего зарыть свои денежки в полях обновленной России. В таком случае им нужна Катька, пришедшая в себя, зализавшая раны. Значит, сами отпустили — попастись. Катька, конечно, пообещала этим скотам верную службу и радостно побежала домой, не подозревая, что в случае чего переживет наивного инвестора на день или два. Таким образом, пацаны хорошо зарабатывают и приказ Оргиевича, хоть и с опозданием, выполняют.

Э-э, нет... Как раз это умненькая Катька подозревает, потому-то внаглую и наехала на меня. С моими деньгами можно спрятаться по-настоящему, забиться в пятизвездочную нору на берегу теплого океана и присмотреть себе нового зайчугана, желательно с хорошим счетом в банке!

Ну что ж, теперь вроде бы все встало на свои места. И выход один — отсечь ее от бандюков. Нет никакой уверенности в том, что она, выигрывая время, в последний момент не сдаст меня. Один тут недавно, чтобы выкрутиться, родного брата с племянниками под нож подставил. А я для нее всего лишь списанный Зайчуган. Главное теперь, чтобы Гоша и Тенгизик согласились. То, что бандюки отложили выполнение приказа, может означать две вещи. Первое — Оргиевич зашатался на кремлевских кручах — и они оборзели. Второе — они просто оборзели без всякой причины. Второе вероятнее. Надо рискнуть!

— Гош, привет, это я — Павел.

— Какой еще Павел Час Убавил?

(Отлично, звонка не ждали!)

— Ну, ты, брат, даешь! Париж, авиасалон, «бордельера»...

— А-а, Павлентий, привет! Чего надо?

Я набрал в легкие воздух и заскулил:

— Гош... Мне звонила Катька — она плачет!

— Еще бы! За такие фокусы... Жить-то хочется!

— Гош, она же по глупости...

— Она и нам то же самое лепила... Ласковая, сучка! Но я бы все равно пришел. Приказ — есть приказ. Это Тенгизка, горный человек, рассопливился — давай отпустим попастись... На недельку.

— Гош! Я люблю эту сучку! — сказал я с какой-то натуральной судорогой в горле.

— Ну и дурак!

— Знаю. Но ничего не могу поделать! Люблю!

У меня вдруг навернулись на глаза слезы, а ведь для телефонных переговоров никакой необходимости в них не было. На том конце провода воцарилось молчание. Вообще, человечество столько столетий пело, плясало, водило хороводы вокруг слова «любовь», что даже в самых бараньих бандюковских мозгах есть завиток, в котором застряло уважение к этому отвлеченному существительному.

— Не могу. Приказ есть приказ.

— Поял. Приказ дело святое. Меня тут, кстати, Оргиевич после возвращения видеть хочет, — леденея от собственной смелости, соврал я. — Если будет про Катьку спрашивать, что ему сказать? Ну, чтоб тебя с Тенгизиком не подставить?

На другом конце провода снова образовалось молчание. Ничего, пусть немного мозгами поработает, не все же кулаками размахивать!

— Чего хочешь? — вдруг спросил Тенгизик, очевидно, слушавший весь разговор по параллельной трубке.

— Отдайте ее мне!

— Э-э, а говорил — любишь!

— Тогда продайте!

— Деньги есть?

— Мне долг вернули. Хотел дачу купить...

— Зачем тебе дача? У тебя самолет есть. Ладно, приезжай. С бабками. И три месяца чтобы она из квартиры вообще не выходила. Понял?

— Понял.

Гоша и Тенгизик, пересчитывая зелень, ехидно поглядывали на меня так, словно я покупаю разьеженную колымагу за цену новенького БМВ. А в том, что они Катьку разъездили основательно, я не сомневался. Потом, когда она отсиживалась дома, я таскал ей сумками видеокассеты, и однажды для смеха притащил мульт про любвеобильную Белоснежку, развлекающуюся с семьей гномами. С Катькой была истерика... А Гошу и Тенгизика через полгода взорвали в «мерседесе» прямо на Тверской, бывшей улице Горького. О яд воспоминаний! Но не будем о грустном...

## 12. О воеводе

Итак, от бандюков удалось отвязаться и даже легче, чем я предполагал. Теперь надо было разобраться с Катькой. Человек, покушающийся на твой банковский счет, даже если это красивая и небезразличная тебе женщина, должен быть строго наказан! Вариантов вырисовывалось несколько, но я, поколебавшись, выбрал самый, так сказать, законный.

Некоторые мои однокурсники после института пошли работать в Комитет. Тогда частенько выпускников незадолго до госэкзаменов вызывали в партком — и там серьезные дяди делали им заманчивые предложения: зарплата вдвое больше, чем у любого молодого специалиста, скорейшее решение жилищного вопроса, быстрый служебный рост. Но главное — романтика! Кое-кто клонул. Меня Бог миловал — я со своим незаконченным высшим в то время уже возглавлял молодежный кооператив «Земля и небо» и был в таком порядке, что в августе 91-го прислал защитникам Белого дома грузовик с водкой и бутербродами. С водкой, наверное, погорячился. Может быть, пришли я им тогда пепси-колу — и путч обошелся бы без жертв!

Как раз в конце 91-го мой однокурсник Ваня Кирпиченко, боец невидимого фронта, всего полгода назад променявший физику крыла на лирику плаща и кинжала, пришел ко мне в первый раз за деньгами. У его жены, кстати, тоже нашей однокурсницы, послеродовое осложнение, а КГБ как раз разгонять начали — и никакой зарплаты. Это называется — достал по благу билет на пароход «Титаник». Мы выпили, повспоминали злых и добрых преподавателей, подивились оборотистости Плешанова, выпустившего уже к тому времени книгу «Крылья ГУЛАГа», перебрали в памяти попробованных и не попробованных однокурсниц... Денег, я, конечно, дал.

Во второй раз Ваня пришел ко мне, когда его Контору в очередной раз перестроили и переименовали, что стоило немалых средств, поэтому на зарплату сотрудникам денег снова не оказалось. А у Кирпиченко как раз помер дед — фронтвик, и хоть в целлофане, как цыпленка, хорони! Выпили, повспоминали добрых и злых преподавателей, особенно Плешанова, возглавившего к тому времени Всероссийский научно-исследовательский институт зверств коммунистического режима имени Бухарина.



Перебрали в памяти попробованных и не попробованных однокурсниц — за прошедшее время количество первых почему-то увеличилось, а вторых, напротив, уменьшилось. Денег я снова дал... А когда благодарный Ваня ушел, строго-настроено предупредил секретаршу: будет звонить — не соединять ни под каким видом!

Но у Кирпиченко дела вдруг поправились. То ли там, наверху, поняли, что голодные спецслужбы — штука опасная, то ли сами внучки железного Феликса приспособились к джунглям новой жизни... В общем, Ваня больше ко мне не приходил. Я, конечно, на всякий случай следил за его карьерой и знал, что теперь он начальник целого отдела московского ФСБ — и даже как-то видел по ящику его путанное интервью в связи с убийством популярного шоу-мена. Одет он был вполне прилично, а лицо выражало скорее моральные, чем материальные претензии к террариумным нравам новой жизни.

Ему-то я и позвонил. И он, бывают же благодарные люди, в тот же день приехал ко мне. Мы выпили, повспоминали добрых и злых преподавателей, позлословили о Плешанове, которого за трусость, проявленную в 93-м, сослали на каторжные работы в ЮНЕСКО, перебрали попробованных однокурсниц и не попробованных — к числу последних относились теперь только наши жены. Наконец я рассказал о случившемся.

— Шантаж, — после длительного раздумья определил Ваня.

— Ну это я и сам понял.

— Надо писать разговоры с ней на пленку.

Через час срочно вызванные очкарики быстро присоединили к моему телефону какую-то штуковину — и Ваня кивнул:

— Звони ей!

Катерина, конечно же, сидела дома и ждала моего звонка, даже трубку подняла после первого же гудка. Я представил себе, как все это происходит: она любила болтать по телефону, лежа на тахте и поставив аппарат себе на живот.

— Это я.

— Привет, Зайчуган! Ты подумал?

— Да. Твои условия?

— Я ничего не скажу мальчикам о твоих денежках. Но ты переведешь полтора миллиона долларов на мой счет. Запиши номер — 16148. «Лось-банк». С кем там поговорить, ты знаешь... Когда все сделаешь — перезвони!

В трубке раздались короткие гудки. Я даже представил себе, как она, скинув с живота телефон, кувыркается на тахте, повизгивая от радости и торжества. Ей сейчас хорошо! Ей по-настоящему, до воплей, до скрежета зубового, хорошо!

— Вот стерва! — только и вымолвил Кирпиченко.

Шантаж был налицо — и Ваня мог действовать без санкции прокурора.

— Что будем делать? — спросил он. — Сажать?

— Правильнее было бы грохнуть!

— Ну, этого я не слышал, хотя тебе, конечно, виднее.

— Я не могу без нее... Я ее люблю.

— Что? После всего...

— После всего...

Конечно, вызволяя Катю, я по-слюняйски часто использовал разные производные от слова «любовь». Я делал это нарочно... Тактика. Но тайная правда заключалась в том, что даже после всего случившегося я не хотел терять Катю. Я хотел, чтобы она была рядом — раздавленная, униженная, беспомощная — и оттого особенно нежная. Может, это и есть любовь? В конце концов, раньше словом «чахотка» называли любую болезнь, если человек чах. А я — чах, потому что в хрупком кулачке у этой стервы была зажата моя кощеева игла, моя жизнь!

— Что ты предлагаешь? — пожал плечами Кирпиченко.

— Ее надо напугать. Так напугать, чтобы она на всю жизнь запомнила: от меня ей нигде не деться. Нигде!

— Ну-у нет! Вы будете друг друга пугать для полноты чувств, а мои ребята подставляться! Эх, Шарманов, всегда тебе какие-то стервы нравились.

— Ваня, помоги! — попросил я. — Ради нашей дружбы! Я же тебе никогда не отказывал...

— Хорошо. Мы ее напугаем, но ты с ней расстанешься. Навсегда. Я не хочу, чтобы однажды мне пришлось считать количество дырок в твоей башке!

— Не могу без нее! — повторил я, повесив буйну голову.

— Я тебя предупредил, — ответил Ваня голосом джина, выполняющего последнюю просьбу зануды Алладина.

...Штурм Катюкиной квартиры громилами спецназа, прикрывающимися металлическими щитами ( для достоверности их предупредили, что внутри вооруженная банда ), навсегда запомнился соседям и случайным очевидцам. Представляю, что пережила сама Катюка, когда дверь ее квартиры обрушилась на пол под мощными ударами и мужики в камуфляже и черных масках с матершиной вместо «ура» ввалились в ее уютную квартиру, любовно обставленную и украшенную настоящим Зверевым и «митьками».

Я забрал ее через день из Лефортова, тихую, жалкую, растерянную.

— Зачем ты это сделала? — спросил я, усадив ее в машину.

— Это не я...

— А кто?

— Когда-нибудь расскажу.

— Когда?

— Когда пойму, что ты меня действительно любишь...

Я сделал вид, будто поверил. В конце концов, и она тоже имела право поиграть этим безразмерным словом «любовь». Главное, что Катюка стала ручной голубицей. Как и требовали Гоша с Тенгизиком, она безвылазно сидела дома, читала по-французски Пруста. Когда я возвращался из офиса, Катерина угощала меня ужином, всякий раз изобретая с помощью поваренной книги что-нибудь необыкновенно вкусенькое. Я ел, а она смотрела на меня с такой нежностью, с какой обычно кормящие матери смотрят на сосущего младенца.

— Десерт будешь? — спрашивала она.

— Конечно, — отвечал я, и мы падали в постель.

Иногда среди ночи я вдруг открывал глаза, вглядывался в ее спящее лицо и скрипел зубами от нестерпимых приступов нежности.

«Прав, прав Шекспир: самые лучшие жены выходят из укрощенных стерв!»

### 13. В Майами! В Майами!

В Майами я полетел из-за Генки Аристов. Генка по жизни ничего не боится, кроме Галины Дорофеевны, своей жены. А женился он как только букровку «к» на две лейтенантские звездочки сменил. Сразу после училища. И ведь не на ком-нибудь женился, а на библиотекарше. Рослая, ядреная, круглолицая, глаза, как у следователя, и коса толщиной с анаконду. В нее были влюблены поголовно все курсанты и даже значительная часть преподавателей. Но Галя была девушкой строгой и недоступной. На все поддурливания у нее был один ответ:

— Товарищ курсант, не загибайте у книги страницы! И вообще — сходите вымойте руки!

А если ты думаешь, что к офицерам она относилась лучше, то глубоко ошибаешься. С ними Галя вообще была сурова до ледовитости:

— Товарищ майор, руки уберите! И вообще — поберегите ваши пристачучести для жены.

Отличник боевой и политической подготовки, гордость и надежда училища, Геннадий Аристов всегда приходил в читальный зал с вымытыми руками, страниц не загибал и не жрал глазами Галю. Он был невозмутим и сдержан, ибо, давно уже, лежа на узкой курсантской койке под вытершимся суконным одеялом, поклялся добиться двух вещей. Во-первых, стать космонавтом. Во-вторых, однажды намотать-таки на руку эту косу-анаконду, и чтобы потом измученная королева книжной пыли уснула в его мускулистых объятиях.

И добился. Через ЗАГС, разумеется.

С тех пор Галина Дорофеевна больше не работала в библиотеке, да и вообще нигде не работала — летчикам платили, дай Бог каждому. Но суровая библиотечарская складка меж густыми бровями и строгий голос остались навсегда. Не знаю, кто уж там у них по ночам что на руку наматывал, но бесстрашный испытатель, Геннадий Аристов покрывался липким потом от одной мысли, что сведения или даже намеки на его безупречное поведение досквозят до Галины Дорофеевны. Причем, этот страх перед женой уживался в нем с чисто физической неспособностью пропустить мимо хотя бы одну смазливую девицу.

Обычно Гена совершал супружескую измену со скоростью спецназовца, заваливающего террориста, и в семь часов вечера уже чинно ужинал в семейном кругу, опасливо ловя подозрительные взоры Галины Дорофеевны. А чтобы отвести от себя наветы, он скупо жаловался на боли в спине и говорил, что на очередной диспансеризации врачи запретили ему любые нагрузки на поясницу и резкие движения.

Так бы оно и продолжалось, но на пятом десятке мужчинам уже хочется большего. Им мало торопливого бомбометания с последующим возвращением на базу. Им, предпенсионным безумцам, хочется медового месяца в обществе

беззаботной, веселой, пахнущей юностью и морем девушки. И, лежа вечером в семейной кровати, рядом с верным телом Галины Дорофеевны, поглаживая ее привычные рельефы, Геннадий Сергеевич Аристов мечтал об иной доле.

Долю звали Оленькой, и была она ни много ни мало студенткой академии современного искусства имени Казимира Малевича, в чем, конечно, учитывая профессию Галины Дорофеевны, можно было усмотреть определенную преемственность. Оленька обладала такими длинными ногами, что мужики на улице сворачивали шеи и сшибали фонарные столбы. Умна она не была, что, впрочем, для женщин и искусствоведов совсем не обязательно. Зато отличалась необычайной жизнерадостностью, какой только и может отличаться юная девушка, еще ни разу не оттасканная за роскошные черные кудри ни одной ревнивой женой. Глядя на нее, было трудно поверить в то, что ее курсовая работа именовалась «Миф в свете родовой травмы».

Нет ничего удивительного, что Гена потерял из-за нее всякое ощущение реальности и впервые за двадцать шесть лет дисциплинированного брака начал утрачивать элементарные навыки самосохранения. Нет, он все еще возвращался домой к семи часам и, жадно ужиная, скупо жаловался жене на боли в спине. Но перед сном, запершись в ванной и громко пустив воду, шептался с Оленькой по мобильному телефону. Все шло к катастрофе.

— Павлик! — взмолился он в один прекрасный день.

И Павлик сделал для друга невозможное. Во-первых, я искренне восхищался Геной и хотел ему помочь. Аристов — настоящий герой. Мужик С Большой Буквы. Во-вторых, Гена дружил с президентом «АЛКО-Банка» и активно хлопотал о большом кредите для меня. После скандала со столкнувшимися МИГАми я попал в глубокую финансовую прямую кишку. Триумф в Ле Бурже моих надежд не оправдал. Многочисленными заманчивыми предложениями я попросту не успел воспользоваться: они исчезли в тот самый момент, когда стало известно о внезапной отставке Второго Любимого Помощника. Владимира Георгиевича погнали со всех постов, в результате чего я остался без кредитов и государственной поддержки. А любые приличные состояния в России — это всего-навсего невозвращенные кредиты, ибо любой возвращенный кредит — это всего лишь вовремя добытый новый кредит. Вот, в общем-то, и вся алгебра бизнеса, она же и высшая математика... Тот, кто вовремя не успевает продлить эту цепочку, оказывается лишним на празднике жизни. Его просто выбрасывают за борт акулам, потому что на нашем пьяном заблудившемся корабле осталась всего одна бочка солонины. Когда покажется земля, неизвестно, а жрать хотят все. Короче, чтобы порадовать Гену и выцыганить новый кредит, мне надо было потратиться.

Я договорился с Сергеем Таратутой, представлявшим интересы «Аэрофонда» в Америке, а тот, в свою очередь, напил до бесчувствия вице-президента Национального общества ветеранов авиации «Икарус» мистера Джоуля, и тот прислал Генке на официальном бланке письмо, которое в переводе выглядело примерно так:

Уважаемый мистер Аристофф!

Имею честь пригласить Вас принять участие в международной научной конференции «Авиация и космонавтика — путь к согласию», которая со-

стоится в г. Майами ( штат Флорида) с 15 по 25 августа с.г. Были бы рады услышать от вас доклад на тему «Русско-американские авиационные связи в период Первой мировой войны (1914-1918 ).»

Перелет, проживание в гостинице и гонорар за счет Общества.

С уважением бригадный генерал Френсис С. Джоуль.

Всю почту в семье Аристовых вскрывала Галина Дорофеевна, и это приглашение, как и задумывалось, попало прямо ей в руки. Она без промедления на всякий случай отдала на экспертизу письмо своей приятельнице, работавшей в российско-американской фирме. Та тщательно исследовала бумагу, подтвердила ее подлинность и даже успокоила встревоженную подругу, объяснив, что на подобные конференции с женами почти никогда не приглашают, так как заокеанцы — патологические жмоты, в чем она сама уже не раз убеждалась, работая в совместной фирме. Выяснив все эти обстоятельства, Галина Дорофеевна дала на командировку добро, а в качестве отступного приказала привезти из Штатов кожаный брючный костюм, как у подруги. Но Гена, согласно разработанному мной плану, начал отказываться:

— Я доклады делать не умею. Не-е, не полечу!

— Лети! А доклад тебе пусть Шарманов пишет, раз уж ты с ним столько возишься...

— Неудобно как-то... — возразил Гена, уже несколько переигрывая.

— Неудобно! Знаешь, что неудобно?

— Знаю, — тут же согласился он, не дожидаясь конкретики.

Мой план удался гениально — и мы могли лететь в Майами, где в это время года никаких конференций не проводилось сроду. Майами, честно говоря, выбрал я сам. Океан! Пальмы! Но главное, там имела маленькая частная школа воздушной акробатики, а воздушная стихия тянула меня в ту пору куда сильнее, чем водная. К тому же, в Майами любят проводить каникулы американские студентки, которые перед тем, как стать образцовыми женами и матерями, жадно познают мир с помощью безопасного секса. В общем, океан и море американского разврата. Понятное дело, лететь туда я собирался один. Во-первых, никогда не мешает лишний раз убедиться в том, что лучше твоей любимой нет никого, даже в Америке. Во-вторых, я не хотел, чтобы Катерина почувствовала себя прощенной окончательно и бесповоротно.

Катерина наблюдала за моими сборами с покорностью давно забытой султаном гаремной горемыки, и только однажды молвила, смахнув слезу и дронув подбородком:

— Ты будешь прыгать?

— А как же!

— Без меня?

— Без тебя.

— Неужели ты думаешь, что с кем-нибудь тебе будет лучше, чем со мной?

Она, мерзавка, знала, что говорила.

Полгода спустя после истории с Гошей и Тенгизиком, Катька без вызова вошла в мой кабинет и тихо сказала:

— Сегодня я прыгнула с парашютом.

— Что-о?

Я перевидал многих парашотисток. Королевы аэроклубов имеют в душе какую-то железяку, как и спортсменки. Такие женщины прыгают с парашютом примерно за тем же, зачем другие накачивают себе бицепсы с голову годовалого ребенка и, натертые маслом, демонстрируют их ревущим от восторга мужикам. А вот зачем понадобилось это Катерине, нежной, как тюльпан, выращенный из луковицы в городской квартире?

— Я же люблю тебя, глупый! Я просто хотела тебя лучше понять!

— Поняла?

— О да!

Потом мы не раз прыгали с ней вместе на Тушинском аэродроме — и я понял, что такое настоящее упоение. Какой там наркотик! Ужас, который переживает человек, покидая самолет, откуда город кажется грудой спичечных коробков, невозможно передать. Не надо никаких искусственных галлюцинаций. Ты паришь в полуневесомости над землей, управляя своим телом, как птица, но в конце полета наступает миг смертельной опасности. Ты дергаешь на заданной высоте кольцо своего парашюта — и... Это в предполетных инструкциях все просто: не раскрылся основной парашют, режь стропы и, дождавшись отделения ставшего бесполезной тряпкой большого колокола, дергай кольцо запасного. Но при этом не стоит забывать, что ты несешься навстречу земле со скоростью примерно такой же, с какой сейчас хреначит наш поезд, — и километр высоты съедается за 20 секунд. В случае затяжного прыжка принудительное раскрытие парашюта срабатывает лишь в пятистах метрах от гостеприимной поверхности, и если с ним что-то случится — у тебя десять секунд на всю возню с ножом, стропами и кольцом... А ведь надо еще помолиться перед смертью! И пусть тебе не рассказывают разные байки про чудесные приземления на провода, сугробы и машины с матрацами. Человек гораздо тяжелее воздуха. Бац — и нету! Но зато после нескольких мгновений, наполненных ужасом ожидания, ты испытываешь восторг, когда наконец надежно повисаешь на туго натянутых стропах спасительно распахнувшегося над тобой парашюта.

Раньше я прыгал два раза в год, чтобы подтвердить свою квалификацию летчика. Но с тех пор... Не знаю, что происходит в организме человека под влиянием страха смерти. Когда опасность позади, на тебя нападает страшное вожделение, настоящее остервенение! Если Катерина не враг, с ней происходило то же самое! Она обезумевала.

— Хорошо! — согласился я, заглянув в покорные Катюшкины глаза. — Летишь со мной. Но учти: Гена мне очень нужен, и если...

— Ну, что ты, Зайчуган, я же теперь стала совсем другой! — сказала она и расплакалась от счастья. — Разве ты не видишь?

## 14. *Испорченный отдых*

Летели мы, конечно, разными рейсами. Гена был этапирован Галиной Дорофеевной до самого паспортного контроля. В одной руке он держал чемодан, еще задолго до таможни проверенный на предмет разных подозрительных излишеств. В другой руке нес «дипломат» с бритвенными принад-

лежностями и машинописными страничками доклада о связях американской и русской авиации в годы первой мировой войны.

Далее Гена получил последние предполетные инструкции и принял в щеку в качестве серьезного предостережения прощальный поцелуй. В самолет Аристов вошел с тем чувством, с каким обычно люди выходят из морга. Но радовался он рано: в тот момент, когда все расселись и стюардессы, щелкая калькуляторами, начали считать головы, в салон, тщетно удерживаемая пограничником, вторглась Галина Дорофеевна.

— Дорогой, ты забыл свой доклад! — сказала она, тщательно осматривая пассажиров, сидевших рядом с Геной.

Герою, как всегда, просто повезло. Слева от него расположилась пожилая еврейка, уже успевшая всем рассказать, что летит на торжественное обрезание своего внука. В тот момент, когда появилась Галина Дорофеевна, она подробно объясняла, почему отказалась вместе с детьми переезжать в Америку, а решила все-таки умереть в России. Справа от докладчика покоился хорошо одетый гражданин, умудрившийся в шереметьевском баре напровозжаться до полной неподвижности. Благожелательно оценив обстановку, Галина Дорофеевна протянула мужу еще один экземпляр доклада и удалилась, послав на прощание тяжелый воздушный поцелуй.

Но я обо всем этом тогда еще ничего не знал, потому что уже подлетал к Майами. Девушки за время полета подружились, точнее, Катерина успела втереться в полное Оленькино доверие: такого умения понравиться мгновенно любому человеку, даже женщине, мне больше встречать не доводилось. Я успел отбить несколько покушений на Оленьку со стороны двух назойливых кавказцев и одного деликатного кубинца. К Катерине, кстати, если она этого не хотела, никто никогда не привязывался. Для этого у нее было особое выражение лица — насмешливо-презрительное.

Я давал сравнительные характеристики Боинга-77 и Ил-86, когда Катерина неожиданно схватила пальцами за виски.

— Тебе плохо? — участливо спросил я.

— Нет, мне хорошо, но пусть стюардесса принесет что-нибудь обезболивающее!

— Ты, наверное, простудилась?

— Хуже, — вздохнула она.

— Но хуже может быть только...

— Да, — скорбно кивнула она...

— Ты ждешь ребенка? — с ужасом поинтересовалась Оленька.

— У меня уже есть ребенок, — ответила Катерина и погладила меня по головке. — Просто эту неделю я буду немножко не в форме... Прости, Зайчуган!

— Ваш аспирин! — сказала стюардесса, прилежно улыбаясь.

Катерина проглотила таблетку и выпила воду, а я наивно полагал, что внезапно выяснившаяся Катькина нетрудоспособность — всего лишь досадное совпадение. Мне оставалось только обиженно смотреть в окно...

Мы остановились в отеле «Олений пляж», специально выбрав четырехзвездочный, чтобы оградить себя от соотечественников, обычно транжирящих уворованную ими часть национального достояния непременно в пятизвездочных отелях. Гостиница оказалась вполне приличной, с

уютными номерами и огромным бассейном. Мы поселились в двух люках, соединявшихся дверью, на всякий случай запертой на ключ. Первое, что сделал появившийся к вечеру Гена — это рассказал мне, как тяжело и с какими осложнениями прошли проводы. Второе — запретил Ольеньку под страхом смерти снимать телефонную трубку. Кроме того, ей были даны инструкции и на тот случай, если в номер ворвется полная женщина с сурово насупленными бровями: опытный Аристов просчитывал любые, даже нештатные ситуации. В этом варианте Ольенька должна была по-английски объяснить, что, будучи обыкновенной горничной, просто убирает номер.

Начался отдых. По утрам мы лежали в шезлонгах под ласковым солнцем, выделяясь на общем загорелом фоне беззащитной северной белизной. Между бултыханиями в бассейне Ольенька читала книжку «К семиотической теории карнавала как инверсии двоичных противопоставлений».

— Ничего не понимаю, — пожал плечами Гена, полистав книжку.

— А ничего и не надо понимать, — объяснил я. — Эти ребята просто заметили, что под непонятное спонсоры легче дают деньги. Чем заковыристее, тем вероятнее, что кто-нибудь раскошелится. Я сам однажды сдуру отвалил десять тысяч за перевод Бродского на узелковое письмо. Видел, у меня в кабинете висит хреновина вроде перепутанного мотка лески?

— Видел.

— Бродский... «Письма с Понта»!

— Смешно сказал. А ты думаешь, Ольенька в этом что-нибудь понимает? — Гена показал на книжку.

— Это тоже неважно. Женщина, перед сном читающая про инверсию двоичного противопоставления, в сексуальном смысле гораздо завлекательнее, чем читающая Маринину. Разве не так?

— Я как-то об этом не думал.

Гена был счастлив. С помощью плавания, секса и продолжительного сна на чистом морском воздухе он собирался выдать накопившуюся за год смертельную усталость и отдохнуть от строгого ошейника Галины Дорофеевны. Иногда под настроение Аристов вспоминал какую-нибудь смешную историю из своей богатой летной практики. Или, сосредоточившись, пытался наговаривать в диктофон инструкции для оставшихся в Москве курсантов.

...Гена милостиво согласился оценить меня как летчика. Мы с ним прокувыркались в воздухе больше часа. Наша «Сесна» редела на выходе из пике, зависала с заглушенным мотором в «колоколе», юлой вертелась в каскаде «бочек». От перегрузок темнело в глазах, пот не только пропитал рубашку и летный костюм, но даже тяжелыми каплями метался по кабине. За хороший полет пилот худеет на несколько килограммов. Наш полет был не просто хорошим, а еще и затяжным. Потерпев немного мои ученические выкрутасы, Гена решил вспомнить молодость — он один из немногих летчиков, которые могут долго держать перегрузки. На вводе в петлю и на виражах я терял сознание и приходил в себя лишь через несколько секунд. Такие полеты — какой-то особенный мужской мазохизм. Но как приятно после них сознавать, что ты все преодолел и смог вернуться на землю!



Именно в поисках этой сиюминутной чистоты посреди нашей задреманной жизни я и пришел в авиационный бизнес, который не менее опасен, чем испытательный полет. Я выбрал небо!

...Приземлившись, мы с Генкой, прежде чем поручить в отель на арендованном фордике, зашли к толстому, как бочка, Брайену, хозяину аэроклуба, и расплатились. Брайен когда-то был асом, но потом на нервной почве у него что-то случилось с обменом веществ — и его разнесло. Он обещал мне организовать прыжки с парашютом, и я на своем неандертальском английском заинтересовался, как обстоят с этим дела. Брайен стал подробно объяснять. Но гораздо больше информации мне удалось почерпнуть из его мимики и жестов, чем из рычащей скороговорки. Впрочем, я и сам уже знал, что прыгнуть в Штатах с парашютом не так-то просто. Во-первых, у нас с Катькой не было специальной страховки. Во-вторых, в Америке очень трудно отыскать удобное и безопасное место, особенно на Южном побережье, где сетка воздушных эшелонов и коридоров на карте выглядит как густая, почти без просветов паутина. Кроме тысяч магистральных лайнеров, американское небо наполняют миллионы частных самолетиков. Тарахтя пропеллерами, они несут своих хозяев на уик-энды, деловые встречи, к любовницам в соседние городишки, а то и просто на работу и обратно. Иногда они падают.

— Impossible! — закончил объяснения Брайен.

— Double price! — пообещал я.

— О. К! — кивнул хитрый американский боров.

Мы с Генкой сели в фордик и порулили к отелю. По сторонам тянулись аккуратные домики, такие, на вид, хрупкие, что казалось, целую улицу можно было снести вместе с пыльными пальмами одним броском городошной биты.

— Очень хочешь прыгнуть именно в Америке? — спросил после долгого молчания Гена.

— Очень!

— С Катериной?

— Ага!

— Ну-ну! — кивнул он с пониманием.

— А ты с Оленькой не хочешь?

— Нет... — вздохнул Аристов.

После неудачного катапультирования во время тренировочного полета Аристову пришлось перейти на преподавательскую работу. Его межпозвоночные диски, должно быть, напоминали расплюснутые пятаки, которые в детстве мы бросали на трамвайные рельсы. Врачи так и сказали: "Можете, конечно, Геннадий Сергеевич, прыгать, но сначала купите себе инвалидную коляску!" Так что на боль в спине он Галине Дорофеевне не зря жаловался.

Когда мы сидели в номере, отдыхая после полета, зазвонил телефон.

— Одь, возьми трубку! — лениво попросила Катька.

Забыв про все инструкции, Оленька схватила трубку.

— Алло! Нет, Геннадий Сергеевич подойти не может... Он немного нездоров. Перезвоните позже... Я? Я — Оленька... А вы кто?

— Кто это? — взревел Гена, вскакивая с дивана и чуя неладное.  
— Какая-то Галина Дорофеевна!  
— Ой, прости, Зайчуган! — притворно испугалась Катька. — Я нечаянно...

И хотя Галина Дорофеевна даже на сверхзвуковом истребителе могла очутиться в Майами не раньше, чем через четыре часа, уже через двадцать минут срочно вызванное такси увозило рыдающую Оленьку в международный аэропорт.

На следующий день провожали Гену.

— Спасибо за отдых! — буркнул он.

— Жаль, что так вышло... — проблеял я, чувствуя, как кредит "АЛКО-банка" подергивается туманом неизвестности.

— Да ладно... Как ты думаешь, почему Галина Дорофеевна не перезвонила?

— А почему ты ей не перезвонил?

— А что я ей скажу? Не умею я врать...

— Скажешь: это была официальная переводчица конференции.

— Думаешь, поверит?

— Если любит, поверит!

— А Катька? — вдруг забеспокоился он. — Она же нарочно... Она ведь все может — позвонить Галине Дорофеевне или даже факс прислать... Ты мне сам рассказывал!

— Не волнуйся, при первой же попытке я удавлю ее телефонным проводом!

— Смотри! Она же настоящая стерва. Бросил бы ты ее!

— Ты еще до Москвы не долетишь, а я ее брошу!

— Слушай, а с чего начать... Галине Дорофеевне?

— Начни с выполнения супружеского долга! Прямо в прихожей!

— Смешно сказал, — улыбнулся Гена и у меня снова появились надежда вырвать кредит у "АЛКО-банка".

...Катерину я застал в номере. Она сидела на диване и накручивала телефонный диск. Я вырвал у нее аппарат и прошипел:

— Если позвонишь Аристову домой и не дай Бог что-нибудь скажешь его жене, тебе конец. В прошлом году здесь акула сожрала девицу. Во всяком случае, ни ее, ни акулу так и не нашли. Поняла?

— Поняла, — ответила Екатерина и улыбнулась. — Как скажешь, Зайчуган...

— Спим в разных комнатах! — приказал я. — Ты уволена.

— Как скажешь, Зайчуган...

## 15. Кукуруза

Внизу засигналили. Я выглянул в окно: в открытом джипе сидел легкий на помине Брайен с двумя молодыми парнями. Он приветливо помахал мне огромной волосатой, похожей на кабаньей окорок рукой. Два раздвинутых толстых пальца могли означать с одинаковой вероятностью и викторию, и обещанную ему двойную цену.

Парней в джипе звали Грант и Стив, им было лет по двадцать пять. Первый, темноволосый, оказался пилотом, второй, рыжий, — инструктором по парашютной акробатике. У обоих были мужественные скуластые лица салунных драчунов периода завоевания Дикого Запада. Я подумал о том, что американки во время беременности, наверное, смотрят по телевизору слишком много вестернов — и дети рождаются похожими на одних и тех же кинозвезд. У нас, в России, скоро все дети будут похожи на Пугачеву с Киркоровым.

Я сел рядом с Брайеном, а Катерина устроилась на заднем сиденье между парнями. Мы помчались на аэродром, предупредительно останавливаясь перед каждым пешим ротозеем, вознамерившимся пересечь улицу.

— Where is Gena? — спросил Брайен.

— In Moscow, — ответил я.

— Why?

— Business, — объяснил я.

— I see! — С пониманием кивнул он.

Рассказывать правду было бессмысленно — Брайен ни за что не поверил бы.

Катерина всю дорогу весело болтала с рыжим Стивом на кашеобразном английском, мне совершенно не понятном, хохотала, щупала его мускулы и показывала свои. Казалось, они знакомы много лет — что-то вроде любовников, расставшихся друзьями, а теперь вот встретившихся. Грант участия в разговоре не принимал, он жевал резинку в суровой задумчивости. Вообще, американцы подарили человечеству новый способ выражения своих чувств и мыслей — с помощью жующих резинку челюстей. Наверное, есть такие, которые вообще никогда не говорят, а общаются исключительно чмокая, чавкая, убыстряя или замедляя шевеление челюстей, а в особых случаях, выщелкивая изо рта резиновый пузырь.

На аэродроме нас уже ждала заправленная “Сесна” — одномоторный спортивный самолет, разноцветный, как майка спортивного фаната. В багажнике джипа оказались три сине-оранжевых парашюта и большая сумка со снаряжением. К каждому парашюту с помощью липучек были параллельно прикреплены по две таблички. На верхней табличке значилось имя того, кто прыгает, а на нижней того, кто укладывал парашют. Выглядело это так:

-----  
Mr Sharmanoff  
Stiv B. Welles

-----  
Mss Sharmanoff  
Stiv B. Welles

-----  
Stiv B. Welles  
Stiv B. Welles

Катка со смехом показала свою табличку и задала Стиву игривый вопрос, оттенков которого я со своим дубовым английским не понял, но общий смысл все-таки уловил. Речь шла о том, в каком положении тот

предпочитает заниматься сексом. Мне даже показалось, что эти слова она специально произнесла помедленнее, чтобы понял и я тоже. Стив покраснел так, что лицо его стало багровым, а рыжие веснушки — фиолетовыми, потом он отодрал липучки и, демонстрируя свои пристрастия, поменял таблички местами. Все засмеялись, а Грант жизнерадостно захлюпал жвачкой. Катерина же под общий хохот вернула липучки в исходное положение. Она не врала, она и в самом деле любила поверховодить.

Первым моим желанием было отхлестать ее тут же, на глазах у всех по лицу, запахнуть в джип к Брайену и предупредить, чтобы к моему возвращению духу ее в отеле не было! Я бы, конечно, так и сделал, но удержался, потому что понимал: все это в последний раз. И ради последнего прыжка можно потерпеть, а потом ищи себе другого Зайчугана!

Парни перенесли парашюты в самолет. Грант уселся в кабине, а мы — в салоне, на укрепленных вдоль корпуса скамьях. Мотор заработал — и весь корпус мелко задрожал. Самолет заревел и медленно покатился к взлетной полосе. Брайен, радостно улыбаясь, махал нам мохнатой лапой.

Самолет почти незаметно оторвался от взлетной полосы, потом резко лег на правое крыло. Катька, чтобы сохранить равновесие схватила Стива за шею и не отпускала до тех пор, пока самолет не набрал высоту. Они продолжали весело болтать, из-за шума буквально всовывая губы в ухо друг другу. На Катькином лице появилось проклятое выражение хищного восторга. Я дал себе слово по возвращении домой серьезно заняться английским.

Летели мы больше часа и приземлились, когда кровенеющее солнце уже садилось. Найденный Брайеном аэродромчик располагался на краю огромного кукурузного поля. Тут же стояла казарма, сложенная из желтых панелей-сэндвичей и покрытая темно-красной пластиковой черепицей. Как объяснил Стив (а Катька перевела), здесь два раза в год проходят сборы слушателей летных академий, но все остальное время казарма пустует. Никакой охраны я не обнаружил. Это надо так народ выдрессировать — у нас бы давно растащили на садовые домики!

Я направился к зарослям кукурузы.

— Эй, Зайчуган, — крикнула Катерина. — Далеко не отходи — в кукурузе водятся монстры! Они едят русских ребят!

Она тут же перевела эти слова американцам, Стив радостно заржал, а Грант в подтверждение сделал страшные глаза и выпустил изо рта большой розовый пузырь. Он как раз устанавливал на траве маленькую переносную жаровню, а Стив освободил от полиэтиленовой упаковки специально купленные в супермаркете аккуратно наколотые полешки. Барбекью входило в набор услуг, предлагаемых фирмой Брайена.

Мы поели жареной на углях свинины, выпили несколько банок пива за российско-американскую дружбу. Впрочем, как я понял, Стиву и Гранту эта дружба была абсолютно по барабану. Они, надо полагать, убеждены, что Москва находится где-то в Сибири, что Сталин — современник Чингиз-Хана, а вторую мировую войну Штаты выиграли в союзе с Израилем. России же — это я так считаю — ни одна дружба еще не принесла ничего, кроме неприятностей.

Не доев вишневый пирог, Катерина шепнула что-то на ухо Стиву, тот понимающе хмыкнул и повел ее к казарме.

— Это все пиво! — сообщила она мне перед тем, как уйти.

Я остался один. Грант, не вынимавший изо рта жвачку даже во время еды, был не в счет. Глядя на умирающее мерцание углей в жаровне, я думал о том, что если бы живую женщину можно было превратить в резиновую секс-куклу, то я бы возил Катьку с собой повсюду в специальном чемоданчике и вынимал только, когда понадобится. Нет, я бы с ней и разговаривал тоже, она бы мне, как и прежде помогала в делах, но едва в ее усмешке появлялась бы чуть заметная стертоточинка — я бы мгновенно сдувал Катьку и убирал в чемодан... До новых встреч! И все было бы прекрасно: она всегда была бы со мной, но мои самолеты не сталкивались бы в воздухе, а гоши и тенгизики не раскручивали бы меня на невольные бабки...

— Там есть телефон? — показывая пальцем на казарму, тихо спросил я.

Грант утвердительно пискнул жвачкой.

У дверей казармы, как часовой, стоял Стив и, чтобы развлечься, подбрасывал вверх пустую пивную банку, настигая ее в полете метким плевком. Увидав меня, запыхавшегося, он самодовольно ухмыльнулся в том смысле, что настоящие парни (естественно, речь идет о заокеанцах) не выказывают свою ревность столь явно, а переносят ее мужественно, — играя желваками и насыщаясь неразбавленным виски, как клопы. «Если бы ты, ковбой недоделанный, столько выжрал виски, сколько мне пришлось выхлебать водки из-за Катьки, тебя давно бы уже звездно-полосатые черты уволокли!» — мысленно ответил я и рявкнул:

— Где она? Where?

— She is calling to Moscow! — ответил он.

В помещении, которое в наших казармах называется «дежуркой», горел свет. Катерина, стоя спиной к двери, действительно говорила по телефону, и голос ее отчетливо был слышен сквозь стеклянную перегородку.

— ...Нет. Не волнуйся, Зайчуган! Завтра все кончится... И я прилечу...

«Та-а-а... Ну, поскольку “зайчуганы” размножаются исключительно половым путем, вряд ли она говорит с Галиной Дорофеевной, — судорожно анализировал я. — Неужели Генка? Неужели и героя успела зацепить?»

— ...Ладно-ладно. Я тоже очень-очень! Пока!.. — она положила трубку, обернулась и отпрянула:

— Ой, Зайчуган! Ты меня напугал... А я смотрю — тут телефон...

— Не много ли зайчуганов развелось?

— А что?

— Кому ты звонила?

— Мне есть, кому позвонить.

— Кому?

— Это не твое дело!

— Аристову? Говори! В Америке бесплатно ничего не бывает. Счет за звонок все равно придет к Брайену — и я узнаю, кому ты звонила. Говори!

— В банк.

— В какой еще банк?  
— Это не важно...  
— Я все равно узнаю. В счете будет номер телефона. В какой банк?  
— В «Лосиноостровский»...  
— Зачем?  
— Меня берут туда на работу. Я договаривалась...  
— С кем договаривалась? С сопленышем Летуевым?  
— Да. Но ведь ты же меня выгоняешь...  
— Ладно, — сказал я. — Устраивайся, как знаешь... Но если ты снова сунешься к моим деньгам...

— Ну что ты, Зайчуган, — улыбнулась она. — Я все понимаю с первого раза! Пойдем спать — завтра у нас трудный день...

— Почему трудный?

— Потому что последний... Принеси мою куртку — она возле самолета.

На поле огромным черным парашютом опускалась душная южная ночь. Наша «Сесна», похожая на выросшую до невероятных размеров саранчу, одиноко стояла на светлеющей в сумраке бетонной полосе. Заросли кукурузы превратились в темную, непроницаемо шелестящую стену.

В длинной гулкой казарме было около полусотни двухъярусных коек. Возле некоторых остались прилепленные к стене жевательными катышками цветные журнальные развороты с блондинисто-грудастыми красотками.

Стив и Грант, чтобы не стеснять нас, ушли в другой конец казармы. Катерина взяла у меня куртку и, не раздеваясь — в джинсах и футболке, — полезла на второй ярус.

— Иногда так хочется побыть наверху! — улыбнулась она.

Да уж! В мустанга и амазонку мы с ней поиграли вдосталь. А может, сделать красивый жест: после прыжка легко поцеловать ее в щеку и подарить Стиву?

Нет, не подарю!

## 16. Выбор смерти

Мне приснилось, что мы с Катериной в самолете. Лежим совершенно голые на распрошеном и скомканном в мягкую перину парашютном шелке. «Сесна» летит, но куда и кто ею управляет — неизвестно.

— Давай поиграем в Человека и Смерть! — вдруг предлагает Катерина.

— А как это? — спрашиваю я.

— Очень просто. Ты задумываешь, какой смертью хотел бы умереть. Если я угадываю — ты умираешь!

— А если не угадываешь?

— Тогда умираю я.

— Но ведь ты же Смерть!

— Ну и что! Смерть — это такая особая форма жизни. Она питается человеческими смертями и, если не получает вовремя пищу, погибает от голода... Понял, Зайчуган? Ну вот и хорошо. А теперь загадывай!

Я зажмурился, чтобы сосредоточиться и получше загадать свою смерть. Когда я открыл глаза, не было никакой шелковой перины, не бы-

ло самолета. Была темная, чуть подсвеченная луной казарма. За окном совсем по-кримски свистели цикады.

Ну и сон! А и в самом деле, какую смерть я выбрал, если бы не проснулся? Я стал думать. Два раза я был на краю гибели. Первый раз это случилось во время Большого Наезда...

Три человека вошли в мой кабинет без всякого предупреждения, отшвырнув секретаршу. Двое — в строгих, немного старомодных костюмах — напоминали бухгалтеров. Третий, чеченистого вида, был одет в черную кожаную куртку. Через открытую дверь я увидел, как еще два таких же кавказских чернокурточника приставили стволы к животу беспомощно набывшегося Толика. Дверь закрылась.

— Здравствуйте, — вежливо заговорил один из бухгалтеров. — Извините за вторжение, но некоторые обстоятельства вынудили прибегнуть к действиям, для нас совершенно не характерным...

— Какие такие обстоятельства? — спросил я, стараясь не показывать испуг.

— Вы очень подвели наших друзей. Понимаете, кредиты берут для того, чтобы их возвращать. Вы согласны?

— Согласен.

— Вот, наши друзья и попросили с вами поговорить. По-товарищески. Вы поступаете очень нехорошо, ведь эти деньги из сбербанка, а вы, я надеюсь, знаете, кто держит деньги в сбербанке? Пенсионеры, ветераны войны... Беззащитные старики. У вас живы родители?

— Живы.

— Вот видите! Даже странно, что с человеком, занимающимся авиацией, бизнесом высокоинтеллектуальным, нам приходится вести такие... странные разговоры!

Второй бухгалтер сидел молча, тонко улыбался и неотрывно глядел мне в глаза. Чеченистый с удивлением разглядывал полки, набитые книгами, и модели самолетов.

— Ты чей? — вдруг спросил он.

— В каком смысле?

— Крыша у тебя есть?

— Крыша есть у любого нормального человека... И если она едет, ничего хорошего из этого не получается.

— Что? Ты умный? Книжки читаешь? Сейчас будешь свои мозги с книжек собирать! — Чеченистый сунул руку под куртку. — Тебя перепаснули, ты понял?

— Погоди, — поморщился разговорчивый бухгалтер, переглянувшись с молчаливым. — Я бы вам очень советовал, Павел Николаевич, поскорее вернуть долг нашим друзьям. Они устали ждать. Если хотите, мы поможем, но тогда вам придется в дальнейшем согласиться на наше участие в вашем бизнесе. Самолетами мы давно интересуемся...

— Спасибо, но я в помощи не нуждаюсь.

— Не торопитесь. Подумайте, посоветуйтесь... Позвоните своим друзьям.

— Я в помощи не нуждаюсь! — как можно тверже повторил я.

— Смелый, да? Ты что, под ментами ходишь? — снова встрял чеченистый.

— Погоди, — остановил его разговорчивый бухгалтер. — Коллега немного разгорячился, но смешного в том, что мы говорим, ничего нет...

— Я вовсе не смеюсь. Я просто подумал, если записать наш разговор на пленку, то получится детективный спектакль...

— К сожалению, в эфире сейчас столько детективов, что взыскательный радиослушатель ваш спектакль просто не заметит!

— Как знать...

— Как знать, как не знать! — заорал чеченистый. — Мы знаем, где ты живешь, и семью твою всю знаем!

— Разговор закончен, — твердо сказал я. — И дальше вы будете беседовать с моей крышей. До свидания!

— У тебя нет больше крыши, — вдруг заговорил молчаливый бухгалтер. — Тебя сдали. Счетчик включен. Деньги через неделю в это же время.

И они вышли из кабинета. Я сделал всего один звонок и выяснил, что меня, действительно, сдали... Чтобы развязать себе руки, жену с Ксюхой я в тот же день отправил на Майорку. Но очень скоро понял, что сопровитвляться бессмысленно: спасти меня могли только деньги, а их-то как раз и не было. Сотрудников я распустил на рождественские каникулы. Со мной еще некоторое время оставался один Толик, но и его я отправил домой — зачем лишать жену мужа, а детей отца. Бежать не имело смысла. Какая разница, прикончат тебя в собственном кабинете или за окружной дорогой. Гораздо достойнее сидеть с простреленной башкой в пятисотдолларовом шеф-кресле, чем лежать, уткнувшись носом в сугроб.

Трубку я не снимал. Выслушивать поздравления с Рождеством и пожелания здоровья, если остается жить несколько дней, — невыносимо! Почему я снял трубку, когда раздался тот звонок, до сих пор не могу понять. Это был один парень из Белого Дома. Он сообщил, что подписан указ и выделены средства для целевой поддержки отечественного наукоемкого предпринимательства:

— И я сразу почему-то подумал о тебе!

Обо мне он подумал, потому что за одно бюджетное вливание уже получил от меня без звука двадцать процентов и построил себе виллу с бассейном. Я был надежный. Поэтому остался жив... А парень из Белого Дома и стал моей новой крышей взамен той, которая протекла... Но и его недавно отстрелили. Это дешевле, чем отдавать двадцать процентов.

...Из-за стен казармы донесся странный звук — металлическое клацанье. Я прислушался. Но звук больше не повторился. На другом конце казармы Грант даже во сне чавкал своей жвачкой.

«Нет, подумал я, быть убитым в разборке — плохая смерть. Я бы ее никогда не выбрал!»

Второй раз я чуть не погиб в полете.

Когда я выполнял проход над полосой на высоте всего лишь пятнадцать метров, фонарь кабины буквально лопнул от сильнейшего удара, а по растрескавшемуся плексигласу в передней полусфере плотным слоем разлилась кровь. Я дал газ и рванул ручку на себя — самолет свечкой взмыл вверх, набирая спазматические метры. Кровь меня испугала настолько, что я даже не сразу обратил внимание на обилие пуха и перьев.



А ведь в летной школе нам даже фильм показывали. Из пневмопушки выстреливают оципанную тушку утки, купленной в универсаме, — и бронестекло толщиной в три-четыре сантиметра, словно резина прогибается метра на полтора и затем как отпущенная тетива возвращается на место, долго еще вибрируя. Но на легких самолетах установить такое толстое стекло нельзя — оно будет тяжелее всей машины. Поэтому если столкновение с ласточкой — это только легкий испуг, — встреча, например, с вороной, смертельно опасна. Хрясь — и все!

Именно ворону я и поймал в тот день. К счастью, она влетела в кабину немного сбоку и только скользнула по моему шлему, обрызгав кровью и разметав по кабине пух и перья, как из вспоротой перины тети Сони. Самолет я посадил просто чудом...

Нет, это глупо и нелепо погибнуть из-за столкновения с пернатой сволочью! Не хочу!

...Снаружи снова донесся клацающий звук. И я понял: это захлопнулась дверь самолета. Значит, звук, который я слышал раньше, — это был звук открываемой двери. Я вскочил и заглянул на верхний ярус — Катерины не было. Первое, что я подумал: эта стерва не удержалась и решила откувыркаться со Стивом. В самолете удобнее всего — на поле уже пала роса, а она у нас такая комфортная девочка! Я нырнул в кровать и стал следить за дверью.

Наконец появилась Катька. Одна. Я закрыл глаза и притворился спящим. Я слышал, как она подошла ко мне, наклонилась и тихонько поцеловала в лоб — ощущение, словно села бабочка. Я старался дышать ровно и думал о том, что она могла делать в самолете. А что делаю я сам, когда не спится? Хожу по квартире и трогаю разные вещи, просто так беру и ставлю на место — книги, авторучки, фотографии в рамках...

Катерина повозилась наверху и затихла. А может, и в самом деле завтра, после прыжка поиграть с ней в Человека и Смерть. Человек, сплетающийся в любовной агонии с орущей от счастья Смертью, — в этом что-то есть...

И тут произошло то, чего не бывает никогда, по крайней мере, со мной еще никогда не было: я уснул — и вернулся в тот же самый сон. Я снова лежал на парашютном ворохе в салоне неведомо куда летящего самолета, и снова надо мной нависало темное лицо Катерины.

— Ну, Зайчуган, ты задумал?

— Можно еще минуту?

— Не больше!

— Можно тебя спросить? Если ты Смерть, ты должна знать!

— Спрашивай.

— Куда попадают люди после смерти?

— Конечно, на небо! — уверенно ответила она.

— На небо попадают праведники. А грешники?

— И грешники тоже — на небо. Просто есть два неба, совершенно одинаковых... Но на одном живут праведники, поэтому оно стало раем. А на втором живут грешники, поэтому оно стало адом, или небом падших. Все очень просто.

— А куда мы с тобой попадем после смерти?

— Конечно, на небо падших. Мы будем с тобой, взявшись за руки, падать в вечном затяжном прыжке. Мы будем знать, что обязательно разобьемся, но никогда не долетим до земли... Ты задумал свою смерть?

— Погоди...

И я решил: лучше всего погибнуть из-за нераскрывшегося парашюта. Вольный полет, завершающийся падением, в этом есть хоть какая-то логика.

— Задумал!

— Но только учти — перезадумывать нельзя!

— Я знаю.

Она внимательно и лукаво, словно ожидая подвоха, поглядела на меня, потом подняла глаза и долго смотрела в потолок, как школьница, пытающаяся у доски вспомнить не выученный урок. Наконец победно улыбнулась:

— Ты хочешь, чтобы тебя застрелили... В машине!

— Нет.

— Нет? — Ее лицо сморщилось и подурнело, как это бывает у женщин в момент страшного разочарования.

— А вот и нет — я хочу разбиться в затяжном прыжке!

— Хорошо, пусть будет по-твоему! — сказала она и заплакала.

— Не плачь! — попросил я и, пытаясь вытереть слезинки, коснулся ее щеки.

Щека оказалась твердой, плоской и занозистой. Я вскрикнул и проснулся. Наверное, я поранил палец о стену, об острый, как бритва, кусочек облупившейся краски. Но проснулся я не из-за этого. Проснулся потому, что понял: она хочет меня убить! И тогда все встает на свои места. Ее дурацкие выходки... после, казалось бы, полной и необратимой покорности. Она добилась своего — Аристов и Оленька уехали — нет лишних свидетелей, которые могли догадаться о ее замысле и помешать. А Стиву она морочила голову исключительно для того, чтобы отвлечь мое внимание. Отвлечь от чего? От подготовки убийства.

Я сел в кровати.

А зачем ей меня убивать? Вопрос глупый. Из-за денег. Не из-за ревности же! А как она получит мои деньги? Да очень просто. На счету в «Лосиноостровском» легальная половина моего капитала. Но и почти все нелегальные операции я провожу через них. Катя об этих операциях знает. Конечно, не все знает. Но если к этому добавить то, что знает ее новый Зайчуган, соплемыш Летув, это уже совсем неплохо. Электронные хитрости позволяют снять деньги с любого счета. Надо лишь входить в узкий круг банковских работников, посвященных в эти хитрости. И чем позже хватятся своих денег хозяин, тем больше их можно увести по запутанным лабиринтам мировой банковской электронной сети. С каким бы удовольствием я хранил свои деньги во рту, как Буратино, но для этого нужно иметь пасть кашалота...

А если хозяин их вообще не хватится?

Я позвал — сначала тихо:

— Катя?

Потом еще раз — громче. Она не отвечала.

Я встал, заглянул на второй ярус и некоторое время стоял вровень с ее улыбающе-спящим лицом.

Хорошо. Она хочет меня убить. Но как? Стива, что ли, нанять? Нет. Но она очень хотела прыгнуть со мной в последний раз. Стоп! Она очень хочет, чтобы я прыгнул вместе с ней! В последний раз...

Я тихонько вышел из казармы и направился к самолету. Луна и звезды ярко горели в небе и даже отражались в полированной поверхности "Сесны". Темный кукурузный лес тревожно затих. Но по неувимой свежести в воздухе можно было определить, что скоро уже утро. Кроссовки мгновенно напитались росой.

Я осторожно, почти беззвучно открыл дверь самолета. Затешил зажигалку и, пригибаясь, чтобы не задеть головой потолок, пошел в хвост. Парашюты лежали рядом — как трюйня на столе в роддоме.

А зачем ей, собственно говоря, вывести парашют очень легко — достаточно лишь вынуть шпильку, стягивающую купол — и вся недолга! Дергай кольцо, вопи от ужаса — бесполезно! Бесполезен и прибор принудительного раскрытия. Точно так же выводится из строя и запасной парашют. Но внешне при этом все выглядит абсолютно исправно. Чтобы убедиться в смертельной неисправности, надо раскрыть чехол, а значит, потом парашют придется переукладывать.

— Вот стерва! — восхищенно подумал я. — Неужели именно для этого она и научилась прыгать с парашютом? Неужели только для этого?

Я с треском отодрал липучки от своего и Катькиного чехла и поменял таблички местами.

— Полетай!

И вдруг мне стало стыдно. Не может этого быть! Ну лазила она ночью в самолет. Что с того? Я сам, когда только начинал, по сто раз перед прыжком парашют обглаживал. Ну, позвонила в банк. Надо же ей где-то работать. А может быть, она даже специально сделала так, чтобы я этот разговор услышал и передумал ее выгонять. Она же меня, как облупленного, изучила! Стоп. Но с другой стороны, если она не выдергивала шпильки, если ничего не затевает, если все это — плод моего паскудного воображения, то мы просто благополучно приземлимся, и я утащу ее подалее в кукурузы...

И мы посмеемся. На прощание. А может, и не на прощание...

Я пригладил липучки и пошел в казарму. Осторожно, стараясь не скрипеть, лег и тихо позвал:

— Кать?

Потом еще раз — погромче:

— Катерина?

— Что? — отозвалась она сонным голосом.

— Ты спишь?

— Сплю.

Отлично! Если бы притворялась, то ни за что бы не отозвалась.

В третий раз в тот же самый сон я, конечно, не вернулся.

## 17. Спадение

Пробуждение было радостным и легким. В окна ломились столбы утреннего света, и в них, точно в огромных пробирках, клубилась пыль, по-

ходя на мельчайшую юркую живность. Все, что случилось ночью, я, как говаривала моя бабушка, заснул и вспомнил, лишь обувая мокрые еще кроссовки. На тумбочке рядом с моей кроватью лежал аккуратно сложенный синий комбинезон из плотного материала.

Я сбегал в длинную гулкую умывалку, потом влез в комбинезон, зашнуровал тяжелые ботинки с высокими — чтобы не повредить щиколотки — голенищами и выскочил на улицу. Огромное, уже начавшее раскаляться солнце, стояло в эмалево-голубом, без единого облачка, небе. В отдалении — никчемная, как ломтик спитого лимона, умирала луна.

Грант поприветствовал меня ускоренным движением жующих челюстей, а Стив, затаенный в зеленый комбинезон, сказал “хай” и протянул пластмассовую, наподобие аэрофлотовских, упаковку с завтраком. На постеленной прямо поверх травы одноразовой скатерти уже валялось три опустошенных коробки.

— Где Катя? — спросил я, жуя завтрак.

— Одевается! — показал жестом Стив.

Грант тем временем налил мне из термоса большую кружку теплой коричневой бурды, которую заокеанцы почему-то называют «кофе». Ветчина, кстати, тоже была абсолютно безвкусной, точно своих свиней они выращивают на грядках, как тыквы.

Открылась дверь “Сесны”, и оттуда на землю спрыгнула Катерина. Альый комбинезон так убедительно облегал ее фигуру, что Грант издал жвачкой одобрителный щелчок, а у меня по всему телу прокатилась волна сладкой оторопи. Лицо у нее было отдохнувшее, да еще освеженное виртуозно наложенным макияжем. Я вдруг поймал себя на мысли, что за все три года наших отношений ни разу не видел ее без косметики. Когда я просыпался, Катька, обновленная, уже выходила из ванной с большой черной косметичкой, которую называла «этидником».

— Как ты спал, Зайчуган? — весело спросила она.

— Отлично.

— А я плохо. Бродила вокруг казармы. Даже познакомилась с одним кукурузным монстриком. Очень сексуальный мальчик!

— Как его звали?

— Кукурузя. Он эмигрант. С Украины...

Грант тем временем навел на нас видеокамеру: он должен был снимать северу весь наш затаенный прыжок.

— Наверное, это очень красиво! Буду на старости лет крутить кассету — и наслаждаться! Детям показывать... — усмехнулась Катька.

— А сколько у тебя будет детей? — просил я.

— Трое. Одна девочка и два мальчика.

— А я запишу на кассету то, что будет потом, после прыжка. Но детям показывать не буду...

— Почему бы нет! В последний раз все можно. А во что мы будем играть?

— В Человека и Смерть!

— Отлично! Мы никогда в это еще не играли. Ты умница, Зайчуган!

Мне стало стыдно. На фоне этого чистейшего неба, этого наливавшегося добрым зноем солнца все мои ночные подозрения вдруг показали себя чудовищным бредом.

— Let's go! — командовал Стив, подхватывая шлем.

...Самолет, натужно завывая, медленно «скреб высоту». Вдалеке, за аккуратно нарезанными полями показался океан — похожий на расплавленное светло-голубое стекло. Огромный пароход отсюда, сверху, напоминал крошечную водомерку.

— Я люблю тебя, Зайчуган, — перекрывая гул мотора, вдруг прокричала Катерина. — Улыбнись!

— Что-о?

— Хочу посмотреть на твои ямочки!

Я старательно улыбнулся.

— Спа-си-бо!

— Я тебя тоже люблю! Я тебя не отпущу! Никогда!

— Что-о?

— Ни-ко-гда! — громко повторил я.

И мы, смешно стукнувшись шлемами, попытались поцеловаться, но так и не смогли дотянуться друг до друга губами. Стив только покачал головой и отвернулся.

На потолке зажглась красная лампа, и это означало, что Грант набрал нужную высоту. Стив открыл дверь и чуть отшатнулся, ударенный в грудь потоком воздуха. Потом поднял указательный палец вверх и направил его на меня. Это означало — «ты первый». Затем сомкнул указательный со средним и указал на Катерину, — «ты вторая».

Сам Стив прыгал третьим. В воздухе мы должны были сблизиться и, взявшись за руки, образовать круг или, точнее, треугольник. Если бы участников любовных треугольников заставляли совершать акробатические прыжки с парашютами, подумал я, то количество измен в браке резко сократилось. Хотя остались бы, конечно, любители острых ощущений, вроде меня.

Далее, пролетев пару километров, мы по сигналу Стива должны были оттолкнуться друг от друга, разлететься на безопасное расстояние и дернуть — для красоты одновременно — за кольца наших парашютов. И все это Грант, если не подавится от восхищения своей резинкой, снимет видеокамерой!

— Пошел! — командовал я сам себе и вывалился в проем. Ударивший в лицо воздушный поток даже на такой высоте пах океаном. Я, с наслаждением расправив руки и ноги, распластался на воздухе, стараясь замедлить падение. Потом огляделся и увидел совсем близко от себя Катерину и Стива. Несколько мгновений им хватило, чтобы догнать меня.

Мы взялись за руки и понеслись вниз вместе. Казалось, земля не приближается, а падает вместе с нами. Ради вот этих нескольких десятков секунд свободного полета люди и рискуют своей единственной жизнью. Внизу виднелись крошечная, словно предназначенная для крылатых муравьев, взлетная полоса и игрушечная казарма. Стив отрицательно помотал шлемом, напоминая, что туда приземляться нельзя.

Я почувствовал, как Катерина сжала мою руку. Она улыбалась, но ее лицо, искаженное и смятое встречным потоком воздуха, было страшным.

И тут я все понял. Идиот! Она же меня выследила! Она всегда была умней меня! Она же передевалась в самолете и снова поменяла местами таблички. Она меня все-таки убила!

Я облился холодным потом, заполнившим изнутри весь комбинезон, и почувствовал себя трепыхающейся рыбой, которую в прозрачном пакете с водой тащат на сковородку...

Стив резко оттолкнулся от нас, давая понять, что пора раскрывать парашюты. Еще несколько мгновений мы летели с Катериной, намертво сцепившись. Наконец она с грубым, неженским усилием выдернула свою руку, помахала мне ладошкой и взялась за кольцо. Я, еще надеясь на чудо, сделал то же самое, но дернуть не решался. Летя вниз к своей смерти, я глядел на нее — женщину, убившую меня.

И тут произошло то, за что Стив будет корить себя всю жизнь. Увидев, как решительно мы схватились за кольца, он первым раскрыл парашют. По инструкции он обязан сделать это последним, убедившись, что у остальных все в порядке. Об этом ему должны были сказать вспыхнувшие над нами маленькие вытяжные купола. А если не все в порядке, он должен был, сгруппировавшись, догнать в воздухе гибнущего, крепко обхватить его и приземлиться вдвоем на одном парашюте. Это не всегда получается, но каждый инструктор обязан попытаться это сделать!

Я понял, что меня уже ничего не спасет, и дернул кольцо. Просто так — от безнадежности. Раздался хлопок, меня тряхнуло, и надо мной, как купол храма, взметнулся и расправился парашют, Катька же продолжала стремительно падать вниз — в руке ее было зажато красное кольцо, вырванное вместе с тросиком. На конце его болталась шпилька, похожая издали на иглу. Я никогда этого не забуду. Синее-пресинее небо, белое от ужаса солнце и маленькая красная фигурка, летящая вниз. Страшный Катькин крик был прерван встречей с землей...

— Сте-е-ерва! — заорал я, захлебываясь слезами.

Какая же ты, Катька, стерва! Из-за тебя я убил человека. Женщину, которую любил. Мне будет не хватать ее всю жизнь! Ненавижу тебя! Ненавижу навсегда...

## 18. Ленинградский вокзал

— Вставайте! Уже Крюково. Сейчас туалеты закрою! — На пороге купе стояла проводница. — Выспались?

— Со страшной силой!

Когда я вернулся с полотенцем через плечо, Павел Николаевич в свежей белой рубашке повязывал перед дверным зеркалом галстук.

— Никак не научусь. Раньше, знаете, выпускали такие с готовым узлом на резинке. Очень удобно. Ладно, Толик потом завяжет... Чайку!

— Не хочется. Кажется, мы за разговорами перебрали...

— Хлипкий же писатель пошел. Вы с классиков пример берите! Знаете, как Булгаков пил? А Эдгар По? Страшное дело!

— Толстой не пил.

— Под старость. А в молодости сосал, как помпа... А у вас с похмелья память не отшибает?

— Нет, слава Богу.

— Когда напишете повесть?

— Не знаю. Творчество дело такое...

— А вот этого не надо! В боковом кармане вашего пиджака аванс и моя визитная карточка. Через два месяца жду звонка. Остальные деньги получите, когда передадите мне рукопись. Сумму назовете сами.

— Мы, кажется, на “ты” переходили?

— Память у вас, действительно, хорошая. Но я до обеда со всеми на “вы”...

— Хорошо. Но вы мне не все рассказали.

— О чем?

— О том, что случилось потом. Ведь погиб человек... Полиция, расследование... Неужели никто вас ни о чем так и не спросил?

— Спросили, конечно... Но за деньги пишут не только повести, но и протоколы. И не только у нас, но и в Америке. Стива, беднягу, правда, лишили лицензии, но зато он купил новую машину. Грант тоже купил. Еще есть вопросы?

— Нет.

Мы помолчали. За окном тянулись унылые окраинные новостройки. Зашел Толик с сотовым телефоном.

— Пал Николаич, шоферу я позвонил — он уже ждет у перрона.

— Отлично! — сказал тот и кивнул на разбросанные вещи.

Толик стал собирать сумку.

— Будь другом, завяжи мне галстук!

Телохранитель оставил сумку и, как пианист, расправляя пальцы, повернулся к шефу.

— Неплохо, — похвалил Павел Николаевич, осматривая в зеркале узел. — Но у Катьки лучше получалось...

Толик помог ему надеть длиннополное пальто.

За окном уже показались привокзальные пакгаузы.

— Прощайте! — Павел Николаевич протянул мне руку, мягкую и холодную.

— До свидания. Но только ответьте еще на один вопрос — кассета у вас осталась?

— Какая кассета?

— Та, на которую снимал Грант. Сверху...

Он посмотрел на меня строгими глазами и перед тем, как выйти, сказал почти шепотом:

— Конечно. Она лежит в одном хорошем месте. Вашу повесть я положу рядом.

Он улыбнулся — и на его бледных от бессонной ночи щеках появились ямочки...

... Вернувшись в Москву, я сел за письменный стол.

Повесть была уже почти готова. Я буквально на днях собирался звонить Павлу Николаевичу, когда в телевизионных новостях сообщили об убийстве президента компании “Аэрофонд”. Шарманова расстреляли на Успенском шоссе. В “мерседесе” насчитали потом более тридцати пробоин. Он умер на месте, а шофер — по дороге в больницу. Телохранителя в тот день с ним не оказалось — тот взял отгул, чтобы запломбировать зубы.

О гибели моего попутчика поначалу много писали. Подозревали его жену, которая как раз в эти дни с дочерью и своим любовником-каскадером прилетела с Майорки в Москву. Потом вдруг арестовали Толика, и он чуть ли не во всем сознался. В «Московском комсомольце» опубликовали большую подробную статью под названием «Смерть Икара», и я узнал, что во время обыска в квартире у Шарманова обнаружили папку с компроматом на очень серьезных людей из Белого Дома, но затем документы исчезли при странных обстоятельствах. Еще нашли видеокассету, на которой был отснят групповой затыжной прыжок с парашютами. Но она оказалась наполовину испорченной, и запись обрывалась в том месте, где Шарманов и Катерина, взявшись за руки, летят вниз. В другой газете кто-то даже раскопал историю гибели в Америке шармановской секретарши...

Сначала я просто хотел сжечь рукопись, понимая, что вторгаюсь в достаточно опасную область человеческой деятельности. Но потом мне стало жалко. Я поменял по настоянию издателей все имена, географические и коммерческие названия. Для надежности сделал это несколько раз и в конце концов запутался, поэтому не могу исключить кое-какие случайные совпадения.

Честно сказать, я часто вспоминаю тот ночной разговор в «Красной стреле». Иногда, закрывая глаза, я даже вижу это небо падших, огромное, ядовито-ультрамариновое, заполненное миллионами человеческих фигурок, которые с воплями и зубовным скрежетом несутся куда-то вниз. Они знают, что обязательно разобьются, они страстно мечтают об этом, но никогда, никогда они не достигнут земли. Я пытаюсь найти среди них Зайчугана и Катерину, летящих, крепко взявшись за руки, — и не могу. Так во время осеннего перелета невозможно отыскать в небе двух выпущенных из клетки птиц...

*Переделкино, 1998г.*





## На договор надейся, а сам не плошай

**?** "Я кадровый офицер, прослужил в армии почти 15 лет. Полгода назад подписал с Министерством обороны контракт, но вот уже несколько месяцев, как мне не выплачивают денежное довольствие. Могу ли я на этом основании расторгнуть контракт — ведь его условия не выполняются?"

**А.СКУРАТОВ**, Мурманская обл.

К сожалению, вынуждены вас огорчить: согласно ныне действующему законодательству, нарушение или невыполнение условий контракта другой стороной не представляет военнослужащему возможности для его расторжения. Конечно, это несправедливо, но

что поделаешь: как говорится, "Sed lex duro lex" — закон суров, но это закон.

На будущее можем лишь порекомендовать вам и вашим коллегам-военнослужащим: прежде чем подписывать контракт, посоветоваться с грамотным юристом или адвокатом. Дело в том, что в любом стандартном контракте есть пункт "Особые условия", на который наши не слишком искушенные граждане, как правило, внимания не обращают. А вот юрист почти наверняка посоветовал бы именно в нем предусмотреть возможность расторжения контракта до истечения срока действия в случае нарушения одной из сторон тех или иных оговоренных в контракте условий.

## Право решать — за судьей

**?** "Работаю зоотехником в совхозе. Недавно обнаружена недостача скота и возбуждено уголовное дело, в том числе и против меня. Поскольку денег на оплату адвоката у меня нет, попросил выступить в суде в качестве защитника своего друга, более или менее разбирающегося в законах. Однако судья не разрешил, мотивируя это тем, что друг — не член коллегии адвокатов и не близкий родственник. Разве по закону я сам не могу выбрать себе защитника?"

**М.ЗАКАЕВ**, Буриятия

Действительно, закон разрешает допуск в качестве защитника близких родственников и законных представителей обвиняемого, а танке, как сказано в части 5 ст.47 УПК РСФСР, других лиц. Поскольку закон не раскрывает, кто именно подпадает под категорию "другие лица", казалось бы, обвиняемый может сам выбрать, кому доверить защиту своих прав и интересов. Однако в том же законе сказано, что вопрос о возможности (или невозможности) их

## Резидент по-бухгалтерски

❓ "Как только речь заходит о банках, финансах, особенно операциях с валютой, то и дело слышишь непонятные слова: "резидент", "нерезидент" – просто детектив какой-то. Что они там, в шпионов играют, что ли?"

**В. ЛЕТУНОВА,** Ростов-на-Дону

В шпионов они, конечно, не играют, хотя бы потому, что финансы — дело серьезное и тут, как правило, не до шуток. А знакомое вам по шпионским романам слово "резидент" переводится с французского как "остающийся на месте". Согласно закону "О валютном регулировании и валютном контроле" (п.5 и 6 ст.1), резидентами являются физические лица, постоянно проживающие в РФ, в том числе временно находящиеся за ее пределами; юридические лица, а также предприятия и организации без образования юридического лица, созданные в соответствии с российскими законами и находящиеся на территории России; находящиеся за рубежом филиалы и представительства резидентов.

Соответственно, нерезидентами являются; физические лица, постоянно проживающие за рубежом, даже если они временно находятся на территории РФ; юридические лица, а также предприятия и организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и находящиеся за пределами России; находящиеся на нашей территории иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации и их филиалы; находящиеся в РФ представительства нерезидентов. ■

**Владимир МИХАЙЛОВ,**  
консультант "Смены"  
по юридическим вопросам

участия в качестве защитника решает судья или суд, в производстве которого находится дело. Так что формально в данном случае судья прав. Тем не менее, думается, вам не следует на него обижаться: практика показывает, что участие в судебном процессе людей, не имеющих достаточной профессиональной подготовки и опыта (а ваш друг, судя по всему, их не имеет), чаще может, скорее, навредить, чем помочь обвиняемому. На вашем месте имеет смысл обратиться в коллегию адвокатов: быть может, учитывая ваше затруднительное материальное положение, там смогут выделить вам профессионального защитника на льготных условиях, а то и вовсе без оплаты.

## Не только возмещение ущерба, но и пенсия

❓ "В результате несчастного случая у нас на заводе погиб рабочий, у которого на иждивении находилась дочь с малолетним сыном. Должна ли администрация выплачивать им возмещение ущерба?"

**В. ЛАНКИНА,** Волгоградская обл.

Обязательно. Согласно ст.1088 Гражданского кодекса РФ, член семьи умершего, неработающий и занятый уходом за его детьми, внуками, братьями и сестрами (независимо от того, ухаживал ли он за ними еще при жизни умершего или только после его смерти) имеет право на получение возмещения до достижения детьми возраста 14 лет. Следовательно, администрация должна выплачивать вознаграждение и дочери, и несовершеннолетнему внуку погибшего на заводе рабочего. Более того, согласно ст.243-1 КЗОТ РФ, они имеют право и на установление пенсии по случаю потери кормильца.

## Таежные Запахи французского Лилля

Недавно я прилетел во Францию по делам. Арендовал машину и покатил: по нашим российским меркам, путь не дальний, а дороги здешние для автолюбителя — одно удовольствие. Еду, радио слушаю. Вдруг что-то в очередной рекламе зацепило — приятный французский голосок, а фоном, вроде, русский фольклор — реклама какой-то косметики. И странно знакомо мне ее название. Где-то я его уже видел?.. Да, в ванной у себя, вот где! “Грин Мама” — косметика родной природы”. Жена себе купила и хвалила очень. Говорила, что наконец-то наши научились хорошую косметику делать. Тюбики выглядели симпатично, и я пару раз кремом лицо намазал после бритья — мой кончился. Понравилось. А что же наши здесь во Франции делают? Неужели на западный рынок вышли?

Последний крупный французский город на моем пути — Лилль. В рекламе говорилось, “Грин Мама” продается в супермаркетах “Ошан”. Каждый, кто хоть чуть-чуть знает Францию, может сказать, что такое эта сеть супермаркетов. “Ошану” принадлежит огромное число торговых домов, которые кормят, поят, одевают большую часть населения страны. Лилль — родина “Ошана”, там эти магазины — лидеры торговли.

А вот и указатели на “Ошан”. Это целый торговый город. Парковка на три-четыре тысячи машин. Внутри бесконечный ряд касс — насчитал 60 и бросил. Трудно, наверное, будет найти то, что мне надо. Отдел косметики здесь огромен. А вот торговых марок немного — в основном знакомые всем нам. “Грин Мамы” не видно. С некоторой досадой я побрел к выходу и тут-то увидел, что искал.

У стенов с надписями “Грин Мама” стояли три барышни в зеленых костюмах — консультанты. Вокруг толпились покупатели. Постояв, подошел и я со своим вопросом. Барышня обстоятельно все мне объяснила: косметика произведена во Франции, отвечает всем местным нормам, и, вроде бы, некоторые даже превосходит. Но пришла из России. Из тайги, как и написано на тюбиках. Дизайн, рецептура, и даже шефы русские. Я спросил, знает ли сама она, что такое тайга? Она сказала — это лес. Рассказала, что многие, купив тюбик одного из кремов этой марки, возвращаются вновь — за другими. Берут дары косметической тайги даже профессионалы — для своих косметических салонов. Короче, прижилась российская “Грин Мама” во Франции, нравится французенкам русская косметика.

Взял рекламные образцы, красочные буклеты и я. Отчего-то сразу уходить не хотелось. Смотрел на экзотических барышень в зеленом, которые торговали таежными тюбиками, и радовался этой нечаянной встрече в огромном французском супермаркете с хорошим товаром, у которого русская душа.

**Алексей Иванов,**  
предприниматель





# Маске вопреки



**К**ак ни странно, но на сегодняшний день театральным артистам, кажется, повезло больше, чем артистам кино. Зрительные залы по-прежнему полны, следовательно, актеры узнаваемы и любимы. Что же происходит в кино, известно немногим. Следить за творчеством некогда популярных исполнителей становится все труднее. Иногда единственный возможный вариант — встреча с самим артистом. Сегодня наш собеседник — **Николай ЕРЕМЕНКО**.

— Николай Николаевич, актерские дети, за редким исключением, обычно идут по стопам родителей: сказывается и семейная атмосфера, и воспитание. Или все-таки у вас были какие-то сомнения в выборе профессии?

— Родившиеся в актерской семье дети, как правило, получают воспитание довольно условное, тем более, если ребенок появляется у молодой пары. Он

фото Валерия Плотнокова

почти сразу переходит в руки бабушки, поскольку у родителей — гастроли, вечерние спектакли. Конечно же, в детстве я много времени проводил в театре, который просто не мог меня не формировать. Не знаю, правда, что он там во мне сформировал, но никаких сомнений в выборе профессии со стороны родителей я не ощущал. Кстати, это тогда даже заводило. Ведь если б меня начали специально готовить, то, быть может, и не случилось бы ничего. В общем, мне предоставили полную свободу выбора, и я решил поехать в Москву, во ВГИК, где в то время набирали актерский курс Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Конечно же, повлиял и тот факт, что отец тогда снялся у Герасимова в фильме "Люди и звери". Так что сомнений не было, но оставался страх, который обычно возникает у абитуриентов. Я до сих пор с тяжелым чувством вспоминаю всяческие экзамены, потому что в школе не очень успевал, впрочем, в основном по точным наукам, а гуманитарные были вполне на уровне.

— Почему же все-таки вы предложили театру кино, не решились поступать, например, в ГИТИС?

— Думаю, все дело в Герасимове. Я как-то сразу нацелился на учебу именно у него. И, собственно, принял-то он, если уж честно, потому что очень любил отца. А вот Тамара Федоровна Макарова не хотела меня брать. Нас ведь много таких "детей" оказалось в тот год: Наташа Бондарчук, Володя Тихонов. К тому же, когда меня на "смотрины" привезли, я выглядел совершенно онемелым провинциальным дурачком и слова не мог сказать, был парализован одним видом Герасимова. Это уже потом подготовился как следует, и меня допустили сразу к третьему туру. Герасимов настоял, чтобы меня приняли. Говорили, он обещал, что сделает из "этого мальчика" артиста. Так что хочется верить, он свое обещание выполнил.

— Были ли у вас в то время какие-то авторитеты, кумиры, идеалы, которым хотелось бы подражать?

— Нет, как-то Бог миловал... На мой взгляд, наличие "кумиров" отчасти парализует собственное актерское развитие, губит индивидуальность. Мне так казалось всегда, хотя образцом всю жизнь был и остается мой учитель Сергей Аполлинариевич Герасимов. Причем, по всем направлениям: по творчеству, уму, мужским качествам, чего нынче очень не хватает. Для меня вообще важно слово — не "педагог", а именно "Учитель", с большой буквы. Всегда, во всем мире это понимали, особенно на Востоке. Но сейчас, по-моему, многим такого явления не хватает.

— Поступить с первой попытки в престижный столичный вуз — безусловная удача. Интересно, виделась ли вам будущая творческая судьба в такой же радужной перспективе?

— С детства я насмотрелся на судьбы актерские. Поэтому осторожно и даже прагматично, что в общем-то, не свойственно молодому человеку моего поколения, относился к своей дальнейшей судьбе. Я кожей чувствовал, что смазливому мальчонке будет очень трудно, во-первых, утвердиться, а во-вторых, удержаться. Как пошутил один великий артист, "красавцы плохо кончают". И в этом действительно есть доля истины, если вспомнить некоторые примеры. Зачастую творческий взлет очередного "героя" быстро заканчивался, и человек просто спливался, погибал от самомнения, от переоценки собственной персоны. Такая опасность существовала, я это чувствовал интуитивно. Ведь ВГИК — то место, где есть свои лидеры, гении, этание "цари" местного значения, над всеми возвышающиеся. Но ведь в чем трагедия — за стенами института все это тут же кончается. А человек никак не может сообразить — почему? Почему меня никто не носит на руках, не

говорит, что я гений? Главное — все вовремя осознать, а подобные ощущения — как лакмусовая бумажка, "проверка на вшивость". Если ты дурак, то так и останешься непризнанным "гением", если человек с мозгами — научишься жить дальше, избежишь подобной участи. Знаете, часто любят дискутировать на тему: должен ли артист быть умным? Думаю, на само творчество это мало влияет. Ум, скорее, нужен артисту для того, чтобы правильно распорядиться своей творческой жизнью.

— Жванецкий как-то сыронизировал: "Артисты — братья наши меньшие... по разуму".

— А Тарковский сказал по-другому: "Что за люди эти артисты? Да и люди ли они вообще?".

— Но вернемся к началу вашей профессиональной биографии. Резкий взлет, работа с настоящими мастерами, вероятно, заложили определенные критерии, которые нельзя было не учитывать в дальнейшем?

— Главным критерием была сама Герасимовская школа, потому что это — уровень. И то, что я играл, — тоже уровень, поскольку повезло изначально. Я ведь единственный ученик Герасимова, который снялся у него в пяти картинах, начиная со студенческих лет. Только Тамара Федоровна больше с ним работала. Да и фильмы — "У озера", "Любить человека", "Красное и черное", "Юность Петра", "Лев Толстой" — основаны либо на гениальной, либо просто на очень добротной литературе. Поэтому язык уже в молодости привык произносить хорошие тексты.

Первой же крупной работой, которая заставила на меня посмотреть внимательно, была роль лейтенанта Дроздовского в картине "Горячий снег". На мой взгляд, один из лучших военных фильмов, он-то и вывел меня на большую киноорбиту. Вообще, за эти годы было много разных картин. В каких-то я

мог бы и не сниматься, наверное. Но все-таки сейчас, оглядываясь назад, ни от одной из них не отказываюсь, потому что не могу сказать — я плохо там играл. Другое дело, что фильм в целом мог получиться не слишком удачным. Но я все равно ставил какие-то эксперименты, пытался что-то новое придумать именно в этих ролях. Они как этюды для меня были.

— И тем не менее, актерский имидж — штука коварная. Бывает так, что удачно сыгранная роль порождает своего рода "комплекс маски" — тиражируется от фильма к фильму, из года в год. Зрители привыкают, а режиссеры становятся консервативными. Вам, кажется, тоже не удалось избежать этой участи, став признанным "героем-любовником" советско-российского кинематографа?

— Конечно же, это печать "Красного и черного". Ну что же делать, если фильм так попал в цель? И психология зрительская, человеческая, не хотела Еременко другим воспринимать. Вы знаете, сколько обидных и оскорбительных писем я получил, например, после "Пиратов XX века"? Поклонники Жюльена Сорреля безжалостно карали меня за то, что я пал с высот большого искусства до таного низкого жанра. И вообще, как мне не стыдно? Но на всех угодить трудно. Сейчас наступило время, когда я просто не обращаю внимания на все эти досужие домыслы и разговоры, которые мне и самому порядком надоели. Я ведь уже не молоденький мальчик и здраво отношусь к возрасту. Лет до шестидесяти ходить в героях-любовниках, по меньшей мере, неприлично для мужчины. Так что совсем недавно я первый раз в жизни сыграл комедийную роль. Сам себя просто не узнал.

— Звучит интригующе. И что же это за картина?

— Фильм замечательного режиссера Ивана Дыховичного, пока под услов-

ным названием "Крестоносец-2". Существует первый "Крестоносец", где я тоже играю, но снимал его другой режиссер, да и вообще это другой жанр. Если там, по сюжету, бандиты снимают кино, то здесь это делает милиция. Благодарен Дыховичному, что он рискнул пригласить меня, ведь та инерция, о которой мы говорили, движет не только публикой, но и режиссерами. Я и сам с ней в какой-то мере смирился. Но сейчас все это порушено. То, что в себе чувствовал, что приходилось скрывать за видимостью "героя-любовнина", все выплеснулось, и довольно мощно. Мало того, еще и издаваюсь над тем, что играл раньше. Такая вот самопародия, большое хулиганство. Дыховичный снял с меня шкуру, вывернул наизнанку, и, повторяю, я ему очень благодарен за столь мужественный поступок. Не знаю, как отнесется к этому зритель... Эксперимент с комедией вообще сам по себе опасен. Ведь если зрителю не смешно, это — трагедия.

— *Азарт, с которым вы говорите о смене собственного имиджа, связан только с конкретным фильмом, или вы ощущаете общее оживление нашего кинематографа?*

— Слава тебе, Господи, прошел период "чернушного" кино, вызванный, как я понимаю, отмыванием денег. Самое ужасное, что он плохо повлиял на зрителя, который от отечественных фильмов отвернулся. Все-таки американцы что-то оптимистичное хоть иногда снимают, а тут — полная тьма. Сегодня же я и в самом деле чувствую какое-то шевеление нашего полумертвого кинематографа, он потихоньку начинает реанимироваться. И уне, случается, отказываюсь от довольно солидных ролей, потому что есть выбор, а все совмещать трудно. Интересно становится работать и с молодыми режиссерами, они выходят на новый уровень и начинают снимать не то, что раньше выплескивал наш кинематограф. В свое время мы подобные вещи

делали только во ВГИКе, там эти эксперименты и надо оставлять, а не выносить на большой экран. Я даже про свою режиссуру забыл, хотя в тот "паралитический" кинопериод снял картину "Сын за отца".

— *Я как раз и хотела спросить, что подвигло вас на "перемену участи"?*

— Да вот безделье актерское и подвигло, просто нечего стало играть. К тому же у отца, Николая Еременко-старшего, предстоял 70-летний юбилей, надо было как-то это дело отметить. А мы с ним никогда не играли вместе. Вот я и снял фильм. Конечно, все это в большей степени для отца делалось, но мне было интересно работать. Снимали на какие-то смешные деньги, работали в любое время дня и ночи, в любую погоду.

— *Нет ли у вас искушения продолжить режиссерские опыты?*

— Это был абсолютно вынужденный шаг. У меня все равно мозги актерские, и высший кайф я получаю от того, что исполняю чужую волю. Так заложено в артисте, никуда от этого не деться. Режиссура — совершенно другая профессия, в ней надо жить: за всеми наблюдать, следить за процессом. Надо, чтобы в голове все время рождались какие-то идеи, чтобы что-то дино волновало, чего не можешь не выплеснуть на экран. Вот этого всего у меня нет, честно признаюсь.

— *Многие актеры, наоборот, частенько сокрушаются по поводу зависимости от режиссера.*

— Не более чем нокетство молодое, оно потом проходит. Я ведь тоже раньше считал себя мансимальстом и вел сплошные бои с режиссерами. Естественно, среди них встречаются люди разной степени одаренности. Встречаются режиссеры, которые набирают хороших артистов и этим как бы ограничиваются. Но если фильм не получился, то стыдно именно артистам, ведь это они на экра-



не, а не режиссер. Вот таких постановщиков я не уважал. Но подчиняться уму, таланту, даже какой-то авантюристике — высшее удовольствие. Так что я все-таки думаю, наш кинематограф изменится в лучшую сторону. Будем надеяться, что все изменится к лучшему. А что еще остается? Я же не умею заниматься ни бизнесом, ни чем-то иным.

— Ваши коллеги, тем не менее, рисуют — открывают рестораны, поликлиники, ночные клубы.

— Это все-таки не наше поколение, а те, которые идут за нами. Во мне же ничего такого не заложено...

— Несмотря на рост интереса к собственно фильмам, по-прежнему одной из главных примет киношной жизни является мощная "тусовка". Так ли она важна, чтобы оставаться на плаву?

— Вы меня часто там видите?

— Нет, потому и интересно услышать ваше мнение.

— "Тусоваться", по-моему, удел в большей степени молодых артистов, в том смысле, что их вообще мало кто знает за пределами Москвы и Московской области. Нам-то в свое время больше повезло, вся страна в кино ходила. Но у меня лично всевозможные "тусовки" только раздражение вызывают. Ловлю себя на том, что весь какой-то неестественный становлюсь, потому что все — игра. Хотя сначала "выходил в свет" — хотел понять, что же это такое. Но когда увидел все эти франки и бабочки, которые толком и носить-то никто не умел... И лица подходили не для смокингов, а, скорее, для ватников. Все это сразу отбило всякое желание участвовать в подобном действе. Тем более, что никакой пользы от этого нет.

— Сейчас модно обзаводиться собственным продюсером, освобождая артиста от многих ненужных хлопот. Есть ли у вас в нем потребность?

— Я всегда все делал сам, чем в какой-то степени и горд, если до сих пор

остаюсь артистом, который вызывает интерес. Сам выбирал, соглашался на какие-то предложения или отказывался. Пока мне, кажется, нюх не изменял: что надо играть, а что не надо.

— Не посещало ли вас желание попробовать себя на театральных подмостках?

— Вы наступили на большую мозоль, поскольку как раз сейчас этот вопрос меня беспокоит. С одной стороны, я вроде бы готов к сцене, понимаю, что стоит попробовать. С другой, существует страх перед театром — абсолютно нормальный и естественный, поскольку я практически на сцене не играл. Не считая дипломных спектаклей во ВГИКе и небольшого опыта в театре-студии киноактера, где опять-таки шло "Красное и черное". Забавные получались эпизоды, поскольку я тогда в армии служил, и меня на спектакли привозили: Жюльен Соррель был лысым, в каких-то шрамах, иногда и вовсе с разбитым лицом. Сейчас же есть довольно серьезное предложение от Иосифа Райхельгауза из "Школы современной пьесы", причем даже с зачислением в штат. Я пока просто хожу в этот театр, смотрю спектакли. Не знаю, может, и решусь. Попробовать-то не грех, в любом случае.

— Вам обещана конкретная роль?

— Нет, пока предлагают кого-то заменять. Скорее всего, так и нужно: сыграть сначала маленькую роль, понять, что же это такое, а потом уж решать. Во всяком случае, если подойти к "Школе современной пьесы" с точки зрения жизни, быта, заработков, гастролей, — театр крепкий.

— Существует ведь еще и масса антреприз.

— Туда тоже периодически приглашают, и много пьес приносят. Не знаю, не знаю... Понимаете, опять возвращаюсь к съемкам: вот начал оживать кинематограф, я начал интенсивно работать, и все остальное сразу же уходит на вто-

рой план. Хотя многие артисты замечательно умеют совмещать одно с другим.

— *Задевают ли вас жизненные реалии, не связанные с искусством, или актерская профессия исчерпывает все?*

— Еще как задевают. Тут, видимо, сказываются в какой-то степени гены моего отца, который, помимо актерства, всегда был общественным деятелем, и до сих пор таковым остается. И я не могу его за это осудить, жить иначе он просто не может. Поэтому что-то осталось и во мне, я за всем слежу, читаю газеты, смотрю телевизор. Мне интересно. Но чтобы участвовать в этом — упусти Бог. Вообще, у меня вызывает раздражение, когда артисты идут, например, в политику. Это неправильно.

— *А говорят, что люди охотнее верят известным художникам, чем недошедшим депутатам.*

— Может быть. Но зато у таких артистов пропадает творческая аура, которую они создавали всю жизнь. Политика все снижает очень быстро. И на этих людей вдруг начинаешь смотреть другими глазами: исчезает загадка. Очень плохо. Нет, лучше уж оставаться просто артистом, хорошая это все-таки профессия. Продолжаешь развлекать людей даже после собственной смерти. Вот что мне импонирует.

— *И все же, что особенно тревожит, быть может, даже пугает вас в нашей нынешней реальности?*

— Меня пугает какое-то удивительное неумение нашего народа выбирать

себе руководителей. Поэтому власть так хорошо себя и чувствует. Поэтому и рвутся все туда. Они ведь живут совершенно другой жизнью — это иной мир, иная планета со своими законами. У них даже погода отличается от той, что у нас на улице, потому что они сами ее заказывают. Я понимаю, что каждое поколение должно пройти свой путь, совершить собственные ошибки. Но чтобы так категорически ничему не научиться — это потрясающе и очень здорово злит. Меня лично. Но эту злость я пытаюсь перевести в другое русло. Надо шевелиться — и не только телом, но и мозгами. Быть может, и играть по-новому, что я и стараюсь делать.

— *Не мучает ли вас ностальгия по прежним временам?*

— Только по молодости, не более того. Нынешняя же реальность заставляет быть жестче по отношению к самому себе. Хотя я всегда к собственной персоне довольно трезво относился. Ведь я — одиночка, существую вне коллектива, в отсутствие своего главного режиссера, как это бывает в театре. Там бы мне доброжелатели, наверное, что-нибудь шепнули. Но у меня ничего такого нет, что очень опасно, между прочим. Поэтому стараюсь сам прямо и честно говорить все то, что о себе думаю. И довольно часто гораздо жестче, чем мне бы сказали другие. ■

*Беседавала* **Ирина АЛПАТОВА.**

# Марина Андриевская



Она родилась в Новокузнецке в семье инженеров. И ничто, в общем, не предвещало ей карьеры в искусстве. Предполагалось, что тоже пойдет по инженерной части. Но после школы Марина, едва ли не тайком — родители были против — поехала поступать в Красноярское художественное училище. Училась

*Розовые фламинго.*



столь хорошо, что после окончания ее направили в институт имени В.И.Сурикова. Ее дипломную работу — серию "Детство" — можно считать началом творческой биографии.

Некоторые работы Марины выполнены в стиле импрессионизма. Но не стоит соотносить их с тем или иным стилем, чтобы понять, в чем заключены обаяние и жизненная сила. Картины Андриевской можно условно разделить на две группы. В первой — портреты, интерьеры, обнаженные модели, своеобразные "портреты" животных и все, что мы можем наблюдать в жизни. Вторая затрагивает темы идил-

лические, пасторальные, а порой и аллегорические.

В ее живописи нет места для драм и трагедий. Рождающееся на холсте изображение — восхитительный сон, напоенный ароматом экзотических трав. Прелестные женские и детские образы не нагружены сложными психологическими характеристиками — радость больше для глаза, нежели ума. Порой в работах присутствует и постмодернистская ирония. Но у Марины она приобретает форму легкой полуулыбки: вот в "Матильде" явно матиссовские рыбки тычутся носами в стенки банки, а рядом кошка, застигнутая на месте преступления, озада-

*Цветы и белая пошадня.*



ченно замерла перед неожиданной стеклянной преградой.

Для художницы линия порой совсем не важна. Прекрасный мир возникает именно за счет зыбких и неопределенных очертаний предметов. Зато цветовая гамма, которую использует Марина, очень интенсивна. Это позволяет сделать тени цветными. На ее полотнах нет черных, коричневых и прочих темных пятен. Похоже, ей понравился бы мир, во все лишенный теней.

Художница любит экспериментировать с композицией. Часто ей удается создать динамичное пространство, которое будто стремится вырваться за рам-

ки холста. Наглядный пример тому серия "Карусель" ("Красная карусель", "Детство", "Ирисы в старом парке"). Ее карусели ассоциируются с произведениями русских художников рубежа веков, посвященными народной сказке. Но карусели Марины — не только забава и сказочный мотив. Здесь более сложный, метафорический смысл: карусель жизни, вечный круговорот, иногда — невозможность покинуть пределы круга.

Картины Марины Андриевской живут своей особой жизнью. Спокойной и уютной...

**Дарья ЕЛИСТРАТОВА**

*Ирисы в старом парке.*



# "СПЛИН"

## не хандра

**Е**сли собрать воедино все высказывания отечественных музыкантов о питерской группе "Сплин", получится громадный похвальный лист. Ограничимся крохотной цитатой. Кинчев назвал лидера группы Александра Васильева "поэтом от Бога".

Васильев учился в институте авиационного приборостроения (целых два года!), служил в армии, переводил с английского технические описания к телефонам и телевизорам, продавал машины и компьютеры, работал на радио диджеем. И, в конце концов, 27 мая 1994 года вместе с тезкой Морозовым, бессменным басистом группы, основал "Сплин".

— Когда несколько лет назад я впервые услышал о группе "Сплин", перед глазами возникла определенная картина — "унылая пора, очей очарованье"... Само название вызывает довольно безрадостные ассоциации. А вот музыка ваша отнюдь не всегда печальна. Нет ли здесь противоречия?

— Противоречие связано именно с названием. Все его переводят с английского, как "хандру" или "тоску". Хотя на самом деле оно вообще никак не переводится — ни с английского, ни с какого-либо другого языка. Это просто такая аббревиатура.

— Любая аббревиатура должна как-то расшифровываться...

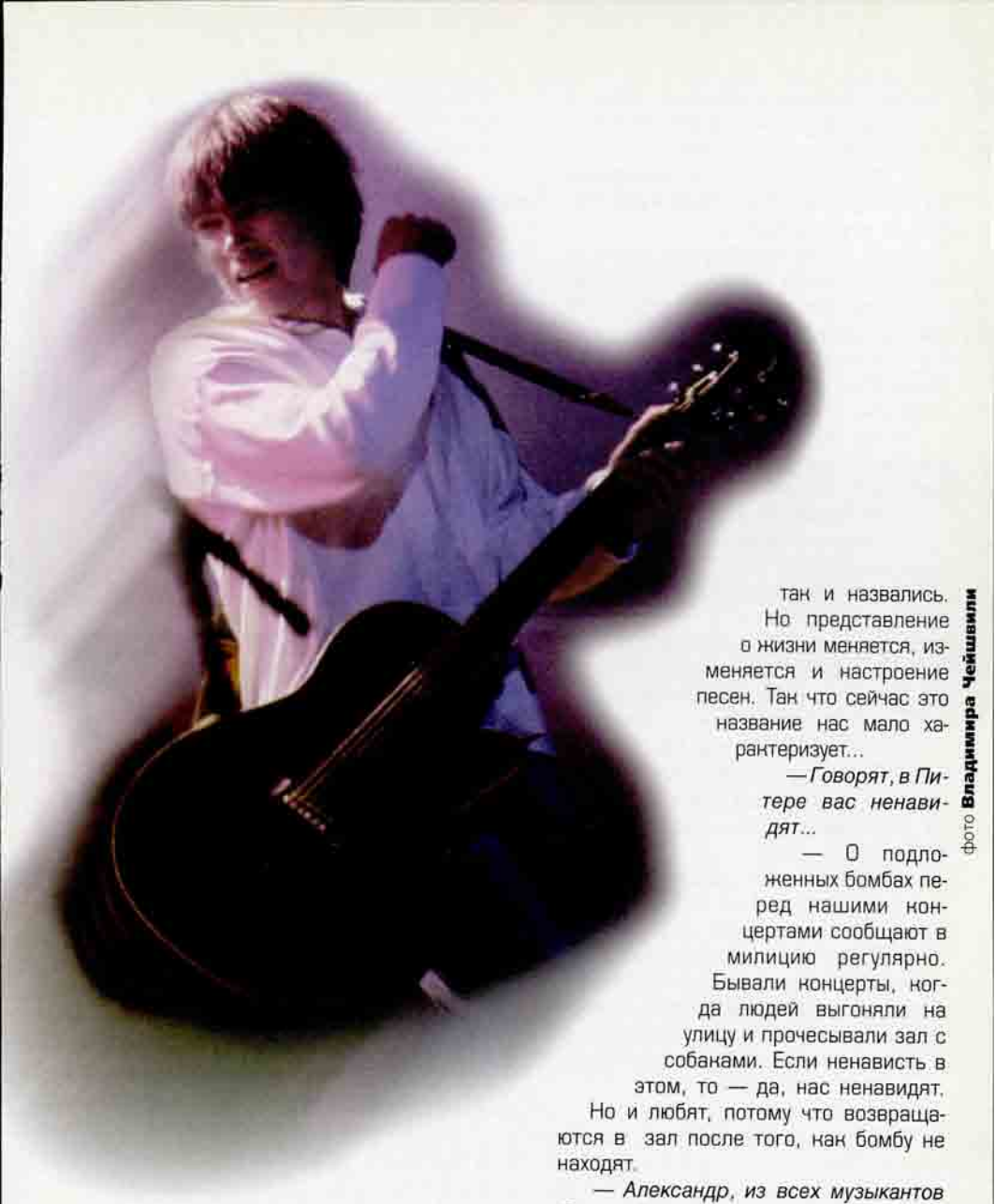


фото Владимира Чейшвили

- Нинак.
- Придумали ее "от фонаря"?
- Не совсем "от фонаря". Сначала играли всякие грустные песенки, потому

так и назвались. Но представление о жизни меняется, изменяется и настроение песен. Так что сейчас это название нас мало характеризует...

— Говорят, в Питере вас ненавидят...

— О подложенных бомбах перед нашими концертами сообщают в милицию регулярно. Бывали концерты, когда людей выгоняли на улицу и прочесывали зал с собаками. Если ненавидят в этом, то — да, нас ненавидят. Но и любят, потому что возвращаются в зал после того, как бомбу не находят.

— Александр, из всех музыкантов "Сплина" широко известны только вы. Так и было задумано?

— У нас внутри группы никаких различий нет. Но когда дело касается рекламы, на первый план выдвигают меня.

Стандарт, шаблон: если раскручивается коллектив, то вперед ставят человека, который пишет песни и поет.

— *Вас часто называют последней группой русского рока. Не кажутся жесткими такие рамки?*

— Это рамки не столько русского рока, сколько всего того, что есть русского вообще. Мы родились в Советском Союзе, живем в России и поем о том, что происходит с нами именно в рамках нашей страны. Так что это рамки не музыкальные, а географические.

— *Как бы отреагировали, если бы лет десять назад вам сказали, что будете играть в одном концерте с Б.Г.?*

— Не сильно бы удивился.

— *Предчувствовали, что такое может случиться?*

— А это было ясно с детства. Ни чем другим, кроме музыки, я заниматься не умею — почему бы таному и не произойти? С Гребенцовым вообще очень комфортно. В Питере у меня наберется лишь несколько человек, с которыми приятно общаться на все сто. Тут дело даже не в известности музыканта, а в том, что он за человек. Есть очень много талантливых людей, с которыми невозможно общаться.

— *Насколько, на ваш взгляд, оправдан довольно длинный отрезок времени перед началом вашего подъема?*

— Совершенно оправдан. Ничего лишнего за это время не произошло. Все развивалось максимально естественно. На это ушла вся моя жизнь — ведь до сих пор выплескиваются канье-то детские впечатления...

— *А самое яркое...*

— Не помню. Каждый день был настолько ярким, что ни один особенно не выделишь. Вся жизнь — это огромное впечатление...

— *Вас, наверное, достали этим вопросом, но все-таки — почему именно "Орбит без сахара", а не, скажем, "Тетя Ася приехала"?*

— Потому что именно "Орбит" настолько у всех на виду и на слуху, что не постыбаться над ним было невозможно.

— *Проблем с производителем жвачки не возникало?*

— Думаю, что песня в любом случае послужила им рекламой. Ругай товар или хвали его — одно и то же.

— *Поклонницы-фанатки не надоедают?*

— Нет.

— *А как вообще насчет "не сотвори себе кумира"?*

— Кумир — это крайняя мера. Помому, всегда должен быть человек, которого любишь как-то гипотетически, как идеальный образ. Но лучше с ним не знакомиться и не иметь никаких дел, потому что этот образ мгновенно разрушится.

— *Говорят, вы хотите быть похожими на "Oasis"...*

— Я имею очень смутное представление об этой группе. Не знаю даже, как выглядит Гэллахер. Меня так иногда называют друзья, а дома даже нет телевизора, и я не могу его увидеть. Прическу же мне два года назад посоветовал сменивать Нинчев.

— *Сейчас многие экспериментируют с компьютерным звуком. Не собираетесь попробовать?*

— Мне сразу было понятно, что этого делать не следует. Во-первых, компьютерным звуком сейчас занимаются все — уже причина не идти по проторенной дорожке. Но главное — компьютер создает мертвую музыку. А мне больше нравится все живое.

— *Как вы думаете, что нужно молодой группе, чтобы раскрутиться сегодня?*

— Ничего сверхъестественного. Заниматься своим делом, писать песни, репетировать, играть концерты, записываться. А дальше нужные люди сами на тебя выйдут... ■

Беседовал

**Григорий ГОЛЬДЕНЦВАЙГ.**





**В 1923 году  
на сцене Большого  
театра состоялся...  
волейбольный матч.  
Так родился  
отечественный  
волейбол.**

# Игры навывлет

## **Владимир ДАВИДОВ**

**Ч**то хотите со мной делайте, но когда слышу слово "волейбол", то первое, что возникает в памяти, это прыжок голландца Баса ван де Гоора в пятой партии олимпийского волейбольного финала в Атланте, а следом — рыдания проигравших итальянцев.

Не Москву 1980-го я вспоминаю, а именно Атланту 1996-го. Возможно, это не патриотично, но что уж тут поделаешь. Нынешний волейбол — это в первую очередь Бас ван де Гоор и Паскуале Гравина, Никола Грбич и Андреа Джани...

Россиян в этом списке, к сожалению, нет. Наши последние достижения были так давно, что уже нажутся мифом.

Оговорюсь сразу, что речь пока веду о мужском волейболе...

В этом году исполняется 75 лет с того дня, как в нашей стране впервые стали перебрасывать через сетку волейбольный мяч. (В 1923 году был разыгран первый в СССР волейбольный матч. И не где-то на стадионе, а... на сцене столичного Большого театра. Ко-



фото **Андрея Голованова, Сергея Киврина** ("Спорт-Экспресс")

манды антеров и Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), можно сказать, положили начало отечественному волейболу. А вообще, волейбол в Россию завезли американские моряки, оккупировавшие Архангельск во время гражданской войны.)

Но радости по поводу предстоящих торжеств что-то маловато — чем выше шнаф, тем мельче осколки свалившейся с него вазы. На протяжении 35 лет с небольшими перерывами мы были законодателями мод в мировом волейболе. И вдруг все нуда-то пропало. Да, семь лет назад сборная СССР сумела выиг-

рать чемпионат Европы и ныне исчезнувший турнир — Кубок мира.

А после — как отрезало...

Под российским флагом иногда цепляли какие-то медали, но не золото. А что еще может считаться удовлетворительным результатом для страны, чаще других побеждавшей и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира, и на первенствах континента?

Подробный анализ состояния российского волейбола — удел специалистов.

Мне не хочется, чтобы круглая дата послужила лишь поводом к очередной раздаче наград да воспоминаниям о бы-



лых победах. А то ведь как обычно это бывает? Пропоем друг другу и сами себе дифирамбы, потрясем позеленевшими от времени медалями, проведем какой-нибудь ветеранский турнир... И все нормально, мероприятие закончилось, можно существовать дальше. Не сомневаюсь, что и в прессе будет множество пафосных материалов о величии (былом) нашего волейбола. И мне хотелось бы написать что-нибудь пафосное — да не получается.

Поверьте, я слишком люблю эту игру, потому и высказываю все, что наболело...

## **В России нет достойных игроков?**

Говорят, мы проигрываем потому, что российские игроки не чета спортсменам славного советского прошлого. Во-первых, нынешние просто-напросто хуже играют в волейбол: не так и не туда бьют, плохо прыгают и не чувствуют площадки. Во-вторых, для них отсутствует понятие патриотизма, и при звуках государственного гимна никакие струны в их душах в ответ не вибрируют. А в-третьих, они не собираются при-

кладывать нинаних усилий для того, чтобы опровергнуть первое и второе утверждения.

Мне же кажется, что это не совсем правильно. В России немало волейболистов, которых с радостью взяли бы к себе тренеры и итальянской, и голландской, и бразильской сборных.

Разве можно, например, найти равного по физическим возможностям 217-сантиметровому одиночному гиганту Алексею Назанову? Или потрясающему универсалу из Екатеринбурга Игорю Шулепову? Но почему-то эти ребята, как и другие, зачастую играют не только не на пределе своего потенциала, но даже и близко к нему не приближаются.

Однажды "выстреливший" на международном уровне Станислав Динейкин (в 1996 году он был признан лучшим нападающим Мировой лиги), обладатель мощнейшего удара, в ответственных матчах частенько похож на робкого перворазрядника. К тому же почему-то не появляются игроки важнейшего для волейбола амплуа — связующие. Такие, как Георгий Мондзюлевский или Вячеслав Зайцев. Может быть, дело в том, что после игры все лавры достаются тем, кто забивает мячи, а не тем, кто "подкидывает"? И все же Россия не осудела пока еще талантами. Не зря ведь покупают наших игроков клубы Франции, Бразилии, даже Италии.

Но (вот, что удивительно!) сборная, составленная из этих безусловно талантливых волейболистов, проигрывает.

Если все дело в больших деньгах, которые спортсмены получают в клубах и не получают в сборной, то как с этим согласовываются слезы "легионера" Валерия Горюшева, умолявшего сохранить ему место в сборной "забесплатно", когда его хотели в прошлом сезоне отчислить из команды за дисциплинарный проступок?

## **В России нет сильных клубов?**

Сильные клубы — сильная сборная. На самом деле это далеко не всегда так. Вот пример из футбола: мало кто с ходу назовет три сильнейших датских клуба. А сборная этой страны однажды сумела стать сильнейшей в Европе. Да и в волейболе за примером ходить далеко не надо. Известный факт: в Голландии нет ни одной по-настоящему конкурентоспособной на международном уровне команды. Но голландская сборная — действующий олимпийский чемпион.

Да, пока российский клубный волейбол не может составить конкуренцию тому же итальянскому. И все же у нас есть екатеринбургский "Измурд" с Игорем Шулеповым и Александром Герасимовым, есть одиночковская "Искра" с Алексеем Назановым и Русланом Насыровым, есть, наконец, двукратный чемпион страны "Белогорье-Динамо" из Белгорода, где выделить кого-то сложно. Эти команды вполне способны составлять в сборную готовых и обученных игроков. И регулярно поставляют.

А сборная все равно проигрывает...

## **В России нет грамотных тренеров?**

Это уже совсем нонсенс. Общеизвестный факт: российские теоретические и практические волейбольные работники — лучшие в мире.

И нынешнее поколение тренеров в бытность игроками побеждало на большинстве соревнований, да и учителя у них были гениальные, например, Анатолий Зайгорн. И Вячеслав Платонов (который, кстати, раньше часто приводил сборную СССР к большим победам), и Вячеслав Зайцев — все они прекрасно разбираются в тонкостях этой игры. И наверняка пытались все это объяснить своим подопечным...

А сборная, руководимая ими, проигрывает....

## **В России нет денег на волейбол?**

Да, у нас, кого ни спроси, везде денег не хватает. Об этом уже и как-то неприлично говорить. Все доходы команд зависят от федерации да от спонсоров, а последние волейбол не очень-то и жалуют. Почему? Команды же ничего не выигрывают. Зачем тогда в них что-то вкладывать? Только терять. А без серьезной финансовой поддержки, как утверждают сами волейболисты, выиграть ничего нельзя.

И круг этот — не разрывается.

Но почему-то вдруг на европейской арене команда португальского колледжа из городка Майя обыгрывает наш "Изумруд", бюджет которого в несколько раз больше.

Конечно, из шести игроков основного состава португальской команды пятеро — иностранцы. Но ведь из таких же слабых по волейбольному рейтингу стран, как и Португалия. А потом клуб из государства, упоминание которого раньше вызывало у знатоков волейбола только смех, входит в четверку лучших из всех европейских обладателей национальных кубков.

С другой стороны, наше "Белогорье", пользующееся невиданной для России поддержкой городского руководства и местных финансовых магнатов, не выдерживает в Европе конкуренции со стороны хорватских и французских команд. Значит, не деньги главное.

...А сборная, с деньгами ли, без них, опять проигрывает!

## **В России нет детского волейбола?**

Говорят, "прервалась связь времен". Уже не готовят в таком количестве, как это было раньше, молодых сменщиков

тем, кто играет сейчас. И дальше все будет только хуже. Однако, волейбол является чуть ли не единственным игровым видом, количество спортивных школ в котором по сравнению с советскими временами увеличилось!

А что на улицах и пляжах в волейбол играют намного меньше, чем в былые годы, так это вопрос моды и рекламы. Баскетболисты провели мощную имиджевую атаку — и в каждом дворе по всем столбам приклепали по кольцу. Даже девочки упорно пытаются повторить "крюк" Майкла Джордана. Стоит внушить, что волейбол — это тоже модно, и между теми же столбами везде натянут сетки. Почва-то благодатная. Мне самому довелось наблюдать, как самозабвенно сражаются на площадке школьники во время московских городских соревнований. В этом турнире, между прочим, приняли участие ребята из более, чем сотни общеобразовательных школ столицы — так что на этом уровне волейбол не умирает.

Но приходят в сборную молодые игроки, а она проигрывает.

## **В России нет полноценной волейбольной федерации?**

Вот тут можно согласиться. Не в обиду волейбольным чиновникам — ведь они делают все, что могут — проблема в том, что могут они не так-то уж много.

Для примера: они, увы, не способны отстоять интересы российского волейбола на международном уровне. Чего стоит только история с запретом на выступления в европейской Лиге чемпионов некоторых игроков женской "Уралочки" на том лишь основании, что они часть сезона проводят в японских клубах. Были бы понятны действия Европейской конфедерации волейбола в том случае, если спортсменки играли в командах из

Европы. Но нас уже не уважают, и никто не хочет видеть российскую команду победителем еврокубкового турнира.

Вот тут-то в самый раз проявить себя нашей федерации — возмутиться хотя бы! Но в результате "Уралочка" просто вынуждена отказаться от участия в престижном соревновании.

Или самый свежий пример. Осенью этого года в Японии состоится чемпионат мира. И при распределении команд по группам организаторы применили, мягко говоря, странный подход. В одну часть сетки из сильных сборных попали только бразильцы, в другую же Италия, Голландия и Югославия. Как вы думаете, где она оказалась при этом Россия? Надеюсь, уточнять не стоит. Хотя, если посчитать рейтинги по справедливости, мы, по крайней мере, стоим на одной позиции с бразильцами и с такой же долей вероятности могли получить более выгодную для себя сетку. Но федерация хранит молчание.

А сборная проигрывает.

## Почему?

Почему, если и игроки хорошие у нас есть, и наличие суперклубов вовсе не обязательно; и тренеры наши — одни из самых квалифицированных в мире, и деньги в конце концов в волейбол какие-то приходят; и спортивные школы работают исправно — ну, почему же мы все время проигрываем?!

Честно скажу, не знаю...

Да что — я? Пока ни один специалист так и не смог толком объяснить причину поражений сборной. Не считать же, в самом деле, серьезными слова Вячеслава Платонова, что в поражении на последнем чемпионате континента виноват развал Союза. Слава Богу, уже семь лет прошло. А за это время вполне реально и восстановить разрушенную волейбольную инфраструктуру, и вновь обрести сильный внутренний чемпионат.

Пример не самой богатой европейской страны — Италии — это доказыва-

ет... Если бы кто-нибудь в семидесятых-восьмидесятых годах сказал, что итальянская сборная в скором времени станет сильнейшей в мире, его бы просто засмеяли. Но факт остается фактом: в последнее десятилетие итальянцы выигрывали в мужском волейболе все, что можно, кроме Олимпийских игр (а ведь могли — опять вспоминается атлантический триллер: финал с голландцами!). Ну, а гегемония итальянских клубов на европейской арене вряд ли прекратится до конца столетия.

И при всем этом у итальянцев множество схожих с нами проблем. Но они выигрывают, а мы нет. И если сравнить волейбольное хозяйство Италии и России, можно выдвинуть гипотезу: нам не хватает чего-то такого, что смогло бы объединить и талант российских игроков, и знания тренеров, и организацию соревнований, и многое другое, в чем мы, в принципе, никому в мире не уступаем. Вот только чем может быть это нечто, сказать трудно. (В Италии, как мне кажется, наталилизатором перемен послужил приход на пост главного тренера сборной великого Хулио Веласко...)

Неужели все так уж грустно, и юбилей российского волейбола должен превратиться в карнавал на руинах? Неужели у нас нет ничего такого, чем, как в былые времена, можно было бы отпартовать: "зато мы делаем ракеты"?

## Есть женщины в русских селеньях!

Это, наверное, национальная русская традиция: когда солдаты отступают с родной земли, из лесу выходит канаканибудь Василиса Кожина и начинает крушить дубиной вражьи головы.

Вот и в спорте в последнее время мы часто "выезжаем" на женщин. Стоило мужчинам, например, в лыжных гонках потерять завоевывавшийся годами авторитет, как женская половина сбор-

ной начала выигрывать все и вся. А на последней Олимпиаде в Нагано и вовсе уничтожили соперниц, не оставив им из золотого урожая ни зернышка.

Так и в волейболе...

После ряда неудач у нас, кажется, появилась сборная, которую можно назвать сильнейшей в мире. Официально это звание россиянкам еще предстоит завоевать на мировом первенстве в Японии в ноябре этого года. Но верится, что это не станет самой трудной задачей для команды, которая в прошедшем сезоне не проиграла ни одного матча, будь то встреча в рамках какого-нибудь турнира или товарищеская игра (за исключением поражения от болгарок в Евролиге — но тогда россиянки играли практически молодежным составом). И то, что наша сборная не только стала сильнейшей на континенте, но и одержала победу в крупнейшем международном коммерческом соревновании — "Гран-при", говорит, что временные трудности, связанные со сменой поколений, уже позади, и что славные времена российского женского волейбола возвратились.

И тут нельзя не сказать о "роли личности в истории". Львиная доля этих успехов в отечественном волейболе — заслуга одного человека — тренера Николая Карполя. Как и о любом незаурядном талантливом человеке, о Карполе трудно говорить в "розовых тонах".

Я, например, до сих пор вздрагиваю, когда слышу, как он кричит на своих воспитанниц; мне сложно представить, что в таком тоне можно разговаривать с женщиной.

Однако, Карполь, думаю, имеет больше прав на выбор стиля общения. А тренер он, не побоюсь этого слова, гениальный — его команды всегда выигрывают. Кстати, команд у Карполя много. Кроме сборной России, он работает с тремя екатеринбургскими клубами суперлиги, два из которых являются чем-

пионом и серебряным призером первенства страны.

Но самая главная заслуга Николая Карполя, на мой взгляд, заключается в том, что во времена безраздельного господства (в советском еще волейболе) московских клубов он подготовил в Екатеринбурге "запасной аэродром" в виде своей "Уралочки". И уже много лет этот "аэродром", став основным, нас выручает.

Жаль только, что другие сейчас не поступают так, как поступил в свое время Карполь. И если вдруг, не дай Бог, конечно...

Впрочем, я не совсем прав. Другие команды сейчас понемногу поднимают голову. Давно уже ничего не выигрывавший ЦСКА провел блестящий сезон в Кубке обладателей кубков и вполне заслуженно завоевал этот престижный трофей в "Финале четырех" во французских Каннах. Существует перспективная программа и у новой московской команды МГФСО, прошедшей за кратчайший промежуток времени путь от коллектива физкультуры до клуба суперлиги.

В общем, за женский волейбол беспокоиться сейчас причин нет.

## Дождемся осенних цыплят?

Такая вот неоднозначная картина вырисовывается в российском волейболе к юбилейным торжествам.

Очень хочется, чтобы спортсмены заиграли на пределе своих возможностей; тренеры почаще находили общий язык со своими подопечными, руководители клубов создавали необходимые условия для работы... Тогда, я думаю, результат себя ждать не заставит.

...А, может, перенести юбилей на более поздний срок, хотя бы после осеннего чемпионата мира?

Вдруг тогда будет больше поводов для праздника? ■

**У читателей "Смены" — самые красивые квартиры, самая сладкая клубника и самое крепкое здоровье. Отчего?**

**Читайте наш "Практикум"!**

## Сам себе ремонтер

Труднее всего при ремонте квартиры отодрать старые обои. Если на обои наложить мокрую тряпку и прогладить ее горячим утюгом, они легко отстанут от стены.

Если вы решили старые обои оставить, то надо тщательно очистить их швы, иначе швы старых обоев будут видны на новых. Не забывайте: кромки швов должны располагаться от окна в сторону двери — тогда они будут менее заметны.

Очистить стены (и особенно потолок) от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей подсохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски.

Удаляя с поверхности старую масляную краску, предварительно прогладьте ее через алюминиевую фольгу горячим утюгом до размягчения. Краска легко счистится шпателем или циклей.

Чтобы при ремонте снять с пола старую краску, надо смочить его водой, посыпать кальцинированной содой, а сверху закрыть мокрыми тряпками. Спустя 8-10 часов краска легко отслоится.

На потолках и стенах часто образуются трещины, щели. Есть простой способ их заделки. В жидкий, как сметана, столярный клей добавляют, размешивая, зубной порошок или мелко растертый мел, пока не получится густая, как замазка, смесь. Ею и заделывают щели.

Излишки смеси аннуратно снимают острым ножом.

Предлагаем способ, как заделать щели в дощатом полу. Битум нужно расплавить и залить в щели, излишки срезать. Затем щели прокрасить краской, она слегка растворяет застывший битум. Вторичная покраска полностью скроет все следы ремонта.

Никогда не пользуйтесь горячим клейстером: он может выступить наружу у кромок обоев, образуя некрасивые потени. Кроме того, рисунок обоев под действием горячего клейстера может размазаться.

## Земляничные поляны — навени?

Вряд ли найдешь такой сад, где бы не выращивали землянику (клубнику). Есть за что ценить ее: она рано созревает, на второй год после посадки дает обильный урожай... А этот вкус!.. Хороша и с молоком, и с сахаром, и в варенье, и в компоте...

В центральном районе лучшие сроки посадки земляники — конец июня-первая половина июля. Можно сажать и в августе. Чем скорее она укоренится, тем успешнее перезимует, тем выше урожай первого года.

Многие садоводы считают, что земляника — весьма трудоемкая культура. Но не всегда это так. Можно получать высокий урожай, особо не "переламываясь". Как? Следует сажать не менее двух-трех сортов (для взаимного опыления), наиболее приспособленных к поч-



венно-климатическим условиям вашего района. Так, сорта Зенга-Зенгана и Ранняя Махерауха предпочитают высокоплодородные легкие почвы, а Фестивальная и Талисман хорошо растут и плодоносят на суглинистых почвах.

Большинство современных сортов дают максимальный урожай на второй-третий год после посадки. При уходе за четырехлетними плантациями уже придется тратить много времени и сил на борьбу с сорняками, вредителями и болезнями.

Важно правильно выбрать схему посадки и содержания плантации. На легких, песчаных, а также торфяно-болотных почвах земляничная поляна лучше всего плодоносит, когда посаженные растения образуют сплошной ковер. (Усы удаляют только в широких междурядьях.) Такая плантация летом меньше страдает от засухи и перегрева, а зимой — от морозов. Схема посадки двухстрочная: 50 см — расстояние между рядами и 90 см — между строчками (грядками) и 20-35 см — в ряду.

На влажных, глинистых почвах землянику сажают на грядках (схема посадки та же), которые накрывают (мульчируют) черной пленкой — она препятствует росту усов и сорняков.

Землянике больше подходят участки после огурцов, чеснока, лука, редиса. Почва должна быть хорошо заправлена удобрениями еще до посадки — лучше за год до нее.

Сладкой вам жизни! ■



## Между нами, женщинами

Предлагаю поговорить о том, что не может оставить равнодушной ни одну из женщин: о килограммах. Да-да, о тех самых ненавистных килограммах лишнего веса, что отравляют жизнь женщины любого возраста и заставляют ревновать к себе самой на фотографиях, сделанных еще каких-нибудь 5-10 лет назад.

Обычно этот критический момент наступает вечером: вглядываясь в жестокое своей беспристрастностью зеркало, равнодушно демонстрирующее нам 5-10, а то и все 15 килограммов лишну нашего "живого веса", мы с негодованием решаем: "Все. Дальше ехать некуда — с этим надо что-то делать!" Тут-то и приходит в голову волшебное, обещающее новую жизнь слово "диета".

Мы подходим к главной теме нашего разговора. Если четыре женщины, обладающие различными типами фигур, будут следовать одной ограничительной диете, то худеть они будут по-разному и в разных частях своей фигуры. Ни одна диета не действует одинаково на всех женщин. Поэтому я хочу предложить вам 4 варианта диеты в зависимости от вашего телосложения и обмена веществ. Эту систему разработала для своих соотечественниц американский диетолог Сандра Набот, но она вполне применима у нас, даже с тем ассортиментом продуктов и витаминов, который мы имеем сегодня на наших российских прилавках. Но для начала давайте определим, какой у вас тип фигуры.

Итак, все женщины делятся на четыре группы — в зависимости от типа фигуры: атлетические, женственные, лимфатические, астенические. Наш первый рассказ — о тех, кто имеет фигуру атлетического типа и о том, какую диету предлагает им Сандра Набот.

У таких женщин квадратная фигура с мощным ширококостным строением,

придающим им атлетический вид. Их организм имеет тенденцию к повышенному производству мужских гормонов, причем ожирение лишь стимулирует эту способность. Мужские гормоны дают таким женщинам мощный заряд энергии и бодрости. Они редко бывают сладкоежками, но зато сходят с ума по жирной и соленой пище, богатой холестерином. Эти продукты способствуют увеличению мышечной массы и жира, концентрирующегося в области щек, шеи, плеч, верхней части рук, туловища и брюшины, что еще более увеличивает "мужественность" фигуры. Когда такая женщина начинает полнеть, жир скапливается в верхней части тела. Диета таких женщин должна:

— ограничивать потребление холестерина, насыщенных жиров и соли, что ведет к сокращению производства мужских гормонов надпочечниками;

— снижать вес именно в верхней части туловища, что придаст фигуре более женственный вид.

Диета должна содержать большое количество свежих фруктов, овощей и зерновых. Белок лучше получать из различных сортов бобовых, орехов, семян, рыбы и обезжиренных молочных продуктов. Полувегетарианская диета — вот что надо женщинам этого типа. И уж, конечно, никаких солений-варений: и соль, и сахар должны быть сведены в меру до минимума.

Утро женщин атлетического типа должно начинаться с легкого питательного завтрака, обед также не должен быть слишком обильным, а идеальной пищей для ужина будут сырые овощи, стакан овощного супа и горсть сырого миндаля. Главное следить за тем, чтобы промежуток между обедом и ужином был не очень большим и вам не пришлось бы вторую половину дня умирать от голода.

И помните — зерновые, злаки и обезжиренные молочные продукты бла-

гоприятно влияют на деятельность щитовидной железы и гипофиза, повышая уровень обменных процессов и восстанавливая гормональный баланс.

А вот и примерное меню с вариантами завтрака-обеда-ужина для женщин атлетического типа:

**Завтрак.** 2 ломтика подсушенного хлеба, 100 г обезжиренного творога, 1 помидор, 1 мандарин, чашка чая или кофе. Или: 1 яйцо всмятку или вкрутую, 1 ломтик подсушенного хлеба, стакан сока. Или: 3/4 стакана геркулесовой каши на воде, 1 средний банан.

**Обед.** 2 стакана итальянского вермишелевого супа, 1 стакан салата из свежих овощей с заправкой без масла (рецепт см. ниже), 2 ломтика подсушенного хлеба или хрустящие хлебцы. 1 большой фрунт или стакан сока. Или: 1 стакан минестронского супа (см рецепт), зеленый салат, 1 стакан свеклы, нарезанной кубиками, 1 пшеничная булочка, 1 фрунт или стакан сока. Или: 1 стакан любого из двух вышеперечисленных супов, 1 ломтик ржаного хлеба, 1 стакан салата с грибами и горохом (см рецепт), 1 большой фрунт или стакан сока. Или: 1 стакан овощного супа, 3/4 стакана отварного риса, гречки или другой каши, смешанной с тушеными овощами.

**Ужин.** Запеченая или поджареная рыба с 1-2 стаканами зеленого или овощного салата, 1-2 небольшие отварные картофелины. Или: 1 порция тушеного мяса с 1-2 стаканами зеленого или овощного салата, 1-2 небольшие отварные картофелины. Или: 2 напуста рулета, 3/4 стакана риса, смешанного с отварными овощами. Или: порция гречневой каши с 1-2 стаканами зеленого салата.

А теперь приведу рецепты наиболее экзотических из вышеперечисленных блюд.

#### **Минестронский суп.**

Ингредиенты для 6-8 порций:

1 нарезанная луковица, 2 нарезанные дольками картофелины, 3 зубчика чеснока, 450 г. свежих или консервированных мелко нарезанных помидоров, 1 ст. ложка нарезанной зелени петрушки, 2 мелко нарезанные морковки, 1 стебель сельдерея, нарезанный кружочками, полтора стакана тертой свеклы, 2 стакана воды, 350 граммов консервированной зеленой фасоли.

Положите все, кроме фасоли, в кастрюлю, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 30 минут, положите фасоль и варите еще 15 минут.

### Итальянский суп с вермишелью.

Ингредиенты:

6 стаканов воды, 2 небольшие луковичи, 1 горсть зелени петрушки, 2 большие картофелины, 2 морковки, 2 стебля сельдерея, 1 лавровый лист и немного чеснока, 1 репка, 3/4 стакана коричневой фасоли, 3/4 стакана красной фасоли, 350 г. консервированной зеленой фасоли, 700 г. овощного сока, 400 г. консервированных или свежих помидоров, 1 ст. ложка концентрированной томатной пасты, 1 ст. ложка концентрата овощного бульона, растворенного в небольшом количестве горячей воды, 1 ст. ложка соевого соуса, 1 стакан куриного бульона.

Положите в воду 1 луковицу, а также мелко нарезанные морковь, картофель и репку. Варите в течение часа.

Процедите, в полученный бульон добавьте перец, фасоль, овощной сок, чеснок, томатную пасту, помидоры,

овощной и куриные кубики, соевый соус, а также лук и петрушку. Накройте крышкой и на медленном огне, помешивая, варите около часа. Затем добавьте 3/4 стакана вермишели и варите до готовности.

### Салат с грибами и фасолью.

Ингредиенты для 2-х порций:

150 г. отварных грибов, 12 стручков консервированной фасоли, 2 нарезанные луковицы, сок 1 лимона, 2 чайные ложки оливкового масла, 8 лесных орехов.

Отделите шляпки грибов от ножек и тонко нарежьте. Поместите в салатник с фасолью и луком, полейте смесью оливкового масла и лимонного сока. Сверху посыпьте раскрошенными лесными орехами.

### Заправка без масла.

Смешать вместе 3/4 стакана красного винного уксуса, сок 1 лимона, 2 измельченных зубчика чеснока, измельченную луковицу и черный перец по вкусу. Конечный объем продукта — 3/4 стакана.

Из вышеперечисленных примеров можно составить вполне приличное — я имею в виду для утоления голода — меню на неделю. Гарантирую: при соблюдении всех правил вы потеряете за этот срок от 2 до 3 килограммов. Избавьтесь от них — и ни грамма вперед!

Ну, а в следующий раз, через месяц, поговорим о том, какую диету может взять на вооружение объявляющая войну лишним килограммам своего веса женщина, чья фигура принадлежит к женственному типу. ■

Практикум вели **Елена Евдокимова, Ирина Лопотухина, Александр Куленкам.**

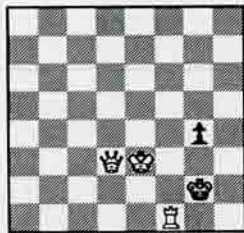


# Шахматная эпиграмма



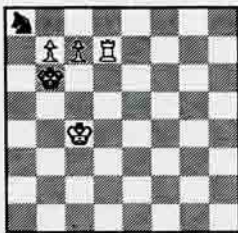
Под редакцией международного гроссмейстера **Виктора ЧЕПИЖНОГО**  
**VII** международный конкурс составления шахматных задач-миниатюр

88. В. КОНОВАЛОВ  
 Туансе



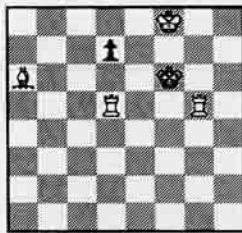
#2

89. В. КРИЖАНОВСКИЙ  
 с. Червона Слобода, Украина



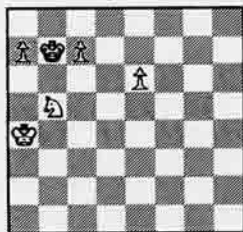
#2

90. М. ЧЕРНУШКО  
 Уссурийск



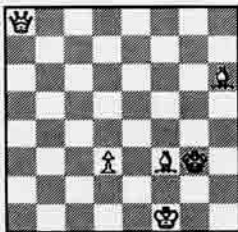
#2

91. В. СОНИН  
 г. Рузаевка



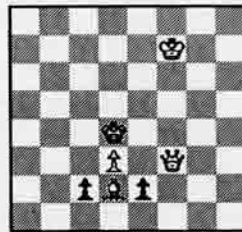
#2

92. В. ПИЛИПЕНКО  
 с. Зеленый Гай, Украина



#2

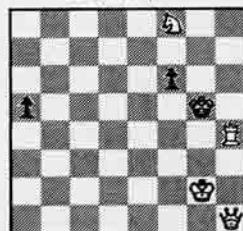
93. Х. ФРЕБЕРГ  
 Швеция



6) Крf7-b7

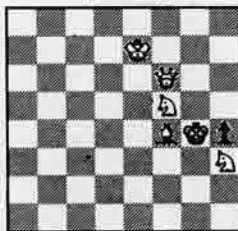
#2

94. З. ГНАТ  
 г. Стрый, Украина



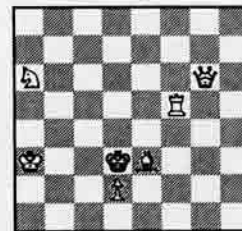
#2

95. Л. ЛЕБЕДЕВ  
 Бобруйск, Беларусь



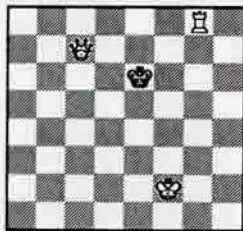
#2

96. Е. ЧУМБУРИДZE  
 с. Зода, Грузия



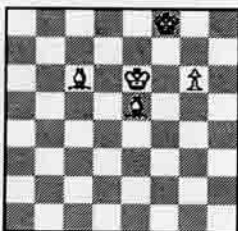
#2

97. В. ЛУНАШОВ  
Тазанрог



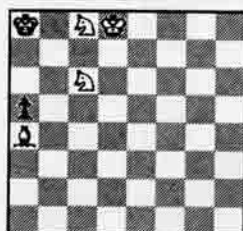
#3

98. З. ГНАТ  
«Стрель», Украина



#3

99. В. ЗИНОВЬЕВ  
Курск



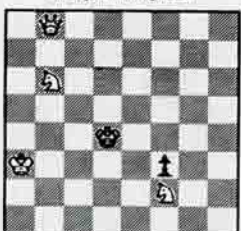
#3

100. Н. РЕЗВОВ  
Одесса, Украина



#3

101. В. МАКСИМ  
Запорожье, Украина



#3

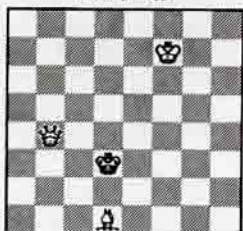
102. М. МАРАНДЮН  
г.Новоселица, Украина



6) n.b4-g4, в) Kpg8-b6

#3

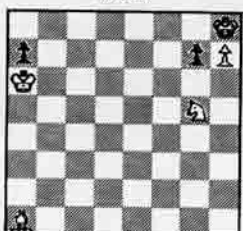
103. В. НЕЛТОНОВИЧ  
Екатеринбург



6) Kp17-a4

#4

104. М. МОРОЗОВ  
Москва



6-в) n.a7-d5-d7

#4

105. М. ЧЕРНУШКО  
Уссурийск



#4

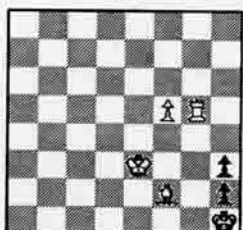
106. В. КОНАНИН, Н. ЧИСТЯКОВ  
Россия



6-в) n.d7-e5-f3

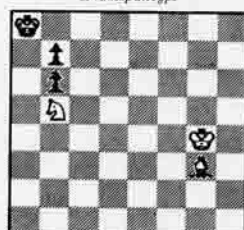
#4

107. Н. ЧИСТЯКОВ  
Омск

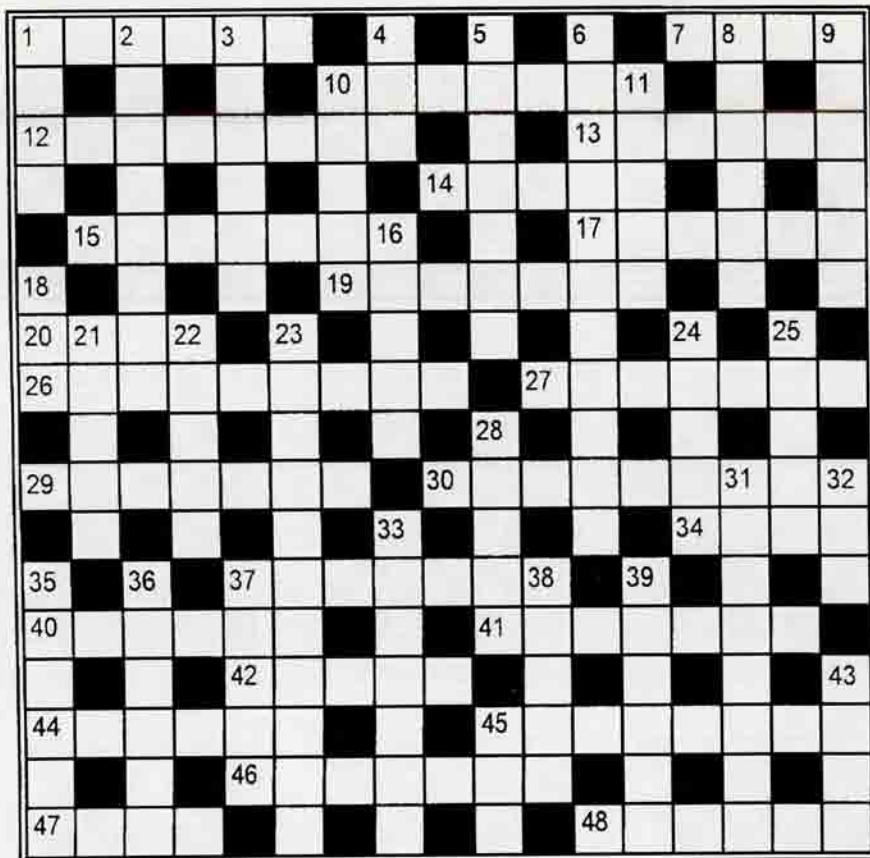


#6

108. М. НОРМИЛЬЦЕВ  
Екатеринбург



#11



## ЭРУДИТ

**По горизонтали.** 1. Чешский врач, разделивший кровь человека на четыре группы. 7. Коллегия присяжных в суде. 10. Самый "смехотворный" город Европы. 12. Писатель, изображенный Н.Брюлловым в картине "Осада Пскова" в виде поляка, стаскивающего нафталины с убитого русского. 13. Один из главных противников Рейхлина и других немецких гуманистов. 14. Боксерский удар, способный сделать глухим. 15. Демон тления из Аида. 17. Рыболовная сеть с мелкими ячейками. 19. Гулливер для лилипута. 20. Разница между весом хлеба и теста. 26. Бразильское молочайное растение, обжигающее сильнее крапивы. 27. "Париж" или "Чесма" по отношению к другим кораблям адмирала Нахимова во время рейда к Синопу. 29. Политик прокоролевской партии. 30. Протоиерей, открывший Г.Распутина в Сибири. 34. Китайский инструмент, к которому после Конфуция привязали еще две струны. 37. Французский художник, предтеча импрессионистов. 40. Страдательный залог. 41. Приложение к рангоуту. 42. Старое название времени года; источник фамилии известного лирика. 44. Американская женщина-астроном, открывшая две тысячи четырехста

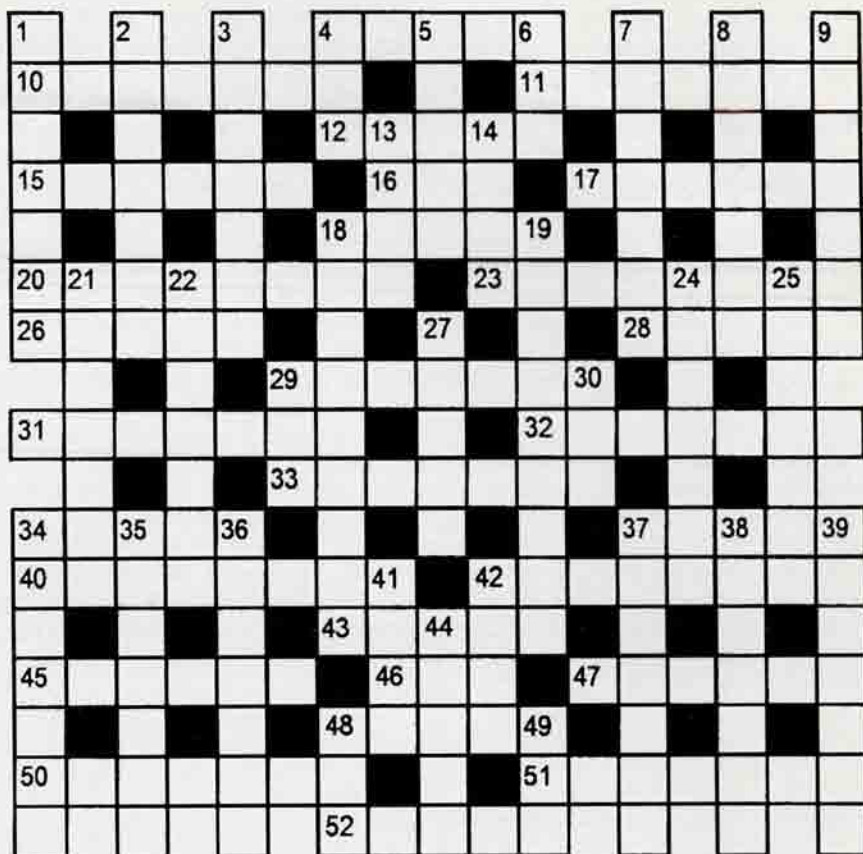
переменных звезд. 45. Остров с самыми южными в мире фермами. 46. Римский холм, на котором еще в начале XX века оставались виноградники. 47. Английский драматург, ярый враг Шекспира. 48. "Страцатель" дела.

**По вертикали.** 1. Жанр стихотворений в поэзии XIX века. 2. Поэт и философ, от которого М. Горького "дергало злобой и страстной ненавистью" (Н. Берберова). 3. Страна, игравшая в живописи Матисса, по его признанию, меньшую роль, чем русская иконопись. 4. Большая деревянная кадь для выделки кожи. 5. Самый многочисленный нулин в Камарге на юге Франции. 6. Главное свойство гуслей. 8. Царь Нумидии, война с которым показала продажность римской знати. 9. Орнаментальный мотив на карнизе здания, иначе называемый овами. 10. Снасть для управления парусами. 11. Инструмент, чьими предками были волынка и флейта Пана. 16. Дорога, по шпалам которой не пройдешь. 18. Камень, роднящий Ереван и перуанскую Арекипу. 21. Первая песнь хора в древнегреческой трагедии. 22. Шаровая игра родом из Германии. 23. Течение в религии, источник заумной поэзии. 24. "Окаменевший лед" Плиния Старшего. 25. Тнань, в русской литературе впервые упомянутая А. Чеховым в 1885 году. 28. Уравнитель шансов в вестернах. 31. Герой картины А. Ватто "Мецтен" как музыкант. 32. "... Коломбье" — "Театр старой голубятни", основанный в Париже Жаком Коло. 33. Инструмент, не тянувший на звание королевского. 35. Предок басни. 36. Отруби или остатки зерна после очистки. 37. Пост атеиста. 38. Имя в Библии, как полагают, собирательное для греков. 39. Единица, заменявшая неделю во французском республиканском календаре. 43. Зверь на гербе архитектора А. Брюллова, брата Н. Брюллова. 45. Духовный писатель XIX века, написавший "О буддизме" — одно из первых русских исследований на эту тему.

ОТВЕТЫ НА "ЭРУДИТ", НАПЕЧАТАННЫЙ В № 6

**По горизонтали.** 3. Шведни. 6. "Цветы". 9. Эскудо. 11. ...предвнушение. 12. Мохаве. 13. Нья. 16. Магнето. 19. Зло. 20. Смирна. 22. Бырь. 23. Белоус. 24. Умбра. 27. Юрт. 28. Насос. 30. Ирчи. 32. Орта. 33. Унусус. 36. Лед. 37. Алнаш. 40. Тансис. 41. Щуно. 42. Бируни. 44. ...век... 45. Овербен. 46. Фуру. 51. Ларрей. 52. ...дискретность. 53. Хуциев. 54. ...спесь. 55. Хустна.

**По вертикали.** 1. "Исход". 2. Журавль. 3. Шопен. 4. Егерь. 5. Нава. 7. Вьетнам. 8. Твистер. 10. Дугар. 14. Нмет. 15. Ясон. 16. Мисс. 17. Гнус. 18. Община. 19. Зрачок. 21. Муар. 23. Брак. 25. Барсун. 26. Аналой. 29. Овес. 31. Хуан. 33. Ушиб. 34. Стук. 35. Сниф. 36. Ливр. 38. Левнипп. 39. Абрикос. 41. Щеврица. 43. Ребен. 47. Унсет. 48. Ольха. 49. Чепец. 50. Анну.



## КРОССВОРД

**По горизонтали.** 4. Житель Восточноафриканской страны. 10. Путешественник и натуралист, описавший на Камчатке морскую корову, потом истребленную. 11. Высота боковой грани в правильной пирамиде. 12. Минерал, носящий имя великого немецкого поэта. 15. Инакомыслящий, сгоравший в средние века на костре. 16. Китайский орган, упоминаемый в "Книге песен". 17. На двери висит, а в дупле торчит. 18. Птица-землекоп, часто выходящая из норы хвостом вперед. 20. Эстонский остров с самым известным в Европе кратерным полем. 23. Город в Мексике, чье название значит "место, где поют лягушки". 26. Армянский архитектор X-XI веков. 28. "Отец" предложения. 29. Выгода, польза. 31. "У Климича-судьи ... вор стянул; и он кричит на вора: караул!" (И.Крылов: "Волк и Мышонок"). 32. Женские перчатки без пальцев. 33. Не лошадь, не вол, а плуг повел (загадка). 34. Первый гавайский остров, к которому пристал Д.Нун. 37. Древнеримское осадное орудие. 40. "Хвастливый воин" из "Горя от ума". 42. Участник самой быстрой спортивной игры. 43. Русский художник, выставивший натуращикам нравственные оценки. 45. Удар грома.



46. Простой, но тяжелый инструмент. 47. "... ста лошадей" на Этне, согласно Книге рекордов Гиннеса, имело в обхвате почти шестьдесят метров. 48. Башкирский писатель. 50. "... Дорвард" — роман В. Скотта. 51. Предмет, превративший сердце андерсеновского Кая в кусок льда. 52. Испанский дворянский титул.

**По вертикали.** 1. М. Монтень как писатель. 2. Разница между самой низкой и самой высокой температурой воздуха за сутки или год. 3. Стюард на "Дункане" в "Детях капитана Гранта" Ж. Верна. 4. Тип песчаных пустынь в Северной Африке. 5. Итальянский футбольный клуб. 6. "Трагикомедия шахмат" (С. Тартановер). 7. Угрожающее жизни состояние при отравлении организма. 8. Ожерелье с застежкой. 9. Провинция в Эстремадуре (Испания). 13. Коротколистная юнка, чья ветка с появлением соцветия меняет направление роста. 14. Перуанское племя прекрасных гончаров, ткачей и ювелиров, но нинудышных воинов. 18. "Пятнистый или травоядный" персонаж сказки А. Милна о Винни-Пухе. 19. Русский мастер, создавший первый в мире велосипед. 21. ... к поре, меринок к горе (русская пословица). 22. Самый нетерпеливый политик. 24. Наслаждение. 25. Драгоценное ожерелье у кельтов. 27. Оказывать ... внимания (ухаживать). 29. Театральное действие. 30. Китовый продукт для производства мыла. 34. Копировальная машина. 35. Быстрый танец. 36. Лирическая опера П. Чайковского. 37. Нижняя вставка. 38. Излюбленная водоросль цитологов. 39. Жена деверя или шурина в старину. 41. Изобретатель, первым позвонивший по телефону. 42. Украинские гороховые пампушки. 44. Средневековый щипковый музыкальный инструмент. 48. Ученый, сначала друг, а потом противник З. Фрейда. 49. Химический элемент, открытый, по легенде, с помощью домашнего кота. ■

Составил **А. ЯДЫКИН**, Климовск Московской области

#### ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 6

**По горизонтали.** 1. Суетня. 5. Увязка. 9. Иконопись. 12. Льежна. 13. Пюпитр. 14. Анаксимен. 15. Эфир. 18. Лихо. 20. Туец. 21. Пацан. 23. Зинин. 25. Рис. 27. Биолог. 29. "Корсар". 30. Мухомор. 31. Летчин. 32. Накаду. 33. Чир. 35. Осмий. 37. Майер. 38. Сонет. 41. Штык. 44. Вица. 45. Дарвинизм. 47. Бенлин. 48. Нитрат. 49. Снядецкий. 50. Арника. 51. Кошмар.

**По вертикали.** 1. Силуэт. 2. Есенин. 3. Нина. 4. Янана. 5. Успех. 6. Вьюн. 7. Заикин. 8. Айртон. 10. Нектар. 11. Примас. 16. Футболист. 17. Ремонтник. 18. Линстанов. 19. Хитроумец. 22. Цинорий. 24. Сомин. 26. Хорал. 28. Гук. 29. Нон. 33. Чаевод. 34. Ремнец. 35. Ошибка. 36. Мышнин. 39. Нихром. 40. Тартар. 42. Жанна. 43. Узник. 45. Диск. 36. Мийо.

# По плечу ли вам коммерция?

Нынче все ударились в коммерцию. Кажется, стоит объявить себя "предпринимателем" — и ты уже владеец особняка, "мерседеса"... Но многие забывают, что для бизнесмена важен не только начальный капитал и полезные связи, но и особый склад характера.

А есть ли у вас способность к бизнесу? Ответить на этот вопрос поможет небольшой психологический тест. Не надо принимать его результаты как истину в последней инстанции. Но задуматься над ними стоит...

Итак, из трех вариантов ответов — А., Б., В. — выберите тот, что, по-вашему мнению, более всего к вам подходит.

1. Представьте, что вас необоснованно обвиняют в каком-то проступке.

- А. Виноватым себя не чувствуете.
- Б. Чувствуете себя слегка виноватым.
- В. Ощущаете нечто среднее.

2. Как вы реагируете на возникающие проблемы или неприятности по работе?

- А. Начинаю выяснять отношения с коллегами.
- Б. Не падаю духом.
- В. Паникую.

3. Вас всегда очень огорчает, когда близкие или коллеги не одобряют ваши действия?

- А. Да, очень.
- Б. Слегка.
- В. Никогда.

4. Вы способны сохранять невозмутимость в сложных обстоятельствах?

- А. Да.
- Б. Голос выдает волнение.
- В. Иногда — да, иногда — нет.

5. Если человек, которому вы неприятны, не скрывает чувств, как вы на это реагируете?

- А. Вам это неприятно.
- Б. Безразлично.
- В. Тяжело переживаете.

6. Как вы относитесь к распространенному мнению о том, что "все болезни от нервов"?

- А. Чушь.
- Б. Затрудняюсь ответить.
- В. Согласен с этим мнением.

7. Собираясь на деловую встречу, вы напряжены и волнуетесь, даже располагая временем?

- А. Да.
- Б. Когда как.
- В. Нет.

8. Страх, беспричинное беспокойство — случалось вам испытывать эти ощущения?

- А. Изредка.
- Б. Не помню.
- В. Никогда.

9. Как вы относитесь к похвале, приятным комплиментам в свой адрес?

- А. Спокойно.
- Б. Хорошо, если это не лесть.
- В. От этого вам не по себе.

10. Бывает у вас, казалось бы, необоснованное ожидание беды, неприятностей?

- А. Иногда.
- Б. Никогда.
- В. Часто.

## КЛЮЧ К ТЕСТУ:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А.	1	3	5	1	3	1	5	3	1	3
Б.	5	1	3	5	1	3	3	1	5	1
В.	3	5	1	3	5	5	1	5	3	5

Сложите полученные баллы.

**21 и менее баллов.** Вы спокойны, уверены в себе, в случае необходимости можете и "по головам" пройти: Поэтому при наличии опыта и компетентности успех в коммерческой и посреднической деятельности обеспечен.

**22-42 балла.** Вы — человек достаточно уверенный в себе, спокойно делающий свое дело. Тем не менее, сомнения и беспокойства вам тоже знакомы, значит, жесткие отношения "мира капитала" потребуют от вас некоторого напряжения.

**43 и более баллов.** Ваша совестливость, беспокойство и перепады настроения явно не для коммерции. Но жизнь — это не только рынок, и в ней нужны ваши гуманизм и справедливость.

Подготовила **Елена ЕВДОКИМОВА.**

КОСМЕТИКА РОДНОЙ ПРИРОДЫ



Green Mama

# ФЛЕГРЕАН ТУРИСТ СЕРВИС



PTS GROUP



*Отдых  
в Греции,  
Италии (остров Искья),  
на Кипре*

Москва, Б. Саввинский пер., 8а  
Тел.: (095) 246-71-26, 246-71-32, 246-89-80